

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362

УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / 17
Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский,
О.И. Губарь. — Одесса: "Друк", 2004. — 332 с.

ISBN 966-8099-99-0

Д 4702640204 + 0503020902
2004 2004

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский
(заместитель редактора)
Олег Губарь

Редакционный совет:

Виталий Амурский (Париж), Андрей Добролюбский,
Игорь Коваль, Татьяна Липтуга,
Григорий Поженян (Москва), Игорь Померанцев (Прага),
Аркадий Львов (Нью-Йорк), Александр Мардань,
Юрий Стоянов (Санкт-Петербург), Михаил Рашковецкий,
Нелли Харченко (Берлин), Кармелла Цепколенко.

Фото:

Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar

Editorial council:

Vitaliy Amoursky (Paris), Andrey Dobrolyubskiy,
Igor Koval, Tatyana Liptuga, Gregory Pogenyan (Moscow),
Igor Pomerantsev (Prague), Arkadiy Lvov (New York),
Alexander Mardan, Yuriy Stoyanov (St. Petersburg),
Mikhail Rashkovetsky, Nelly Kharchenko (Berlin),
Karmella Tsepkoленко.

Photos by:

Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirskiy

ISBN 966-8099-99-0

© Авторство художественных текстов, 2004

От редакции

В преддверии знаменательных дат в истории Южной Пальмиры — 210 годовщины со дня основания города и 60-летия освобождения его от фашистских захватчиков — увидели свет несколько изданий, которым суждено занять заметное место на Золотой одесской полке.

Выделим особо внушительный сборник "Одесский юмор", ставший 32-м в пятидесятилетней "Антологии сатиры и юмора России XX века", издаваемой в Москве и снискавшей успех у большой и разнообразной читательской аудитории. Следует заметить, что наши знаменитые земляки, работавшие в этом жанре, уже представлены персональными томами, к примеру, Саша Черный, а сочинения Дон Аминадо, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Жванецкого готовятся к печати.

Для Одессы вторые 100 лет (1900-2000) — почти половина жизни, увы, не всегда самой лучшей и комфортной для горожан, но, пожалуй, самой плодотворной для творческих личностей: музыкантов, художников, деятелей театра и кино, литераторов, и особенно — юмористов и сатириков.

Перед составителем тома Валерием Хаитом стояли, по крайней мере, две сложнейшие задачи. Во-первых, отобрать из огромного количества текстов, созданных за 100 лет, те, которые сегодня, если и не очень злободневны, то представляют художественную ценность, или же, наоборот, позволяют познакомиться со стилистическим многообразием наиболее ярких проявлений одесского юмора как такового, — от городского фольклора до фельетонов и публикаций в периодических изданиях. Нужно ли говорить, что у каждого читателя, тем более одессита, есть свое представление о том, кто достоин быть напечатанным в этом — самом объемном томе Антологии (765 страниц!). И тем не менее, наш земляк со своей задачей управился, хотя честно предупреждает в предисловии: "Отбирая нравящиеся тебе тексты, ты как бы навязываешь читателю свой вкус". Так он и сделал. В значительной мере (все мы — люди, все мы — субъективны...) наша редколлегия этот вкус разделяет, тем более, что немало отобранных для тома текстов были впервые опубликованы в альманахе "Дерибасовская угол Ришельевской".

Вторая задача, стоявшая перед Валерием Хаитом, была еще сложнее, и тем отраднее, что он справился и с ней. Ему предстояло доказать скептикам, что устойчивое словосочетание "одесский юмор" отражает реально существующую литературную и психофизическую общность пишущих от руки и на компьютере, поющих на свадьбах и поминках, травящих на баке, слушающих сюда и т. д. Общность, имеющую и славное прошлое, и терпимое настоящее, и, как говорится, какое-никакое, но будущее...

Рискнем предположить, что после выхода в свет этого тома даже самые закоренелые скептики и столичные снобы как неизбежную справедливость воспримут в энциклопедиях в разделе "Школы" после статей: "Одесская музыкальная", "Южнорусская живописная", "Литературная (Юго-Запад)" и "Одесский юмор".

Знаменательно, что презентация этого издания состоялась в Литературном музее сразу же после премьер интереснейших сборников — "Одесские дачи" Михаила Жванецкого и "Возвращение в Одессу" Александры Ильф. И Михал Михальч, и Илья Арнольдович достойно представлены в вышеупомянутом томе, что вносит в наши заметки определенную завершенность.

О книге М. Жванецкого мы рассказываем в традиционном разделе "Издано в..." этого номера альманаха, а с уникальными альбомами "Odessa Memories" (Ник Ильин, Олег Губарь, Александр Розенбойм, Патриция Херлихи) и "Одесса. Оккупация 1941-1944 гг.", в основу которого легли материалы собрания Михаила Пойзнера, познакомим наших читателей попозже. Сразу же, как только состоится их презентация в родном городе, уже отметившем в апреле один юбилей и готовому в сентябре отпраздновать второй.

Генерал Ланжерон

В ноябре 1815 года именным указом Александра I генерал от инфантерии Александр Федорович Ланжерон был назначен градоначальником Одессы и Новороссийским генерал-губернатором и занимал этот пост вплоть до мая 1823 года. Впрочем, одесским градоначальником Александр Федорович был лишь до 1820 г., испросив высочайшее разрешение разделить эти две должности. Но Одессу граф искренне любил, а потому жить предпочел здесь и даже завещал похоронить себя именно в Одессе, что и было сделано в 1831 г., несмотря на то, что умер Ланжерон от холеры в Петербурге.



Жизнь этого удивительного человека просто поразительна. По количеству батальев, в которых он участвовал за 10 лет пребывания во французской армии и 40 лет в русской, вряд ли найдется еще хоть одна реальная историческая личность той эпохи, чьи ратные дела были хотя бы сопоставимы с его. И вместе с тем Ланжерон не был отчужден от политических интриг на высшем государственном уровне, был большим поклонником женской красоты, любил побалагурить в светских салонах, рассказать веселый анекдот, нередко становясь, в свою очередь, персонажем забавных историй. В Одессе это любили и приняли графа приязненно.

Родился будущий градоначальник Одессы в 1763 г. в Париже и с юных лет посвятил себя военной службе. Участвуя в войне за независимость США в составе французского корпуса под командованием графа де Рошамбо, Людовик-Александр-Андре граф де Ланжерон, именно таково подлинное имя графа, вернулся во Францию в роли победителя и быстро продвинулся по служебной лестнице, дослужившись до чина полковника. Но революция 1789 г., кстати, принятая Ланжероном в самом начале восторженно, вскоре перевернула судьбу молодого талантливого офицера, не пожелавшего смириться с крайностями революционного водоворота. Уже весной 1790 г. он поступил в русскую армию, став участником войны со Швецией. А в декабре этого же года, вместе со своим другом гер-

цогом Ришелье, отличился при взятии Измаила, получив в качестве награды золотую шпагу за храбрость.

С того времени Ланжерон участвовал в десятках боевых операций и военных кампаний, не имея в своем послужном списке практически ни одного пропуска хоть сколько-нибудь значительного действия, где пахло порохом и свистели пули. Храбрый и талантливый генерал, он участвовал в сражениях на Дунае и Кавказе, в Голландии и Пруссии, был под Аустерлицем и в "битве народов" под Лейпцигом, отличился со своим корпусом при взятии Парижа и в сражении под Варной. Это был поистине мужественный солдат, которого сама природа наградила даром быть полководцем. Но мало кто знал, что этот веселый, пропахший порохом боевой генерал, сотни раз смотревший смерти в лицо, питал слабость к литературному труду, и что через пятьдесят лет после его смерти (таково было условие в завещании) мемуары Ланжерона станут подлинным открытием для европейских историков.

Многочисленные записки Ланжерона были переданы после его кончины в Архив иностранных дел Франции в Париже, и до настоящего времени вызывают бурные эмоции согласия и несогласия у исследователей, имевших возможность познакомиться с ними. Более того, их не решаются публиковать полностью вплоть до наших дней. И дело не только в блестящем остроумии и даже язвительности автора, когда он дает уничижительные характеристики тем или иным государственным и военно-политическим деятелям эпохи Французской революции и наполеоновского режима. Дело в том, что сам масштаб осведомленности Ланжерона относительно нюансов и деталей секретов политической жизни Европы более чем за полвека его карьеры не укладываются в готовые схемы различных исторических воззрений. В полной мере сие касается и отечественной истории.



Л. Манцони. Вид Одесского порта. 1821 г.

В Россию эти материалы в рукописной копии из шести объемистых томов попали в конце XIX в., и хранятся ныне в Петербурге, в бывшей Императорской библиотеке. Частично они были опубликованы еще до революции. Так, например, основная часть сведений о дворцовом заговоре и убийстве Павла I была получена исследователями именно из публикации данной части мемуаров Ланжерона, переведенной на русский язык. Точно так же это касается военной операции при Березине и начала заграничного похода русской армии, где корпус Ланжерона сыграл решающую роль. Однако когда дело касается, например, позорного поражения русской армии под Аустерлицем в 1805 г., где Ланжерон был единственным генералом, выступившим против бездарного плана М.И. Кутузова и Александра I дать сражение без должной подготовки и в невыгодных условиях, входят в силу другие оценки историков. Впрочем, однозначного мнения здесь быть не может.

В личной жизни Александр Федорович был истинным французом. Как писал о нем один из современников: "...к свойственным французам высшего круга любезности присоединил забавную рассеянность, давшую пищу к забавным о нем анекдотам. Он и по смене своей остался на жительство в Одессе и Воронцова фамильярно называл Мишель". Женат Ланжерон был три раза. Его первая жена, Мари-Диане Маньяр де ля Вопалье, умерла в 1790 г., когда Ланжерон находился уже на русской службе. Вторая женитьба состоялась в России в 1804 г. с Анастасией Трубецкой. А вот третья, с очень юной Луизой Бриммер, состоявшаяся в Одессе в 1819 г., сделалась подлинной великосветской сенсацией не только для Одессы и всего края, но и для всей империи. Во всяком случае, после об-



Ланжероновский спуск

ращения Ланжерона к императору за разрешением столь необычного брака, Александр I не давал такового много месяцев, чем порождал дополнительные слухи и сплетни. Но, дабы не обижать заслуженного генерала, согласился, чем весьма порадовал жениха и удручил тех одесских дам, которые смотрели на эту связь не без зависти и не без ревности.

Законных детей у Ланжерона не было, но от внебрачных связей имел дочь, умершую в 1816 г., и сына, известного в российской истории XIX века под именем Теодора Андро. Кстати, при отставке с поста Новороссийского генерал-губернатора Ланжерон испросил для своего сына дворянство, чем несколько подсластил горечь ухода.

В Одессе граф воплотил в жизнь ряд важных начинаний, сделанных ранее Ришелье, одним из которых было введение порто-франко. При нем же появилась и первая городская газета — "Мессаже де ля Рюси меридиональ", было открыто заведение минеральных вод в городском саду, разбит ботанический сад, сыгравший огромную роль в озеленении как собственно Одессы, так и всего края.

К числу наиболее значительных деяний Ланжерона в Одессе, без сомнения, можно отнести открытие в 1817 г. Ришельевского лицея, второго в России после Царскосельского. Правда, эту честь с ним по праву разделил тот же герцог Ришелье, лично обратившийся в Париже к Александру I с просьбой разрешить преобразование Одесского Благородного института в лицей. Вместе с тем, собственно речь Александра Федоровича при открытии лицея в Одессе свидетельствует о том, насколько правильно и точно оценил Новороссийский генерал-губернатор начинания своего предшественника. Произнесенная на французском языке, эта речь,



Аркадная стена на месте нынешнего Археологического музея



фрагменты которой приводятся ниже в русском переводе, по праву может рассматриваться в качестве одного из эталонов общественной и гражданской позиции высшего руководства огромного южного края.

"Молодые питомцы этого лица, надежда отечества, которого вы будете когда-нибудь украше-

нием, вы видите, что делается для вас, вы благословите без сомнения нежные заботы вашего Государя. Старайтесь заслужить своими успехами внимание ваших наставников, и вы соберете плоды их на том поприще, к которому судьба и воля ваших родителей вас предназначает.

Если вы будете призваны на службу под знамена вашего отечества, гордитесь вперед, что будете принадлежать к этой блистательной и непобедимой армии, которая восторжествовала над всею Европою, подвинутою против ее Государя...

Если же судьба призовет вас на службу гражданскую, прекрасные правила, почерпнутые в этом заведении, укажут вам, что есть еще и другая слава, кроме славы военной; что человек, которомуверяется жизнь и достояние его сограждан, может достигнуть блестящей знаменитости, исполняя свой долг с тем беспристрастным правосудием, с тою непоколебимою гордостью и с тою строгою добродетелью, которую вы здесь привыкнете любить и исполнять.

Наконец, если вам предстоит обязанность обогащать торговлей свое отечество, не забывайте, что честность должна быть ее основанием, что она одна может оправдать богатство, которое вы от нее можете приобрести, стяжая уважение общества, которое составит прочность и счастье вашей жизни".

Между тем особого вкуса к административной работе Ланжерон не испытывал. Это особенно ясно становится на фоне деятельности таких выдающихся политиков своего времени, как его предшественник герцог Ришелье и его преемник граф М.С. Воронцов. Не слу-



чайно тогда у современников сложилось следующее мнение относительно Александра Федоровича: "храбрый генерал, добрый правдивый человек, но рассеянный, большой балагур и вовсе не администратор". Однако следует признать, что воплощение в жизнь целого ряда предначертаний Ришелье явилось несомненной заслугой графа Ланжерона перед отечественной историей.

Любопытно, что добрый знакомый и любимец Александра Федоровича, Александр Сергеевич Пушкин, признавался в одном из своих писем в абсолютной тождественности взглядов на канцелярскую работу, которую Ланжерон испытывал на протяжении всей своей административной карьеры. Так, в письме к Хитровой Пушкин писал: "Я питаю отвращение к делам и к бумагам, как выражается граф Ланжерон".

Конечно, граф и сам осознавал, что его политических талантов для управления огромным краем явно недостаточно. Так, уже после своей отставки, Ланжерон писал в 1827 году в записке на имя императора Николая I: "Все земли, мне вверенные, составляли площадь, равную Франции, были населены десятью различными народностями и значительным числом иностранцев; тут встречалось до десяти различных религий, и все они пользовались свободой богослужения. Можно судить по этому об обременявшей меня работе и о полной невозможности ее выполнить..."

Впрочем, в целом, граф Александр Федорович оставил после себя в Одессе добрую память. Его дом со знаменитыми пушками у входа, давший название Ланжероновской улице, долгое время служил одной из ярких одесских достопримечательностей, не говоря уже о тех десятках забавных легенд и анекдотических историй, связанных с жизнью в нем его хозяина. До наших дней сохранилась триумфальная арка, ведущая на дачу графа, именуемая одесситами аркой Ланжерона и открывающая ныне дорогу на пляж его имени. Это память о человеке незаурядном и, несмотря на суровость его жизни, остроумном и обаятельном, который искренне любил Одессу, сделал для ее процветания то, что было в его силах, а потому оставшийся почитаемым для всех последующих поколений одесситов.



Древний хищник морей и граф Витте

Недавно, спустя много лет, я снова побывал в палеонтологическом музее Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Единственным в Украине, который принадлежит вузу, а не Академии наук.

Должен признаться, что, глядя на уникальные скелеты — слона, верблюда и других животных, невольно испытываешь если не страх, то уж во всяком случае — трепетное волнение. Шутка ли, ведь эти древние животные обитали на территории нынешней Одессы и области ни мало ни много — несколько миллионов лет тому назад...

В музее около пятидесяти тысяч экспонатов. Один из них имеет и во все необычную историю.

...Покрытая черным лаком доска, примерно метр с чем-то высотой. Это — естественный слепок "морской лилии" — хищного животного, которое обитало в морях каменноугольного периода. В профиль слепок действительно напоминает современный цветок. Однако вот что интересно (и чрезвычайно!). Оказывается, этот экспонат связан с именем известного российского политического и государственного деятеля — графа Сергея Юльевича Витте. Да, того самого Витте, который окончил физико-математический факультет Новороссийского университета, потом, проживая в Одессе, был управляющим Юго-Западных железных дорог, а еще позже последовательно занимал высокие посты министра путей сообщения, министра финансов и, наконец, в 1905-06 гг. председателя Совета министров России. Нелишне напомнить, что улица Дворянская, на которой расположен главный корпус университета, одно время носила имя С.Ю. Витте. Все это хорошо известно, но вот о том, как имя графа связано с палеонтологией, мы мало что знаем.

Просматривая недавно записи бесед прошлых лет с ныне покойным директором подземного заповедника Т.Г. Грицаем, я нашел такую: Тимофей Григорьевич рассказал мне, что профессор Иван Яковлевич Яцко говорил ему о том, что слепок ископаемого животного подарил Новороссийскому университету С.Ю. Витте... Тогда я как-то не обратил должного внимания на этот факт. Но теперь, спустя много лет, захотелось узнать о загадочной "лилии" как можно больше. В Научной библиотеке имени Горького нахожу тоненькую брошюру: "Граф С.Ю. Витте, его жизнь и деятельность", изданную в 1905 году в Одессе, издательство "Новое слово", находилось на улице Херсонской, 21. В этой брошюре есть всего несколько

ко (но зато каких!) строк о... бабушке Витте. Оказывается, госпожа Фадеева обладала обширными познаниями в области естественных наук и даже состояла в переписке с великим немецким естествоиспытателем Александром Гумбольдтом, этим "Аристотелем XIX века", как его называли современники. С.Ю. Витте писал о том, что именно его бабушка "дала ему первоначальное образование" — научила читать и писать. В первом томе "Воспоминаний" Витте рассказывает о том, что его дед по линии матери, Андрей Михайлович Фадеев, "был женат на княжне Елене Павловне Долгорукой, последней из старшей отрасли князей Долгоруких, происходящей от Григория Федоровича Долгорукого, сенатора при Петре I...". А вот то, что меня более всего интересовало: "Елена Павловна была совершенно из ряда вон выходящая женщина по тому времени в смысле своего образования; она очень любила природу и весьма усердно занималась ботаникой. Будучи на Кавказе, она составила громадную коллекцию кавказской флоры с описанием всех растений и научным их определением".

Подарил ли что-то из этой коллекции Сергей Юльевич одесскому университету? Здесь мне придется немного подправить уважаемого профессора И.Я. Яцко, и опять-таки с помощью самого Витте. Итак, читаем далее в его воспоминаниях: "Вся эта коллекция (в том числе, видимо, и слепок "морской лилии". — **М. Б.**) была подарена наследниками ее (бабушки) в Новороссийский университет". Значит, не Сергеем Юльевичем, а кем-то из других членов семьи. Впрочем, версия о дарителе С. Витте отпадает хотя бы потому, что, как пишет он сам, бабушка умерла, когда ему было 10-12 лет.

Возникает вопрос, сохранились ли в университете какие-либо документы о "даре наследников"? Т.Г. Грицай утверждал (а он знал все!), что большая часть университетского архива погибла в начале войны во время эвакуации в районе Березаньского залива...

Имеются еще вопросы. Например, как слепок "морской лилии" попал к бабушке Витте? К сожалению, объяснить это мы пока не можем.

Встречалась ли Елена Павловна с Гумбольдтом, когда тот в 1929 году совершил путешествие в Россию, побывав на Урале, Алтае и Каспийском море, увы, об этом мы тоже ничего не знаем... Однако, не подлежит никакому сомнению: Елена Павловна сразу поняла, что слепок "морской лилии" — безусловно ценный и редкостный музейный экспонат.

...Я беседую с человеком, который работает в университете вот уже около сорока лет, из них четырнадцать лет он был рядом с Т.Г. Грицаем,

который называл его своим любимым учеником. Это — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры общей и морской геологии Борис Борисович Муха. Он сообщает мне интересные сведения. В частности, о том, что в 1969 году палеонтологический музей и подземный заводчик, директором которого являлся Грицай, были представлены на Выставке достижений народного хозяйства, а Тимофей Григорьевич в дополнение к его боевым наградам был удостоен серебряной медали ВДНХ. Специальным приказом тогдашнего министра просвещения СССР Прокофьева ему было присвоено звание старшего научного сотрудника Института зоологии Академии наук Украины.

Прошу Бориса Борисовича рассказать о чисто человеческих чертах "короля одесских катакомб".

— За внешней суровостью Грицай, — говорит мой собеседник, — скрывалась добрая, я бы даже сказал, трогательно-нежная натура. Он всегда стремился прийти на помощь людям. И все, кто знал Тимофея Григорьевича, испытывали к нему огромное уважение.

Грицай любил жизнь во всех ее проявлениях, как истый одессит, он обладал чувством неиссякаемого юмора, был гурманом... Обедая, например, в столовой, Грицай обычно начинал обед... с компота. "А вдруг придется прервать обед, так надо вначале отведать самое вкусное", — говорил он при этом.

В катакомбах Тимофей Григорьевич угощал своих друзей напитком собственного изобретения. Для мужчин это был продававшийся с любым гастрономом (Грицай предпочитал "Центральный" — он был ближе к университету) тонизирующий напиток под названием "мокко", к которому добавлялся спирт, а для женщин — виноградный сок, с тем же спиртом (конечно, в щадящем варианте!). Об этом напитке — его называли "грицаёвка" — долго и с удовольствием вспоминали в Москве и Ленинграде, Киеве и Баку...

Однажды знаменитую "грицаёвку" попробовал и высоко оценил знаменитый Тарапунька (Юрий Тимошенко), когда он в Одессе снимался в нашумевшем фильме "Зеленый фургон".

"Все могут короли!" — поет наша несравненная примадонна Алла Борисовна. "Король одесских катакомб" Тимофей Григорьевич Грицай — не был исключением среди прочих королей. Грицай тоже многое мог, но главное — он СМОГ раскрыть тайны подземного мира, а это, согласитесь, совсем не мало...

И мы благодарны ему за это.

"Меня не покидало щемящее чувство тоски по Родине"

Франция, 1925 г. В Париж приезжает молодой человек 16-ти лет. Позади поспешный отъезд из родового имения Курской губернии, годы учебы в курской советской школе, оформление документов во французском посольстве в Москве.

Впереди огромное количество интересных знакомств: Цветаева, Эфрон, Корсавин, Бальмонт, Бунин, Зайцев, Бердяев, Лосский, мать Мария Скобцова, советский посол Богомолов, семья Угримовых, Кривошеиных, Ковалевских. Всех не перечислить. Годы занятий в высших учебных заведениях, работа в крупном издательстве "Атье", участие в движении Сопротивления. Его принимают в интеллектуальных французских кругах. В то же время Н.А. Полторацкий всегда находится в водовороте церковной и общественной жизни русской иммиграции: секретарь Русского союза студентов, член РСХД (Русский союз христианского движения), тех. секретарь Религиозно-философской академии, возглавляемой Бердяевым, секретарь Благочиннического совета русских приходов во Франции, начальник Братства св. Фотия в 1946-1948 гг.

"Первый год было очень интересно, — вспоминал мой отец. — А потом на протяжении 21 года меня не покидало щемящее чувство тоски по Родине". В 1946 г. он один из первых принимает советское гражданство, а в 1947 г. прибывает в Москву из Парижа в составе делегации Западноевропейского Экзархата Московской Патриархии в тогдашнем своем качестве начальника Братства св. Фотия. В 1948 г. по приглашению Патриарха Алексия приезжает на церковную работу в Советский Союз, работает преподавателем в Одесской духовной семинарии и переводчиком в отделе Внешних церковных сношений Московской Патриархии. Награжден церковными медалями.

Я перечислила основные точки жизни Н.А. Полторацкого. А где же запятые, подумала я, разбирая его архив. Листаю документы, дореволюционные и после, весь французский и советский период, читаю огромное количество писем. От кого и кому! Когда опубликую, то прочтете. Рассматриваю фотографии, читаю расшифрованные моей дочерью Катей магнитофонные записи. От гордости раздуваюсь, т. к. понимаю, что являюсь обладательницей уникального архива. К примеру, документы по Братству св. Фотия потеряны во Франции. А он сохранил! Далее вчитываюсь в материалы, начинаю анализировать — и вот тебе, пожалуйста.

Начнем сначала. Было Николаю Алексеевичу три месяца, когда умер отец, т. е. рос он без отца. Оба дяди затерялись на фронтах гражданской войны (на разных, естественно). Затем Курск. Он говорил, когда кто-то умилялся по поводу белых: "Ах, оставьте. Все были хороши. Что белые, что красные". А Франция? Насколько ласково она простерла свои объятия? Материально было очень тяжело. Жили скромно. Мать шила, Коленька

который называл его своим любимым учеником. Это — кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры общей и морской геологии Борис Борисович Муха. Он сообщает мне интересные сведения. В частности, о том, что в 1969 году палеонтологический музей и подземный заводчик, директором которого являлся Грицай, были представлены на Выставке достижений народного хозяйства, а Тимофей Григорьевич в дополнение к его боевым наградам был удостоен серебряной медали ВДНХ. Специальным приказом тогдашнего министра просвещения СССР Прокофьева ему было присвоено звание старшего научного сотрудника Института зоологии Академии наук Украины.

Прошу Бориса Борисовича рассказать о чисто человеческих чертах "короля одесских катакомб".

— За внешней суровостью Грицай, — говорит мой собеседник, — скрывалась добрая, я бы даже сказал, трогательно-нежная натура. Он всегда стремился прийти на помощь людям. И все, кто знал Тимофея Григорьевича, испытывали к нему огромное уважение.

Грицай любил жизнь во всех ее проявлениях, как истый одессит, он обладал чувством неиссякаемого юмора, был гурманом... Обедая, например, в столовой, Грицай обычно начинал обед... с компота. "А вдруг придется прервать обед, так надо вначале отведать самое вкусное", — говорил он при этом.

В катакомбах Тимофей Григорьевич угощал своих друзей напитком собственного изобретения. Для мужчин это был продававшийся с любым гастрономом (Грицай предпочитал "Центральный" — он был ближе к университету) тонизирующий напиток под названием "мокко", к которому добавлялся спирт, а для женщин — виноградный сок, с тем же спиртом (конечно, в щадящем варианте!). Об этом напитке — его называли "грицаёвка" — долго и с удовольствием вспоминали в Москве и Ленинграде, Киеве и Баку...

Однажды знаменитую "грицаёвку" попробовал и высоко оценил знаменитый Тарапунька (Юрий Тимошенко), когда он в Одессе снимался в нашумевшем фильме "Зеленый фургон".

"Все могут короли!" — поет наша несравненная примадонна Алла Борисовна. "Король одесских катакомб" Тимофей Григорьевич Грицай — не был исключением среди прочих королей. Грицай тоже многое мог, но главное — он СМОГ раскрыть тайны подземного мира, а это, согласитесь, совсем не мало...

И мы благодарны ему за это.

"Меня не покидало щемящее чувство тоски по Родине"

Франция, 1925 г. В Париж приезжает молодой человек 16-ти лет. Позади поспешный отъезд из родового имения Курской губернии, годы учебы в курской советской школе, оформление документов во французском посольстве в Москве.

Впереди огромное количество интересных знакомств: Цветаева, Эфрон, Корсавин, Бальмонт, Бунин, Зайцев, Бердяев, Лосский, мать Мария Скобцова, советский посол Богомолов, семья Угримовых, Кривошеиных, Ковалевских. Всех не перечислить. Годы занятий в высших учебных заведениях, работа в крупном издательстве "Атье", участие в движении Сопротивления. Его принимают в интеллектуальных французских кругах. В то же время Н.А. Полторацкий всегда находится в водовороте церковной и общественной жизни русской иммиграции: секретарь Русского союза студентов, член РСХД (Русский союз христианского движения), тех. секретарь Религиозно-философской академии, возглавляемой Бердяевым, секретарь Благочиннического совета русских приходов во Франции, начальник Братства св. Фотия в 1946-1948 гг.

"Первый год было очень интересно, — вспоминал мой отец. — А потом на протяжении 21 года меня не покидало щемящее чувство тоски по Родине". В 1946 г. он один из первых принимает советское гражданство, а в 1947 г. прибывает в Москву из Парижа в составе делегации Западноевропейского Экзархата Московской Патриархии в тогдашнем своем качестве начальника Братства св. Фотия. В 1948 г. по приглашению Патриарха Алексия приезжает на церковную работу в Советский Союз, работает преподавателем в Одесской духовной семинарии и переводчиком в отделе Внешних церковных сношений Московской Патриархии. Награжден церковными медалями.

Я перечислила основные точки жизни Н.А. Полторацкого. А где же запятые, подумала я, разбирая его архив. Листаю документы, дореволюционные и после, весь французский и советский период, читаю огромное количество писем. От кого и кому! Когда опубликую, то прочтете. Рассматриваю фотографии, читаю расшифрованные моей дочерью Катей магнитофонные записи. От гордости раздуваюсь, т. к. понимаю, что являюсь обладательницей уникального архива. К примеру, документы по Братству св. Фотия потеряны во Франции. А он сохранил! Далее вчитываюсь в материалы, начинаю анализировать — и вот тебе, пожалуйста.

Начнем сначала. Было Николаю Алексеевичу три месяца, когда умер отец, т. е. рос он без отца. Оба дяди затерялись на фронтах гражданской войны (на разных, естественно). Затем Курск. Он говорил, когда кто-то умилялся по поводу белых: "Ах, оставьте. Все были хороши. Что белые, что красные". А Франция? Насколько ласково она простерла свои объятия? Материально было очень тяжело. Жили скромно. Мать шила, Коленька

(как она его называла. — **А. П.**) работал на стройке, учился. Перед войной, в период репрессии, отец рассказывал, что у него не было одного су на метро, и он ходил через весь Париж пешком. Во время войны попал в гестапо, правда, ненадолго. Вышел. Нервы были крепкие, всегда полагался на волю Божию. Верил в Бога глубоко, без ханжества. Уважал разные вероисповедания, не допускал антисемитизма. А здесь, приехав на горячо любимую Родину, получил сразу же оплеуху. Спасибо, что не посадили. Ехал же он преподавать в Московской духовной академии, а его направили в Одессу. Сам Патриарх Алексей сказал: "Они там Вас не хотят" (т. е. власти. — **А. П.**). Проработал два года в Одесской духовной семинарии, а тут ему и говорят: "Нет для Вас часов". Живет большую часть года в Москве, работает переводчиком в отделе Внешних церковных сношений (считается одним из лучших переводчиков богословских трудов на то время). Чтоб не думать, что все замечательно, жену увольняют с преподавательской работы из Политехнического института с формулировкой "потенциально идеологически невыдержанный элемент". Он же — реиммигрант и церковник. Живут в долг.

Перелистываю ходатайства на имя высших церковных иерархов по поводу его восстановления на работе в Одесской семинарии. Но не они решают, кто и где должен работать. Все решал уполномоченный по делам религии. Впоследствии, после неоднократного вмешательства Патриарха Алексия, все утряслось.

Вот вам и запятые. Все это я акцентировала, т. к. пережила вместе с отцом и его боль, и огорчения. А мне всегда казалось, а, может быть, это было и на самом деле, он, мой отец, принимал все эти неурядицы не то чтобы как должное и необходимое, а всегда без видимого уныния и с верой в промысел Божий. У него был внимательный, умный взгляд, крепкое рукопожатие и очень большое доброе сердце. Он был замечательным рассказчиком и прекрасным собеседником, а еще он потирал руки так, как никто не может.

Воспоминания Николая Алексеевича Полторацкого (отрывок из них предлагал читателям Альманаха) зафиксированы на магнитофонных пленках; его доклады, статьи, письма, фотографии, документы представляют интерес для нас, так как они отражают жизнь русской иммиграции, а также повествуют об интересах интеллигенции в советское время.

По предложению настоятельницы женского Свято-Михайловского монастыря матери Серафимы Литературный музей готовит книгу по материалам архива Полторацкого, в нее войдут также рассказы его друзей с воспоминаниями о нем.

Анна ПОЛТОРАЦКАЯ

Николай ПОЛТОРАЦКИЙ

"Ловец людей, их спутник и учитель"*

Одним словом, я курский помещик 1909 года рождения, русский, по происхождению немного француз. Моя родословная, как и всех других Полторацких дворян, восходит к Марку Федоровичу (сыну протоирея Федора Филипповича Полторацкого), который был вызван графом Разумовским из Черниговской губернии в Петербург и после получения музыкального образования стал директором Придворной певческой капеллы, ныне капеллы имени Глинки, в которой в эти годы находился Сарти и другие.

"Изучив выдержку из книги Лобанова-Ростовского, я смог установить родословные данные касательно Курской ветви рода Полторацких, которая почему-то оказалась скудна на имена.

За № 6 выписки о роде Полторацких значится Федор Маркович, полковник, род. 1864 г. У него значатся сыновья Александр, Евгений, Юрий и дочери Елизавета, Надежда, Софья и Аделаида.

Однако, у Федора Михайловича был еще и сын Алексей, которому отошло имение Доброхотово Фатежского уезда Курской области, а гостиница в г. Курске (теперь "Интурист", но которая старожилками до сих пор называется гостиницей Полторацкого) досталась его дочери Надежде Федоровне, замужем за графом Карлом Лукьяновичем Монтезоро. Что получили другие сыновья и дочери, я от своих родителей не помню. Знаю только, кто-то из них получил имение Отрешково, кажется, в Дмитриевском уезде.

У Алексея Федоровича Полторацкого было два сына: Федор Алексеевич (оставшийся бездетным) и Николай Алексеевич (умерший в конце XIX в. в возрасте 50 лет), а также дочь Елизавета Алексеевна, первым браком замужем за Ильиным, а вторым — за бароном Кронбергом. Она умерла в 1917 г.

У Николая Алексеевича Полторацкого был сын (мой отец) Алексей

*Отрывок



(как она его называла. — **А. П.**) работал на стройке, учился. Перед войной, в период репрессии, отец рассказывал, что у него не было одного су на метро, и он ходил через весь Париж пешком. Во время войны попал в гестапо, правда, ненадолго. Вышел. Нервы были крепкие, всегда полагался на волю Божию. Верил в Бога глубоко, без ханжества. Уважал разные вероисповедания, не допускал антисемитизма. А здесь, приехав на горячо любимую Родину, получил сразу же оплеуху. Спасибо, что не посадили. Ехал же он преподавать в Московской духовной академии, а его направили в Одессу. Сам Патриарх Алексей сказал: "Они там Вас не хотят" (т. е. власти. — **А. П.**). Проработал два года в Одесской духовной семинарии, а тут ему и говорят: "Нет для Вас часов". Живет большую часть года в Москве, работает переводчиком в отделе Внешних церковных сношений (считается одним из лучших переводчиков богословских трудов на то время). Чтоб не думать, что все замечательно, жену увольняют с преподавательской работы из Политехнического института с формулировкой "потенциально идеологически невыдержанный элемент". Он же — реиммигрант и церковник. Живут в долг.

Перелистываю ходатайства на имя высших церковных иерархов по поводу его восстановления на работе в Одесской семинарии. Но не они решают, кто и где должен работать. Все решал уполномоченный по делам религии. Впоследствии, после неоднократного вмешательства Патриарха Алексия, все утряслось.

Вот вам и запятые. Все это я акцентировала, т. к. пережила вместе с отцом и его боль, и огорчения. А мне всегда казалось, а, может быть, это было и на самом деле, он, мой отец, принимал все эти неурядицы не то чтобы как должное и необходимое, а всегда без видимого уныния и с верой в промысел Божий. У него был внимательный, умный взгляд, крепкое рукопожатие и очень большое доброе сердце. Он был замечательным рассказчиком и прекрасным собеседником, а еще он потирал руки так, как никто не может.

Воспоминания Николая Алексеевича Полторацкого (отрывок из них предлагал читателям Альманаха) зафиксированы на магнитофонных пленках; его доклады, статьи, письма, фотографии, документы представляют интерес для нас, так как они отражают жизнь русской иммиграции, а также повествуют об интересах интеллигенции в советское время.

По предложению настоятельницы женского Свято-Михайловского монастыря матери Серафимы Литературный музей готовит книгу по материалам архива Полторацкого, в нее войдут также рассказы его друзей с воспоминаниями о нем.

Анна ПОЛТОРАЦКАЯ

Николай ПОЛТОРАЦКИЙ

"Ловец людей, их спутник и учитель"*

Одним словом, я курский помещик 1909 года рождения, русский, по происхождению немного француз. Моя родословная, как и всех других Полторацких дворян, восходит к Марку Федоровичу (сыну протоирея Федора Филипповича Полторацкого), который был вызван графом Разумовским из Черниговской губернии в Петербург и после получения музыкального образования стал директором Придворной певческой капеллы, ныне капеллы имени Глинки, в которой в эти годы находился Сартри и другие.

"Изучив выдержку из книги Лобанова-Ростовского, я смог установить родословные данные касательно Курской ветви рода Полторацких, которая почему-то оказалась скудна на имена.

За № 6 выписки о роде Полторацких значится Федор Маркович, полковник, род. 1864 г. У него значатся сыновья Александр, Евгений, Юрий и дочери Елизавета, Надежда, Софья и Аделаида.

Однако, у Федора Михайловича был еще и сын Алексей, которому отошло имение Доброхотово Фатежского уезда Курской области, а гостиница в г. Курске (теперь "Интурист", но которая старожилками до сих пор называется гостиницей Полторацкого) досталась его дочери Надежде Федоровне, замужем за графом Карлом Лукьяновичем Монтезоро. Что получили другие сыновья и дочери, я от своих родителей не помню. Знаю только, кто-то из них получил имение Отрешиково, кажется, в Дмитриевском уезде.

У Алексея Федоровича Полторацкого было два сына: Федор Алексеевич (оставшийся бездетным) и Николай Алексеевич (умерший в конце XIX в. в возрасте 50 лет), а также дочь Елизавета Алексеевна, первым браком замужем за Ильиным, а вторым — за бароном Кронбергом. Она умерла в 1917 г.

У Николая Алексеевича Полторацкого был сын (мой отец) Алексей

*Отрывок



Николаевич Полторацкий, 1885 г. рождения, умерший в 1910 г., женатый на моей матери, Елене Карловне Мейнеке, 1884 г. рождения, умершей в 1966 г."

Из письма Н.А.П. к Юрию Борисовичу Шмарову,
составителю родословной Н.А. Полторацкого,
Одесса, 2 января 1986 г.

"Теперь я хочу поделиться другим. Прошлым летом мне довелось быть, как обычно, с моей женой Наталией Филипповной в Москве. Она, как раньше и я, немного занимается богословскими переводами для редакции "Журнала Московской Патриархии", а потому, бывая там, мы видимся с председателем издательского отдела Московской Патриархии митрополитом Питиримом (М. П. (Хмелевский)), потомок Пушкина, о чем и заявил английской королеве Елизавете на аудиенции уже в 1990 г., установив, таким образом, свое родство с английской королевской фамилией, так как муж ее — принц консорт — являлся тоже потомком Пушкина. — А. П.).

В состоявшемся на сей раз разговоре владыка Питирим нам сказал, что он недавно купил в Тверской губернии родовое имение Полторацких, в селе Красное, и, принимая во внимание, что Тверская ветвь Полторацких находится в родстве с Курской ветвью, к которой принадлежу я, предложил нам совершить на предоставленной им машине поездку в это имение, дом которого сохранился без перепланировки и который владыка Питирим желает оборудовать под какое-то богоугодное заведение. Говоря это, он нам предложил заехать по дороге в Тверскую картинную галерею, б. путевой дворец Екатерины II, где хранятся портреты Полторацких (один из Полторацких был предводителем Тверского дворянства), потом посетить вблизи Торжка могилу Анны Петровны Полторацкой-Керн (моей двоюродной тетушкой прабабки), а после этого посетить еще музей Пушкина возле Торжка, где находятся тоже портреты Полторацких, затем сам Торжок, где отведать, по совету Пушкина, в ресторане пожарских котлет, а потом уже заехать и в само имение Полторацких. Все это мы и осуществили, а на возвратном пути мы заехали еще в знаменитый б. Старицкий монастырь, храм которого уже возвращен Церкви. Из этого монастыря вышел первый российский патриарх Иов, куда он потом был заточен Дмитрием Самозванцем и где он и умер.

Среди тверских Полторацких, кроме Анны Петровны Полторацкой-Керн, находится известный библиограф Сергей Дмитриевич Полторацкий, бывший другом Пушкина (умерший, между прочим, в Париже в глубокой старости)".

Из письма Н.А.П. к И.В. Сахарову,
Одесса, 11 апреля 1991 г.

Отец у меня умер очень рано, тогда мне было 7 месяцев, так что я его не помню. (По рассказам Елены Карловны, она поехала из имения со своей матерью в Курск, где случайно встретила с известным хиромантом. Он посмотрел внимательно ей в глаза и сказал, что она счастлива в браке, что у нее есть маленький сын, но он видит, что над головой ее горячо любимого мужа витают черные тучи. Несчастья можно избежать, если он в течение месяца не будет покидать то место, где он живет. Она вернулась испуганная домой, рассказала все Алеше, он, в свою очередь, будучи человеком впечатлительным, тоже испугался. Прошло время, его скоро вызвали по делам в Фатеж, и, уговорив свою жену, он уехал. Вернулся Алексей Николаевич смертельно больным. Говорят, то ли сани занесло, и он простудился, то ли он отравился, съев в придорожном трактире несвежую колбасу, но предсказание сбылось. Он скончался под звон колоколов на первый день Пасхи.

Елена Карловна больше не вышла замуж. По воспоминаниям Н.А.П., его бабушка, человек трезвого ума и твердого характера, утверждала, что если бы Леля не таскалась ко всякого рода гадалкам и хиромантам, может быть, ничего бы и не случилось. — А. П.)

В 1925 г. я уехал из России во Францию для получения части наследства, доставшегося мне от бабушки-француженки со стороны отца. Бабушка моя, Елизавета Георгиевна Долерн, после смерти моего деда вышла замуж вторично за богатого человека Ивана Петровича Шеховцева. Как многие состоятельные люди, она уехала во Францию и жила в Ницце. Умерла Е.Г. Долерн в 1916 г. Я ее совершенно не знал. В это время уже случилась революция, и имение было отобрано. (Вывозил из имения семью Полторацких их конюх Кузьмич. В 1962 г., когда мы с матерью и отцом посетили бывшие имения и Шмарново, и Доброхотово, я познакомилась с Кузьмичом и няней отца. Звали ее Нила. Она посадила нас всех за стол, посмотрела на мою маму и сказала: "Ну что, Коленька, выбрал ты себе жену, небось, из благородных?" — "Нет, — сказал отец. — Из мещан". Больше няня в мамину сторону не посмотрела. А на вопрос мамин Кузьмичу — почему не строят избы на пустыре, где стоял дом Полторацких, окончательно разрушенный во время войны, — получила ответ: — "Так это же барская земля". — А. П.)

Мы переехали в Курск. Наследство, которое осталось от бабушки, было не таким большим, как мы предполагали, потому что были тетки и так далее. Но, во всяком случае, эти деньги, которые не были из-за моратория переведены в Россию до войны, находились на текущем счету в Ницце. И это давало возможность моей матери, которая была опекушкой, и бабушке с материнской стороны выехать во Францию. В самом конце 1925 г. я попал во Францию совершенно легально, по советскому паспорту матери. Мы прожили некоторое время в Ницце, но поскольку Ницца — город курортный, зарабатывать на жизнь там было невозможно. Деньги

у нас были весьма незначительные, их хватило бы на год. И потому мы переехали в Париж. (Первый дом, оказавший гостеприимство Полторацким, был дом семьи Ковалевских. — А. П.)

"Дорогой Петя, ты, конечно, не удивишься ни тому, что я столь долго тебе не писал, ни тому, что я вдруг да и написал. Как человек умный, ты прекрасно понимаешь, что в наш век величайших открытий и колоссальных перемен нельзя удивляться ничему.

Но это все присказка, а сказка будет впереди. Сказка состоит в том, что, несмотря на церковные канонические расхождения, я никогда не переставал испытывать чувства душевной близости ко всей вашей семье: во всей ее совокупности, начиная с родителей. Ведь ваш дом был первым, куда я попал по своему приезду в Париж 6 февраля 1926 г. Давно это было и много, как говорится, с тех пор воды утекло! Принятый со всем радушием в вашем доме, я не только храню всегда благодарную память всей вашей семье за ее гостеприимство, но и за то, что если и не исключительно из-за нее, то в значительной степени благодаря ей, я познакомился с тогдашним русским Парижем и ко столь многому приобщился. Под вашим же влиянием у меня проявилась близость с вами духовных интересов, которые дотоле находились как бы где-то под спудом...

Говоря сейчас обо всем этом, я нарочно сейчас не выделяю никого отдельно, а говорю о всей семье Ковалевских, той, которая тогда жила в доме на 62, rue de la République в Медоне и с каждым из членов которой, начиная с родителей и кончая младшим сыном, я сроднился, но сроднился по-своему.

И вот сейчас, в этот зимний вечер, когда вдруг у меня внезапно возникла какая-то внутренняя потребность написать это письмо, мне хочется его написать всем вам вместе, и, прежде всего, маме и тебе; и хочется также знать, что оно пойдет на 62, rue de la République, в тот дом, с которым у меня связано столько воспоминаний на протяжении почти четверти века".

Из письма Н.А.П. к П. Ковалевскому,
Одесса, 3 февраля 1960 г.

В Париже мать стала учиться шить, потому что она плоховато знала французский язык, да и вообще, во Франции в то время было перепроизводство интеллигенции. Французы стали ее использовать в качестве рабочей силы. Так мать научилась шить и стала работать высококлассной портнихой, тем, что называется "от кутюр".

"Все мы живы и здоровы. Я учусь, мама работает — шьет шелковое белье и другие вещи, бабушка помогает маме и занимается хозяйством. Порой бывает жить трудно в материальном отношении".

Из письма Н.А.П. к А.А. Глушаковской в Курск.
Кламар, Франция, 6/1927.

Я был из советской школы, восьмой группы. Тогда не было классов. Слова "класс" боялись и поэтому даже в школах классы упразднили, а ввели группы и девятилетку. И вот я из 8-й группы единой трудовой школы попал в Париж, но программа средней советской школы на тот период времени была значительно ниже, поэтому сдать на аттестат зрелости мне не удалось. Я проучился год в русской средней школе в Париже (была тогда русская школа в Париже). Но тут произошло такое обстоятельство. Во Франции — не так, как у нас, когда каждый, оканчивающий среднюю школу, получает аттестат зрелости. Во Франции присваивается первая степень бакалавра. Выдержать экзамены на присвоение степени бакалавра очень трудно. И аттестат зрелости, который дает право поступления в университет без экзаменов, получает, в среднем, одна треть окончивших среднюю школу. Остальные получают свидетельство об окончании средней школы без права поступления в университет. В высшую спецшколу можно поступить вообще без всего. Если у вас есть аттестат зрелости, то он дает лишние баллы. А так, вообще, у них система средняя. Система такая, что в вузы можно поступить. Предметы различаются по своей значимости: важные предметы имеют больший коэффициент. Вот такая сложная система средней степени.

Итак, аттестат зрелости я не выдержал, потому что с самого начала было трудно, да и денег не было. В Париже параллельно с гражданским, государственным университетом есть католический университет, как Лувель. Но, так как во Франции разделены церковь и государство, он носит название не университета, а института — Парижский католический институт. Он имеет несколько факультетов, исключая медицинский. И при нем же, в порядке факультета, была Высшая школа экономических и коммерческих наук. Я никакого влечения к этому не имел, но там было очень милое руководство: ректор — католический монах-марист Пьер Блонда. В общем, мне посоветовали обратиться туда. Я пришел к маристу, он принял меня очень хорошо. При Парижском католическом институте были подготовительные курсы. А высшие вузовские подготовительные курсы, специальные инженерные, платные, и очень дорого стоят. И я был принят на подготовительные курсы бесплатно, прошел их в течение одного года, потом выдержал экзамен и поступил в Высшую школу экономических

и коммерческих наук, которую окончил. Помимо экономики, бухгалтерии и т. п., были предметы дополнительные, например, немного философии, мораль коммерческих дел, которые читались профессорами-иезуитами. Таким образом, я приобщился к католикам, к науке и богословию, но на меня никакого давления не было оказано со стороны католичества, была полная либеральность в этом смысле. (Затем, совмещая с работой в издательстве "Атье", Н.А.П. окончил Институт сравнительного права в 1945 г. — А. П.)

Как я уже говорил, директором Высшей школы экономических наук был католический монах-марист Пьер Блонда. Изумительный человек, по своей доброте. Это один из трех людей, которые имели определяющее значение в моем христианском мировоззрении. Я много видел всяких клерикалов, но это был один из трех. Он не был иезуит. Маристский орден сродни иезуитскому, но более скромный по сравнению с иезуитами, потому что посвящен Марии. Мы обычно имеем предубеждение к слову "иезуит". Но ведь Тейяр де Шарден — иезуит. И сколько добра в иезуитах, настоящего смирения и доброты, и необычайной педагогичности. Вы знаете, что Вольтер до конца своих дней сохранял благодарность своим воспитателям-иезуитам. И когда он был директором провинциального колледжа, и потом, когда его перевели в Париж, ему было учениками сказано: "Большой справедливее с золотым сердцем".

Когда я окончил институт, то оказалось, что во Франции после окончания любого французского вуза распределения нет, поэтому каждый устраивается так, как он может и как он хочет. Кроме того, в 1931 году наступил период безработицы во Франции, так что было трудно, но Пьер Блонда устроил меня на работу. Он дал мне рекомендательное письмо к хозяйке школьного издательства "Атье" мадам Фулон. Высшей похвалы для француза относительно иностранца нельзя себе представить. "Мадам, я Вам рекомендую подателя сего Николая Полторацкого, который, хотя и русский по происхождению, но француз и католик душой". Я вошел через большие двери, как говорится. Первый месяц испытания, потом сказали: "Хорошо, Вы пригодны для работы. Будете у нас работать, а через 5 лет перейдете в категорию старых служащих, т. е. будете участвовать в прибыли Дома". И тут, как Горький говорил в "Моих университетах", мне "посчастливилась судьба", потому что, с одной стороны, там работал единственный иностранец, кроме меня. Это был серб, который не был интеллектуалом, но обладал интеллектуальными запросами. Он вечно слушал всякие лекции. Был еще, помню, такой немножко неудачник, если хотите, — виконт Врио де ля Кроше, французский аристократ, который остался сиротой, долго прожил в Англии, англоман, любивший все, кроме английской кухни. Вообще, среда была очень интел-

лектуальная. Был еще Шер де Персонель, из-за болезни не окончивший семинарию, рафинированный католик, ищущий, мыслящий, посещавший вместе со мной Бердяева. Владелица издательства скоро умерла, с ее сыном у меня сохранились очень хорошие отношения, мы переписываемся, посылаем друг другу книги. Мы с Наталией Филипповной гостили у него в 1981 г. Тогда он принимал нас очень хорошо, так что мы в дружеских отношениях.

Мы в нашем школьном издательстве издали карту Советского Союза. И для отзыва директор попросил отнести ее представителям русской иммиграции, а именно, специалисту Милокову.

Во Франции в то время эмиграция представляла большую культурную ценность. В Париже жили видные представители и философии, и юридических наук. В эмигрантской среде Парижа издавалось несколько газет. Одна из них, газета левого толка, издавалась под редакцией Павла Николаевича Милокова. Милоков был историком, время от времени выступал с лекциями. Эта газета издавалась большим тиражом. Там публиковались и Бунин, и Куприн, и Тэффи. Вторую газету, умеренно правого толка, под названием "Возрождение" издавал Федор Бернгардович Струве, который потом переехал в Югославию. Редактором был Семенов, но это бледная личность. Руководителем газеты был Дугасов, армянин. Их неполадки со Струве и определили отъезд последнего.

И была более левая газета, выходящая редко, раз в неделю, такая чехлая газетка, незначительная, которую издавал Александр Федорович Керенский. "Дни" называлась. Потом были какие-то эпизодические издания, менее значительные. Был хороший в плане иллюстративности журнал типа "Огонек" под названием "Иллюстрированная Россия". Потом был "Царский вестник", который нерегулярно издавал Николай Евгеньевич Марков II. Это было черносотенное издание, а-ля "Память". И на крайнем левом фланге издавался при посольстве "Наш союз", посвященный проблемам возвращения на Родину.

Когда я пришел к Милокову, меня в нем поразило следующее. Его квартира находилась в районе Монпарнаса. Квартиры в Париже выглядят в зависимости от районов. В Париже есть квартиры, в которых живет интеллигенция, — это Монпарнас или бульвар Сен-Мишель, где Сорбонна, Университет. Есть рабочие кварталы и есть шикарные, аристократические, и буржуазные. Когда я пришел к Милокову, он сам мне открыл дверь, был в таком длинном халате. В квартире стен не было: начиная с передней стояли стеллажи с книгами. Милоков, в отличие от Деникина, расспрашивал, где я учусь, работаю, отнесся покровительственно, по-профессорски.

А к Деникину я попал таким образом. Союз русских студентов давал благотворительный бал в помощь студентам, болеющим туберкулезом. (Н.А.П. был секретарем Союза русских студентов. — А. П.) Нам давалась картотека. Нужно было обойти известных представителей русской эмиграции, чтобы вручить им билет, с точки зрения благотворительности. Я смотрю, в этой картотеке значится Деникин Иван Антонович. Личность историческая. Мне стало любопытно, и я пошел к нему. Жил он на окраине Парижа, в скромном маленьком домике. Я пришел, позвонил, и он поразил меня своей наружностью, потому что это был единственный человек, имевший облик русского военного. Он был в гимнастерке, в кавалерийских сапогах, лысый, с маленькой бородкой. Он вышел навстречу: "Чем могу служить?". Я нашел нетактичным спрашивать о войне или прочем. Я только сказал, что Союз русских студентов устраивает бал: "Просим Вас, вот печатки, пожалуйста". Он подписал квитанцию и дал минимальную сумму, которую можно было дать: 5 франков. "До свидания". — "До свидания", — и я ушел. Но у Деникина я был.

Каждый год устраивался День русской культуры. Общими силами и артистическими. Там на них выступали многие русские артисты и т. д. Были часто такие мероприятия, и объединялись как-то все силы. Только они обычно враждовали, более левые и более правые. Вообще, русские имеют искусство враждовать между собой. Между прочим, параллельно шло. Два общества было в России, одно более правое, другое левое. Два юриста, два еще чего-то, вот так оно все двоилось. Одни более правые, другие более левые. Не черносотенного и не большевистского типа, а вот среднее такое. Средняя левизна и средняя правизна. Тогда объединялись по линии культурной принадлежности.

1937 год. В Париже был пушкинист Гофман. Он приезжал за реликвиями Онегина и застрял в Париже. Он оказался невозвращенцем. Этот Гофман читал кое-какие лекции о некоторых главах Онегина, неоконченных. Занимался чисто пушкиноведческими вещами. Ну, а потом он эти реликвии продал Лифарю Сергею Михайловичу. Но кто такой Сергей Михайлович Лифарь? В 1912 г., перед войной, за границу выехала балетная труппа во главе с Дягилевым. Они выступали долгое время в Монте-Карло, а во Франции они были известны, как Le Ballet Russe de Monte-Carlo. И дядя его руководил всем этим. Там Фокин был, потом другие известные балеруны. Младший из этой плеяды, которому наиболее повезло, был Сергей Михайлович Лифарь, первый танцор Grande Opera, парижской оперы. Серж Лифар, которому писались аршинными буквами афиши, и который царил на французской сцене. Причем как странно: у нас больший вес имеют балерины, а там из всех танцоров и танцовщиц, что

выступали, говорилось только о нем. Но, помимо того, что он был замечательный танцор, он был пушкинист и написал книгу о Пушкине. Дописал не он, дописал Гофман, Модест Михайлович. Потом была выставка в Париже, которую устраивал Лифарь. И на этой выставке, конечно, я был. И там были с Лифарем всякие материалы, касающиеся Онегина. Как сейчас помню, это было на 2-м или 3-м этаже. Не вошел, а действительно влетел, необычайно элегантно, в белом шарфе Сергей Лифарь.

Я жил под Парижем, в Кламаре. Как это получилось? Прожив месяц-два в Ницце, мы познакомились с племянницей Льва Николаевича Толстого, которая тоже переехала в Париж и жила с дочерью Толстого, Татьяной Львовной Сухотиной-Толстой. Мы жили через дорогу друг от друга. Да и кто только из русской интеллектуальной эмиграции там не жил! Через две улицы жил Бальмонт, потом Лев Платонович Карсавин, Николай Александрович Бердяев, Марина Цветаева и ее муж Сергей Эфрон. Все это дает повод к анекдотической истории, поскольку французы в интеллектуальном смысле (все это я говорю за многолетней давностью) довольно узкие, и их познания не распространяются на иностранную культуру, а тем более, русскую. Но, тем не менее, в Париже был известный аббат Кене, француз, который изучал русский язык, говорил блестяще по-русски, почти без акцента. Учился он вольнослушателем в Киевской Духовной Академии, потом в университете. Во время гражданской войны был вместе с генералом в Сибири и т. д. Вот этот аббат Кене написал книгу о Чаадаеве. Аббат Кене был настроен немного агрессивно, т. е. некуменически. Почему он взялся за Чаадаева? "Та пушка никогда не стреляла, колокол никогда не звонил". Все несчастья России оттого, что она не примкнула к католицизму. Аббат Кене написал большую диссертацию о Чаадаеве и защитил ее в 1931 г. И вот однажды я встречаюсь в Кламаре с мсье Жаном ван Дермером (голландская фамилия, хотя он был чистый француз, редактор какого-то издательства). Он отсутствовал 20 месяцев, куда-то уезжал. Бросился ко мне: "Bonjour, monsieur! Comment ça va? Quoi de neuf?", т. е. "Здравствуйте, мсье! Как дела? Что нового?". Я ему сообщаю, что в числе прочих событий аббат Кене защитил диссертацию о Чаадаеве. Он восторжен, такой любезный, живой француз, тут же мне ответил: "Очень интересно! А скажите, мсье Чаадаев, он живет в Кламаре?". Когда говорят явную глупость, я краснею. Я ему отвечаю: "Вы знаете, он умер". — "Бедняга! Разве он болел?"

Публикация Анны ПОЛТОРАЦКОЙ
Екатерины РУДЯК

Незабываемое

Тот, кто вчерашние жертвы забудет,
Может быть, завтрашней жертвой будет.

Е. Евтушенко

Бывают периоды жизни, которые забыть нельзя. Даже десятилетия спустя они столь ярко запечатлены в памяти, будто это было вчера. Ты несешь в душе тяжелый груз, от которого освободиться невозможно. И рано или поздно начинаешь ощущать, что больше не в силах копить его в себе. Хочется, чтобы о том, что увидел и пережил ты, узнало как можно больше людей — современников и потомков.

Во время войны я был ребенком. Мне чудом удалось выжить. И я хочу рассказать о страшных событиях, свидетелем которых я был, о трагедии еврейского народа и о том, как маленький еврейский мальчик, потеряв мать, нашел в себе силы и мужество не только выжить самому, но и помочь спастись другу.

Я родился 9 апреля 1930 года в Одессе. Отец — Илья Ефимович Нильва, 1875 года рождения, был родом из хутора Ходоркова Житомирской области, мать — Нильва Ида Осиповна, 1892 года рождения, — из Сычавки Одесской области. В доме не очень строго придерживались еврейских традиций. Когда в младенчестве мне хотели сделать обрезание, мать воспротивилась. Я был третьим ребенком в семье. Старшей сестре Анне к тому времени было 12 лет, а другой сестре Тасе — 6. Отец очень обрадовался сыну: будет продолжатель рода.

Отец и мать работали портными. До революции отцу принадлежал первый этаж левого флигеля дома по Бебеля, 54. Там находились мастерская и наша квартира. После революции у отца все отобрали, оставив только одну комнату. Правда, эта комната была очень большой — около 60 квадратных метров. Посреди нее стоял большой дубовый стол, а справа от него — рояль фирмы "Беккер". Слева под стенкой стоял большой красивый буфет, а в конце комнаты — зеркальный шкаф и две никелированные кровати.

Помню себя примерно с пяти лет, когда "заблудился", и меня привели домой ребята. Я был очень шустрым ребенком, и во дворе всегда играл с детьми старше себя. Гордостью нашей семьи была старшая сестра Анна, которая училась на историческом факультете педагогического института.

В Одессе жили три сестры матери — Бетя, Роза и Витя и много других

ее родственников. Отец много работал в мастерской и дома, ибо семья была большая. Он серьезно болел. Приходя к отцу на работу, я часто застаивал его лежащим с мокрым полотенцем на голове. Мать в основном шила летом, когда мы выезжали во Владивку, Ермолинцы, Григорополь и другие села Одесской области. В качестве платы крестьяне давали топленое масло, мед, варенье, пастилу. За лето мать зарабатывала столько продуктов, что нам хватало на всю зиму. Отец был тихим, спокойным человеком, а вот мать любила пошуметь. Мать была умной и доброй женщиной. Она помогла многим сельским девушкам, устроив их домработницами. Были случаи, когда, встретив на улице плачущую девушку, мать приводила ее в дом, кормила, оставляла на ночлег, а на следующий день пристраивала к кому-либо. Хорошо помню, как из Владивки к нам приехала раскулаченная семья Урденко. Мать приютила их, а затем устроила на работу в дом отдыха № 5.

Наш дом по Бебеля, 54 был интернациональным. В нем жили русские, украинцы, евреи, болгары. В памяти сохранились фамилии многих жильцов: Себовы, Орлик, Сворены, Винокуровы, Казанские, Громиковы, Бойченко, Невдащенко, Манулисы, Книга, Эйдлеры, Верник, Бери, Гольдштейны, Гримберг, Цимерман, Примусник, Лившиц, Бендерские, Уманские. Однако каких-либо конфликтов из-за национальных различий не было. Многие жильцы занимали ответственные должности, но никогда не бравировали этим. Затронули наш дом репрессии. Наш сосед генерал Поляков был арестован, а его семью переселили на Молдаванку. Квартиру отдали семье моториста с теплохода "Комсомольск".

Детей во дворе было много. Костяк нашего коллектива включал Борьку Шильмана, Гришу Себова, Лялю Ронскую, Галу Громикову, Тамару Бойченко. Я был младше их, но очень задирист и часто дрался с детьми намного старше меня. Каждый имел кличку. К примеру, Гришу Себова называли Рича, меня — Фимка-колхозник. Мы дружили с ребятами из 56-го и 58-го домов: Толей Ходоровским, Аликом Бирманом, Робкой Гольфарб и другими. Дворовое воспитание давало свои плоды — оно вырабатывало смелость, находчивость. Мы играли в казаки-разбойники, в жмурки, в пожара, в маялки, в швайку, ходили в походы — Ланжерон-Аркадия и обратно. Мастерили самокаты на подшипниках, собирали какие-то электросхемы. Воевали с другими улицами и дворами. Зимой катались на коньках, санках, лыжах. Я часто болел: дизентерией, малярией, два раза был ложный круп.

Учился я в школе № 71, которая находилась недалеко от нас, на улице Жуковского. Во время большой перемены часто бегал домой за куском хлеба с медом. В 1939 г. мне и Грише Себову купили бобриковые пальто, и все нам завидовали.

В начале 1940 г. тяжело заболел отец. Его поместили в больницу, где

он умер 15-го января. После смерти отца материальное положение семьи серьезно осложнилось. Анна к тому времени окончила вуз и работала на кафедре истории в мединституте. Она вышла замуж и жила отдельно. Учился я неважно, поэтому надо мной взяли шефство студенты Водного института. Я ходил на занятия в общежитие на Слободке, где они жили.

Мужа Анны, Кириллова, в начале 1941 г. перевели из Одесского артиллерийского училища в артучилище г. Чкалова. Она уехала вместе с ним.

Весной 1941 г. было тревожно. Германия захватила большинство стран Европы. Что такое фашизм, мы знали. Об этом немало писали, показывали кинофильмы. Особенно большое впечатление произвели фильмы "Болотные солдаты" и "Профессор Мамлок". К тому времени мне исполнилось 11 лет. Я окончил три класса, а сестра Тася — девять.

Хорошо помню 21 июня 1941 г. Вечером я вместе с другими детьми со двора пошел в парк Шевченко на соревнования по боксу, где выступал наш сосед Лень Чудновский. Утром 22 июня мы собрались во дворе и стали обсуждать результаты соревнований. Вдруг мы увидели, что люди бегут к садику, где размещены большие репродукторы. Должны были передать важное правительственное сообщение. И в 12 часов выступил министр иностранных дел В.М. Молотов. Он сообщил, что фашистская Германия без объявления войны напала на нас. Выступление заканчивалось словами: "Враг будет разбит, победа будет за нами!".

Стоя у репродуктора я понял, что беззаботное детство окончилось, и ему на смену идет что-то неведомое, страшное. Каждый день мы слушали сводки, они были неутешительными. Многие одесситы стали думать об эвакуации. Уже в конце июля эвакуация из Одессы шла полным ходом. Из нашего дома уехали примерно 20 семей. Мать заставила Тасю эвакуироваться вместе с соседкой по дому Серебренничкой. Сама она не хотела уезжать: говорила, что видела немцев в 1918 году, и ничего страшного не происходило. Этому же мнения придерживались многие евреи.

Одессу начали бомбить ровно через месяц после начала войны. В городе то и дело возникали пожары, был разрушен ряд домов. Помню, как горел молзавод на Пушкинской угол Троицкой. Люди, сбросив кое-какие вещи, спускались со второго этажа на простынях. Началась эвакуация заводов и фабрик, а оставшиеся предприятия стали выпускать оружие и боеприпасы. В начале августа в городе стали возводить баррикады, организовывать истребительные батальоны и бригады по тушению пожаров. Враг контролировал пригородные деревни, поэтому на базарах почти ничего не было. Наш сосед Винокуров несколько раз брал меня на свиноферму, которой он руководил, и я приносил домой мясо.

В середине августа Агнесса Семеновна Рубцова пригласила нас к себе на дачу, которая находилась на 10-ой станции Большого Фонтана. Когда

же через пару дней мы вернулись, то увидели страшную картину. Оказалось, что тонная авиабомба разрушила три флигеля нашего дома и один флигель дома № 56. Под обломками нашего дома были погребены 15 человек. Погибли даже те, кто находился в бомбоубежище.

Хотя наш флигель уцелел, жить там было нельзя. Мы получили комнату в коммуналке на Бебеля, 49. Перенесли туда большинство вещей, а самые ценные — на Троицкую, 32, к Агнессе Семеновне. На Бебеля, 49 мы прожили примерно два месяца, а затем переехали в квартиру хорошего знакомого дяди Лева на Мещанскую, 6/8. Это был типичный одесский двор с молдаванским колоритом и замечательной дворничкой тетей Тасей. Дядя Лева жил с двумя дочерьми — Рахилью и Фасей.

Жизнь в доме проходила размеренно. Никто не предполагал, что вот-вот придет беда: оккупация, аресты, расстрелы. Мы знали, что бои с румынскими захватчиками под Одессой ведутся успешно, видели прибывающие войска. Но вдруг в середине октября на стенах домов появились листовки, сообщавшие, что по стратегическим соображениям Одессу временно оставляют. Город был в шоке. Люди перечитывали эти листовки по несколько раз.

14-15 октября 1941 года в Одессе было безвластие. Люди вскрывали магазины, склады и запасались продуктами. Со склада на Александровском проспекте я унес домой мешок сухарей. Затем снова пошел туда и взял десять банок консервов и несколько килограммов фиштакеш.

16 октября 1941 года — самый трагический день для одесситов и особенно для одесских евреев. Во второй половине дня передовые румынские части вступили в Одессу. Около Оперного театра колонну встречала группа одесситов с хлебом-солью. Состоялся митинг. Ораторы благодарили за освобождение от большевиков. Затем румынский офицер произнес речь о том, что новая власть даст всем свободу, а виновных в этой войне коммунистов и евреев ждет наказание. При этом толпа ему зааплодировала. После этого митинга я пришел домой разбитый, так как отчетливо понял, что ничего хорошего от оккупантов ждать не стоит.

Уже на следующий день в помещениях районных отделений милиции были созданы полицейские участки. Туда стали поступать доносы, согласно которым производились аресты. В ночь на 18 октября был взорван дом по улице Энгельса, где разместился румынский штаб, при этом погибло много высокопоставленных офицеров. Начался террор. Сначала уничтожали всех арестованных, а затем стали хватать людей на улице. Весь Александровский сад был уставлен виселицами, а тех, кому не хватало места на виселице, убивали прямо под деревьями. Среди повешенных я увидел нашу соседку Анну, которую мать привезла из Врдаивки. Гриша Себов спасся лишь по счастливой случайности. Вера Громикова

увидела, что его арестовали, и быстро сообщила об этом отцу Гриши, который сумел добиться освобождения сына. Этот террор касался всех, но вскоре оккупанты начали специальные антиеврейские акции. В бывшие пороховые склады (недалеко от нынешней площади Толбухина) они согнали 25 тысяч евреев и заживо сожгли их. Вместе с евреями там были уничтожены пленные моряки. Но это было только началом.

23 октября последовал приказ фашистов, обязывающий всех евреев отправиться в Дальник для регистрации. Сбор был назначен у Прохоровского сквера (там сейчас памятник Дороге смерти). Собралось около 10 тысяч евреев. По дороге они были ограблены мародерами — одесситами. В Дальнике людей разместили по коровникам и свинарникам. На следующий день всех расстреляли у противотанкового рва.

25 октября появился новый приказ, обязывающий евреев собраться у Прохоровского сквера для отправки в Дальник. Нас стали выгонять из домов, заставляя идти на пункт сбора. Я, мама, дядя Лева, Рахиль и Фася также пришли в сквер. К полудню там собралась многотысячная толпа. Под крики фашистов "Гей, жидан!" нас погнали в Дальник. На углу Дальницкой и Степовой колонна попала в живой коридор мародеров, которые вырывали вещи из наших рук. Охрана закрывала на это глаза. Мне было дико наблюдать такую картину, ибо грабежом занимались одесситы. А в это время другие мародеры — местные и румыны — взламывали квартиры евреев и грабили их.

К вечеру колонна достигла Дальника. Конечно, никакой регистрации не было. Нас разместили в сараях, свинарниках, коровниках. Ночевали фактически на голой земле. Утром нас построили и объявили, что отправимся в Доманевку. Это село расположено на северо-востоке от Одессы, в 200 км. И вот многотысячная колонна двинулась в путь.

Многим старикам и детям не хватало сил, они отставали. Через некоторое время колонна сильно растянулась. Конвоиры сначала устраивали остановки для того, чтобы отстающие подтягивались, а потом фашистам это надоело, и они стали расстреливать тех, кто не мог идти быстрее. У большинства людей не было еды. Мы рвали на полях, мимо которых шли, свеклу, морковь, очищали от земли осколками стекла и ели. Многие просто падали на дороге, и их добивали охранники.

На станции Выгода устроили второй ночлег. Нас снова разместили на колхозном дворе в коровниках. Правда, приходили крестьяне, принося еду. Многие из них приносили съестное просто из жалости, другие меняли его на вещи.

Утром снова погнали в Доманевку. С каждым пройденным километром выстрелы звучали все чаще. Во второй половине дня я выбился из сил и сказал маме: "Нужно что-то делать, иначе мы погибнем здесь на дороге". Мать была не из робкого десятка. Она подошла к румынскому офи-

церу и сказала, что мы попали в этот этап случайно, так как ее второй муж — еврей, а я от первого мужа, который был русским. Офицер хорошо понимал русский язык. Он отвел меня в посадку, велел снять штаны, посмотрел, сделано ли обрезание. Убедившись, что "все в порядке", велел конвоирам отпустить нас. Вечером мы добрались до Выгоды, где попросились на ночлег. Нас хорошо покормили и уложили спать в теплой хате. Утром нас покормили завтраком, дали в дорогу хлеба, сыра, и мы двинулись в Одессу.

Перед нашим взором предстала ужасная картина: вся широкая дорога была усеяна трупами детей, стариков, женщин. Этот страшный путь невозможно забыть... Нас подобрала подвода. Позже в нее подсел румын, который пытался доказать, что люди, которых убили, — виновники войны. К вечеру мы добрались до Одессы.

Мы переночевали у знакомых на ул. Петропавловской, а утром отправились в квартиру на Бебеля, 49. Но соседи не впустили нас, не дали даже вещей. Мать обозвала их грабителями и прокричала: "Горите вы вместе с нашими вещами!". Мы отправились на Мещанскую, в квартиру дяди Лёвы. Дворничка тетя Тася дала ключи, и мы поселились там.

Ноябрь 1941 г. был очень тревожным. Периодически появлялись новые приказы об изгнании евреев из города. Но мы с матерью знали, что ждет тех, кто откликнется на подобные приказы. Мать ходила на Привоз, меняла вещи на еду, а также шила у некоторых знакомых на дому. Я часто ходил на Бебеля, 50, где меня подкармливали прежние соседи — Себовы, Бойченко, Громикова. Посещал также других знакомых — Полю Грабовскую, Аню Бобилову, Дусю и Нонну Андриусевич, тетю Мотю из Сычавки. Все они относились ко мне доброжелательно. Правда, некоторые знакомые, запуганные оккупантами, не хотели, чтобы я к ним приходил. А дворник с Бебеля, 50 хотел задержать меня и сдать в полицию, но я был предупрежден об этом и избегал встреч с ним.

Фашисты старались выманить евреев из города, чтобы уничтожить их за пределами Одессы. Им активно помогали предатели, писавшие доносы. Ежедневно происходили аресты. Румыны грабили еврейские квартиры, а "доброжелательные" соседи подбирали то, что не забрали оккупанты. В городе становилось все опаснее, жизни можно было лишиться в любую минуту. Мы понимали: единственный путь к спасению — отъезд в какую-нибудь деревню, где можно было переждать лихолетье. Но тогда это было невозможно.

В 20 числах ноября я вместе с Тamarой Бойченко шел на Бебеля, 50. Неожиданно из 49-го дома вышла бывшая соседка Клава. Она стала звать меня, предлагая забрать вещи. Я остановился, почувствовав какой-то подвох. Ведь совсем недавно она не хотела пустить нас в квартиру, утверж-

дая, что она ограблена и ничего из вещей не осталось... Вдруг из парадной 49-го дома выскочил румынский жандарм с криком: "Стэй еу ынтушкат!" (Стой, буду стрелять!). Я бросился бежать к дому № 55, ибо с малых лет знал, что он проходной и имеет выход на Преображенскую. Через несколько минут я был на углу Преображенской и Островидова и, спрятавшись, наблюдал, как жандарм с винтовкой наперевес в окружении десятка пацанов рыскал по маршруту Бебеля — Преображенская — Троицкая — Овчинниковский переулок. Так я избежал неминуемой гибели.

Позже я узнал следующее. 15 ноября кто-то поджег дом на Еврейской, 49. В подвале дома находилась целлюлозная мастерская, которая вспыхнула, как факел. Следом за пожарниками приехали жандармы. Наши соседи вспомнили слова матери: "Горите вы вместе с нашими вещами!" и сообщили жандармам, что поджог совершили мы. Где мы с матерью жили, они не знали, но видели, что я часто захожу напротив — на Бебеля, 50. Для моей поимки был выделен жандарм, который прятался в парадной дома № 49, а с ним периодически дежурила какая-нибудь соседка.

После войны я встретил Клаву. Она плакала и клялась, что ее заставили опознать меня и сдать жандармам как поджигателя-еврея. Я ее простил, пусть Бог ей будет судьей. Когда бываю возле 55-го дома по улице Еврейской, мысленно благодарю его за спасение.

Зима 1941 г. была суровой. Начались сильные морозы, а вместе с ними усилились гонения на евреев. Оккупанты разработали следующий план их депортации из Одессы. Пойманных людей отправляли на станцию Сортировочная, а оттуда в Березовку. Многие села Березовского района представляли собой мини-гетто, где евреи умирали от голода и холода.

В доме на Мещанской мы прожили до середины декабря, пока дворничка не предупредила нас, что нужно уходить. Мы перебрались на Троицкую, 32, заняв пустовавшую комнату в квартире, где жила Агнесса Семеновна. Но для того, чтобы там жить, нужно было временное удостоверение. Тогда Агнесса Семеновна договорилась с управдомом Карлом Новоковским, чтобы он помог достать нам такие удостоверения. Чтобы получить их в жандармерии, нужно было подать заявление с подписями трех свидетелей, которые подтверждали бы, что мать — украинка.

Мать передала все документы Новоковскому, и он обещал сделать все необходимое. Это было перед самым Новым 1942 годом. Мы с матерью обустроили комнату, в которой обитали: перенесли от Агнессы Семеновны две никелированные кровати, стулья, столик и другие предметы домашнего обихода. Возможно, именно это сказалось на нашей судьбе. Дело в том, что как раз в это время Карл Новоковский женился. Его большая свадебная фотография красовалась на витрине фотоателье на Преображенской. Новоковский был у нас, и ему понравилась квартира, обстанов-

ка. Тогда он, очевидно, решил, что в этой квартире ему будет хорошо жить с молодой женой.

Новоковский выдал нас с матерью. Сразу после Нового года нас пришли арестовывать. Я был в школе, а мать шила на дому у немца-колониста. Жандарм пришел за мной в школу, но мой одноклассник Вадик Кушнир прибежал в класс и крикнул: "Фима, убегай, за тобой пришли!". Я выпрыгнул из окна и побежал домой, на Троицкую, 32, но в подъезде дома был схвачен жандармом. Он отвел меня в полицию, а оттуда меня доставили в гетто. Оно располагалось на Слободке в общежитии мореходки. Уйти из гетто не составляло труда. Вместе с каким-то парнем мы перелезли через забор и пошли в город. Я отправился на Хуторскую, к тете Моте. Через несколько дней мать нашла меня там. Она рассказала, что ее предупредил Филимон Тарасович Ясько. Каждый день мы ночевали в другой квартире: у Дуси Андриусевич, Поли Грабовской, Ани Бобиловой, у тети Моти.

Мама понимала, что нужно уезжать из города, но для этого нужно было иметь, опять же, временное удостоверение. Помог случай. Немцы-колонисты порекомендовали ее румынке, работавшей секретарем в полиции. Мать договорилась, что в качестве платы за работу та сделает нам документы. Мама трудилась с утра до вечера, а я ходил по знакомым, приходя к ней лишь для того, чтобы поесть. Три дня я прожил в доме ТЮЗа на ул. Куйбышева. По рекомендации наших знакомых меня приютил дядя Миша, который вместе с семьей жил в этом доме. Вечерами его семья пекла кренделя и продавала их на базаре. Было хорошо, сытно, никто не задавал лишних вопросов. В зале ТЮЗа устраивали танцы, и одесские шлюхи танцевали и целовались с немцами и румынами. Я не мог понять психологию этих девиц: ведь их родственники воевали с фашистами на фронте.

Когда через несколько дней я встретился с мамой, она сияла от радости. Румынка сказала, чтобы мы сфотографировались для удостоверений. Через день документы были у нас в руках. Я предложил сразу уехать в деревню, но мать сказала, что нужно закончить шить у этой румынки. Мы сняли комнату на Разумовской. И вот мать сообщила, что еще день, и она оканчивает работу. Но наша радость была преждевременной. На следующий день я долго ждал маму. Вечером в дверь постучали. На пороге стоял холеный молодой полицай. Он вынул из кармана мамино удостоверение и спросил: "Это твоя мать?". Я подтвердил, и тогда полицай сказал: "Она арестована, я пришел за тобой". По дороге он рассказал, что мать проговорилась у румынки, и та заявила на нее. Но в полиции не знали, где я. В удостоверении был адрес разрушенного дома по ул. Тираспольской. Однако мать передала для меня записку женщине, которая сказала, что ее выпускают на свободу. Та оказалась предательницей. Таким образом я попал к маме в камеру. Мать очень ругала себя за то, что не уехала из Одессы в тот же день, когда получила удостоверение.

Утром нас привели в канцелярию полиции и объявили, что за невыполнение приказов оккупантов и сокрытие национальности будут судить. Жандарм повел маму и меня в военный трибунал, который находился на Канатной. Нас судили заочно: мы ждали своей участи в коридоре. Сопровождающий жандарм получил решение и повел нас в центральную тюрьму. Когда нас выводили со двора трибунала, меня кто-то окликнул. Я увидел, что из камеры махала Рахиль, старшая дочь дяди Левы. Я видел ее в последний раз.

Центральная тюрьма располагалась недалеко от трибунала, на Бебеля, 13. Напротив нее, на Бебеля, 12, была сигуранца. В тюрьме нас разлучили: меня поместили в мужскую камеру, а мать — в женскую. Наша камера находилась недалеко от ворот. Она была клинообразная, поэтому крайние окна были на уровне земли. Слева от нас находилась женская камера. В многоэтажном флигеле сидели партизаны и подпольщики, их заковывали в кандалы. Во дворе тюрьмы дежурили жандармы с пулеметами, у ворот также была охрана. В левом углу двора находилась канцелярия. Мне исполнилось 11 лет и 8 месяцев, и я был единственным ребенком в этой тюрьме.

Все арестованные твердили, что сидят за спекуляцию. Конечно, никто не говорил правды, так как боялись предателей. Механизм уничтожения евреев, партизан, подпольщиков был хорошо отлажен. Каждую ночь заключенных увозили на казнь. В одну из январских ночей увезли и мою мать, которой было 49 лет. Утром во дворе мне рассказала об этом ее сокамерница. Мать в последний раз передала мне кусок хлеба и пять марок. Я вернулся в камеру и горько заплакал. Я понял, что больше никогда не увижу самого дорогого мне человека...

На следующий день меня вызвали в тюремную канцелярию на "собеседование". Один из предателей, как будто жалея меня, спросил: "Что с тобой делать?". Я предложил отправить меня в гетто на Слободку. Эта идея понравилась им. Через день к тюрьме подъехала подвода с маленькими детьми. Меня вызвали, усадили на эту подводу и повезли в гетто. Везли нас по Бебеля. Я увидел Гришу Себова и сказал ему, куда меня везут. Перед воротами гетто толпилось много женщин. Увидев меня, они стали доказывать конвоирам, что я русский и попал сюда случайно, но румыны были неумолимы. Женщин оттеснили, а нас завезли в еврейское гетто.

Одесское гетто представляло собой своеобразный накопитель для евреев, которых фашисты вылавливали в городе. Службы оккупантов разместились в лучших строениях, остальные были отданы под жилье обслуживающего персонала, больницу, пищеблок, "жилые помещения" геттовцев. Несколько построек отвели для предэтапного размещения узников. На "постоянной" основе в гетто содержали врачей, медсестер, санитаров,

а также работников пищеблока и других вспомогательных служб. Остальных евреев периодически собирали в этапы и отправляли в Березовский район на казнь.

Питания, можно сказать, не было. Затирухи из кукурузной муки, которую готовил пищеблок, на всех не хватало. О том, как лечили в геттовской больнице, можно было только догадываться. Каждое утро с черного хода больницы вывозили по несколько подвод мертвецов. Впоследствии подсчитали, что в этом гетто от голода и болезней умерли примерно пять тысяч человек. Всего же в Одесской области фашисты истребили более 200 тысяч евреев.

Постепенно я знакомился с этим "уголком еврейской жизни Одессы". Нашел немало знакомых: тетю Розу, которая работала на "кухне", Рафика Голштейна, устроившегося истопником, Абрама Экдышмана и его жену, доктора Якова Турнера. Через некоторое время я в гетто встретил Клавдию Шкуревич, Розу Хасину, с которой до войны занимался в 71 школе, ее брата Аркадия, Володю Гольдмана и Толю Шпица. Они помогали мне, делились последним куском хлеба.

Немало одесситов приносили еду, теплые вещи и передавали их через забор. Раз в неделю ко мне приходили наши бывшие соседи: Аня Себова и ее сын Гриша. Многие геттовцы уходили в город к знакомым и там доставали еду. Я тоже периодически уходил на Хуторскую, к тете Моте. Обычно пересиживал там несколько дней, когда готовился очередной этап. Я узнавал об этом от тети Розы, поскольку пищеблок получал приказ сварить много мамалыги. Я также старался не попадаться на глаза старосте и его подручным.

В мае 1942 года я пришел к выводу, что пора покидать гетто. К тому времени в нем осталось мало людей. Я решил уйти с очередным этапом, а там убежать, используя удостоверение, которое сумел сберечь в полиции и тюрьме. Всех премудростей этапов я не знал, но помог случай. Мне показали мальчика, который ходил по двору, и рассказали, что он не раз ходил в этапы и снова возвращался в гетто. Мы познакомились. Его звали Изей Рыбаковым, и он был на год моложе меня. Изя был родом из Резины, где ходил в румынскую школу, поэтому хорошо знал румынский язык. Его родители погибли в Богдановке, а он оттуда сбежал. Возвращение в гетто Изя объяснял тем, что таким образом он на некоторое время продлевал себе жизнь. Он знал, когда можно убежать с этапа. Я предложил отправиться в этап вместе, а оттуда сбежать. О своем удостоверении я не рассказал, а вот о том, что не обрезан, сообщил. Мы наметили, что убежим в Березовке и будем держать курс на Балту, где, по слухам, евреев не убивали.

В тот же день нас усадили на подводы и отправили на станцию Сортировочную. Изя знал конвоиров и попросил, чтобы нас оставили на перроне. Всех остальных закрыли в теплушке, а мы с румынами отправились

к их знакомым на обед, где нас хорошо покормили. К вечеру наш состав тронулся в путь. Мы с Изей ехали на платформе с румынами. Поезд пришел в Березовку на рассвете. Конвоиры взяли нас с собой в помещение вокзала, а один из них угостил куском хлеба с салом.

Утром вагон открыли, и несчастных евреев выгрузили. В это время сменился караул. Это произошло так быстро, что мы не успели опомниться, поэтому отложили побег. Новый конвой подогнал подводы и предложил старикам, детям, больным сесть на них. Изя предупредил, что этого делать нельзя, потому что всех, кто сядет, вскоре расстреляют. После построения нашу небольшую колонну погнали в сторону Доманевки. В Березовке к нашему конвою присоединились местные полицаи. Ночевали в селе Сиротское. Вечером мы с Изей съели хлеб и сало, которые дал румын. Больше у нас не было еды. Утром колонну погнали дальше. К обеду добрались до большого села Мостового. Нас разместили на окраине села, в большом парке. Мы с Изей несколько раз ходили к колодцу, принося воду людям, дававшим нам еду.

Колодец находился в конце парка. Рядом с ним проходила дорога. Я предложил Изе бежать немедленно, поскольку охрана разошлась по домам. Но Изя возражал, считая, что днем нас быстро поймают. Сидя после очередной ходки за водой в кустах парка, мы неожиданно увидели, как румыны и полицаи считают патроны, вероятно, прикидывая, на скольких хватит. Я снова стал настаивать на побеге. Чтобы убедить Изю, показал свое удостоверение, выданное румынами. И он согласился.

Мы вышли по дороге в поле, затем зашли в ложбину, свернули вправо и стали удаляться от Мостового. По дороге придумали легенду, что мы — детдомовцы и идем в Балту к родственникам. Шли полями до вечера, пока не заметили огонь. Небольшой костер горел возле цыганского табора. Нас встретил цыган и стал расспрашивать, кто мы и куда идем. Я поведал нашу легенду и попросил хлеба. Подошли другие цыгане. Один из них стал кричать, что мы — жида, и из-за нас они сами могут пострадать. Мое уверенное объяснение умиротворило его пыл, и все начали расходиться. Цыган, у которого мы просили поесть, вынес кусок хлеба и сказал: "Уходите, ребята, подальше, потому что здесь много плохих людей".

Мы шли до тех пор, пока табор не скрылся из вида. Заночевали в стоге соломы. Утром пошли в ту сторону, откуда доносилось петушиное пение. Через некоторое время подошли к деревне. Трубы дымились всюду, мы чувствовали вкусные запахи. Зашли в крайнюю хату, поздоровались и попросили поесть. Молодая семейная пара пригласила за стол, который изобилует вкусной едой. Мы хорошо поели, рассказали свою легенду. Добрые люди дали нам продукты с собой и показали дорогу на Балту.

Ночевали мы обычно в селах. Заходили туда после захода солнца

и шли к старосте. Я показывал ему удостоверение и просился на ночлег. Староста расспрашивал, откуда идем и куда, а затем со своей запиской отправлял нас к зажиточным крестьянам. Там нас обычно кормили, укладывали спать, а утром давали хороший завтрак и еще кое-что на дорогу.

Изя убедил меня, что в села, где живут немцы-колонисты, заходить не следует. Правда, однажды мы едва не угодили в немецкую колонию, но, увидев фашистский флаг над хатой, вовремя остановились. Было тепло, и мы, наскоро перекусив, попили воды из лужи и задремали на лужайке. Разбудил нас окрик: "Кто такие? Документы!". Рядом стоял немец-колонист с фашистской повязкой на рукаве, еще несколько колонистов сидели на подводе. Удостоверение, похоже, вызвало доверие, немец только спросил, куда мы идем, и показал дорогу на Балту.

Уже перед Балтой зажиточный крестьянин предложил мне остаться у него. Я спросил, нельзя ли остаться вместе с другом.

В ответ услышал: "Так він же жид, його залишити не можу". Тогда я отказался от заманчивого предложения, и мы двинулись на Балту.

Балтское гетто занимало две улицы. Здесь было еврейское самоуправление со своим старостой. Зашли в калитку, и нас сразу остановил еврейский полицейский. Узнав, что мы из Одессы, полицейский предложил немедленно уйти, поскольку, мол, чужих здесь не принимают. И даже пригрозил в случае непослушания сдать в жандармерию. Ничего не оставалось, как покинуть "гостеприимную" Балту.

Возвращались по уже известному маршруту. Мы знали о приказе оккупантов, что бездомных детей необходимо оставлять в колхозах. В селе Селивановка мы пошли в правление колхоза и попросили, чтобы нас оставили на работы. Но получили отказ: дескать, у них все крестьяне бедные. При этом сказали, что недалеко находится богатое молдавское село Гандрабуры, и посоветовали отправиться туда.

Придя в Гандрабуры, мы обратились к старосте. Он взял мое удостоверение, расспросил нас и разрешил остаться в селе. Однако нас направили в разные колхозы: меня в "Партизан", Изю — в колхоз имени Ворошилова. Мы расстались. Что ждало нас впереди, мы не ведали, но вера в то, что все же выживем, не покидала нас никогда.

Село Гандрабуры возникло в 30-х годах XVIII столетия. В нем жили молдаване, которые убегали от своих бессарабских бояр и занимали пустующие земли. Название села произошло от имени одного из зажиточных молдаван, которого звали Говдра, затем это название видоизменилось и стало Гандра, а так как село большое, то позднее его переименовали в Гандрабуры. До Великой Отечественной войны в этом селе насчитывалось 12 колхозов. Во время войны жители Гандрабур жили неплохо, поскольку румыны предоставили молдаванам большие льготы.

Какой-то парень привел меня в колхоз "Партизан" и передал бригадир. Тот поселил меня в конторе колхоза. Я был грязным и заросшим, на мне были вещи из гетто. По колхозному телеграфу вся окрестность узнала, что в правлении живет мальчик-сирота. Многие приходили посмотреть на меня, и только. Пришел и румын, который курировал наш колхоз — Мош Тодори. Он был добрым человеком, и ему было меня жаль. Мош Тодори отвел меня к парикмахеру, а затем попросил соседей, чтобы согрели воды, и я после стрижки помылся. Он также попросил других соседей, у которых была свадьба, пригласить меня туда. И вот я сижу за большим столом на молдавской свадьбе, пью, ем незнакомые блюда. Люди обращаются ко мне, я что-то понимаю, а что-то — нет. Я был очень рад, что понравился этому румыну и попал на свадьбу.

На следующий день смотрины продолжались, и молодая бездетная пара взяла меня пасти коров. Но они были бедными, поэтому спустя 10 дней я снова оказался в правлении колхоза. Через некоторое время ко мне зашел энергичный человек и после короткого разговора предложил пойти жить в его семью. Это был Тимофей Яковлевич Унтилов. Его дом был рядом с моим "жилем", а семья в то время состояла из пяти человек: он, жена Екатерина и трое детей. Старшей дочери Нине было пять лет, другой дочери Вале — три года, а сыну Сене — полтора года. Тимофей Яковлевич был очень толковым человеком и добрым. Он не стеснялся, что в Гандрабурах был единственным, в чьем доме разговаривали по-русски. Поэтому он получил прозвище Тимофте Руссу. И вот у меня началась новая жизнь в чужой семье, с чужими правилами, к которым приходилось привыкать. Меня переодели в штаны и рубашку из негрубой мешковины. Эту одежду в Гандрабурах делали из конопли. Ходил босиком, так как обувь развалилась.

Первое крещение я получил на подворье Ивана Возиана, когда был сильно укушен собакой. Рана была глубокой, и примерно неделю пришлось лечить ногу у бабки Пелагеи. Рана, правда, быстро затянулась, и вскоре я снова был в строю. Второе крещение произошло в поле, когда я пас корову и бычка. Там я невольно сталкивался со сверстниками, которые пасли своих коров. И вот однажды ребята, а их было трое, и с ними две девочки, начали мне что-то втолковывать. Когда я понял, что они хотят, то очень рассердился. Они, вероятно, по наставлению своих родителей, хотели выяснить, обрезан ли я. Я был не из робкого десятка и поэтому дал им настоящий бой. Одного смельчака я ударил дубинкой, а второго повалил на землю с криком "Убью!". Увидев это, остальные побоялись подойти ко мне. Вечером я рассказал обо всем дома. Дядя Тимоша пожаловался Мошу Тодори, который иногда заходил и интересовался мной. Тот вызвал родителей этих детей и строго предупредил, чтобы меня не трогали. Больше никто ко мне не приставал.

С каждым днем моя нагрузка увеличивалась. Все планировалось заранее, и отдыха почти не было. Осенью я уже как заправский селянин собирал картошку, кукурузу, виноград, а также цепом молотил пшеницу. Хозяйство было большое — корова, бык, овцы, свиньи, куры и лошадь. За всей этой живностью в основном приходилось смотреть мне. Я вжил-ся в роль батрака и делал все необходимое.

В этих воспоминаниях хочется подробнее написать, как я жил в Гандрабурах, о людях, которые меня окружали. Они меня подкармливали и жалели. Несмотря на бесправное положение, меня никто не обижал, и со многими у меня сложились хорошие отношения. Хочу вспомнить добрым словом всех близких родственников дяди Тимоши — отца Якова, мачеху Гашику, сестру Маруню, брата Алексея и его жену Гратину; родственников тети Кати — ее мать Ефросинию, братьев Степана и Григория. У нас были хорошие соседи — Доброваны, Возианы и многие другие, чьи имена я уже позабыл. Прошло почти 60 лет с момента нашего знакомства, многих уже нет в живых, но память об их благородстве я всегда чту.

Когда я вспоминаю жизнь в селе Гандрабуры, то припоминаются те обязанности, которые были на меня возложены, усталость, которая к вечеру валила с ног. А ведь мне было 12,5 лет. Спал я на широкой скамейке, которая стояла у печки. Осенью 1942 г. пришлось учить ходить в упряжке бычков. Мы их запрягали при помощи ярма в подводу на железном ходу, и я учил их командам, с помощью которых управляют этими животными — "цоб-цэбэ". Однажды при очередном учении из одного двора выбежала собака и испугала бычков. Те побежали, и я не смог удержать поводья. Подвода сбила меня и проехала по ногам. К счастью, она была пустой, а на дороге было очень много пыли, которая смягчила наезд колес на ноги. Мне повезло и в том, что дядя Тимоша соорудил подводу на тракторных колесах, которые создавали небольшое удельное давление. Так что и в этом случае судьба была ко мне благосклонной: ведь можно было остаться инвалидом.

Закончилось лето 1942 г. Мы собрали урожай, заготовили корм для животных, наделали для отопления лампачи, т. е. кирпичи из коровьего навоза и соломы. Было сделано несколько бочек вина, обработана и спрятана на зиму кукуруза. Мои ноги были покрыты слоем грязи, и я не сразу заметил, что кожа на них сильно потрескалась. Баба Гашика посоветовала мазать ноги сметаной, что я и делал. Начались осенние заморозки, а у меня была только летняя одежда. Меня кое-как одели во все старое, новыми были только постолы. Постолы — обувь, которая пришла к нам из XV столетия. Они изготавливаются из свиной, коровьей, лошадиной кожи. Хорошие постолы делают из дубленой кожи, а если их делают из сырой, то при сильном морозе они сокращаются и могут сползти с ног.

Зима с 1942 на 1943 г. была для меня новым испытанием на выносливость. Работы было очень много. К примеру, до завтрака нужно было убирать навоз у животных, затем их напоить, раздать корм. Так проходил почти весь день. Вечером я занимался сортировкой табака или разбираал овечью шерсть, готовя ее для пряжи. Жизнь в Гандрабурах проходила как будто в мирное время, мы не знали, что происходит на фронте, дома об этом не говорилось. Немцы освободили всех пленных молдаван, поэтому почти в каждом доме были мужчины призывного возраста.

...Я часто думал о людях из гетто, которые были в последнем этапе с нами. Я считал, что мама должна спастись, так как была очень смекалистой. Думал также об Анне и Тасе, а Анин адрес держал в памяти много лет. Часто вспоминал одесских знакомых — Агнессу Семеновну, Дусю Андриусевич, семью Себовых, Веру Громикову и ее дочь Галу. Я часто думал об Изе. Связи с ним не было. Иногда сельские "мудрецы" интересовались моим прошлым, но легенда, которую мы придумали, срабатывала.

1943 год с точки зрения физических нагрузок был для меня самым тяжелым. Весной принимал участие в посевной: сажал картофель, лук, табак и помидоры. Пас животных, которых в нашем хозяйстве было достаточно. Позже судьба преподнесла новые испытания: пришлось участвовать в отработке программы для бывших военнопленных. Дело в том, что военнопленных, выпущенных на свободу, задействовали на различных работах. И вот я попал в наряды по отработке, где выделялся своим возрастом. Мне в то время было 13 лет, а остальным отработчикам было по 30 лет и больше. Где я только не был! Чистил конюшни в жандармерии, выполнял дорожные работы в Байталах (рыл кюветы), возил кирпичи и песок в Ананьев. Нужно отдать должное людям, с которыми пришлось работать. Они понимали, что я — сирота, и только неродные "родители" могут посылать на такую отработку. Приходилось немало хитрить и обращаться к румынам по вопросу этой отработки. Мне всегда везло. Судьба была ко мне благосклонна. Нехватку еды, которую давали с собой, мне всегда компенсировали люди, с которыми я работал. Сейчас, когда прошло почти 60 лет, почти никого из них, наверное, не осталось в живых, но я с чувством большой благодарности всегда вспоминаю этих простых людей.

Нужно отметить, что дядя Тимоша был, на мой взгляд, гениальным человеком. От своих сверстников он очень отличался сообразительностью, способностью быстро и правильно принимать решения в экстремальных ситуациях. За что он ни брался, все он умел, все у него получалось. Сделал подводу на металлическом ходу, самостоятельно изготовил ткацкий станок, один из немногих научился плести корзины. Изготовление корзин из лозы во время оккупации приносило хороший доход, так как одна корзина стоила на рынке 5 марок. По моей просьбе дядя Тимоша научил плести корзины и меня. Я быстро освоил технологию плетения кор-

зин и был ему неплохим помощником. Мое умение пригодились для того, чтобы помочь одной бедной семье. Я дружил с моим ровесником Ваней и заходил к нему домой. Его мать Анастасия умела плести корзины, но не освоила верхушку. Я начал учить женщину завершающей стадии плетения корзин. Примерно через неделю она освоила эту премудрость и стала конкурентом дяди Тимоши на базаре. Тетя Анастасия была мне очень благодарна, а вот от дяди Тимоши я получил выговор за то, что обучил конкурента. Я оправдывался тем, что она — бедная женщина, живет с тремя детьми без мужа. Ее сын Ваня рассказал, когда мы виделись с ним в 1992 году, что она часто вспоминала меня до самой смерти.

До нашего освобождения оставалось меньше года, но мы были оторваны от мира, не знали, что делается на фронте, и многие жили "нормальной" жизнью. В 1943 в Гандрабурах было множество свадеб, крестин, гуляний. Только у родственников Унтиловых состоялись две свадьбы: вышла замуж сестра дяди Тимоши Маруня, и женился брат тети Кати Степан. Я, естественно, был на этих свадьбах и на одной даже сфотографирован. Эту фотографию храню до сих пор.



Август 1943 г. Село Гандрабуры. Фима Нильва — крайний слева

В сентябре 1943 к нам в дом попросились несколько человек, сбежавших с поезда, который вез их в Германию. Они рассказали о положении на фронте, что немцы бегут, и недалек час, когда их изгонят с оккупированной территории.

Наступил 1944 год. На дорогах появились отступающие немецкие части, а также предатели на подводах, в которые были запряжены хорошие лошади. Вся эта кавалькада в основном двигалась по центральной дороге Гандрабур.

В конце февраля немцы отступали днем и ночью. Взрослые мужчины, боясь угона в Германию, прятались, кто где мог. На хозяйстве оставались женщины и дети. Немцы ходили по домам, просили еду, а порой забирали сами. К нам зашли два человека в немецкой форме и на ломаном русском языке попросили поесть. Тетя Катя им дала, а когда они уходили, я нечаянно обронил что-то в их адрес. Тогда один из них на чистом русском языке сказал, что за такие слова нужно ставить к стенке. Я опешил, хотя виду не подал...

Примерно 15 марта мы увидели наших бойцов. Они шли по направлению к Долинскому и вели арестованного начальника полиции Гандрабур Маху, а те сельчане, над кем он издевался, подходили и били его прямо на дороге. Предателя расстреляли за селом.

К концу марта всех мужчин призывного возраста из Гандрабур призвали в Красную Армию. Остались одни женщины и подростки. На полях было много немецкой техники, брошенной во время отступления. Мы, дети, сливали масло с этих машин, чтобы сдать его на мельницу и смолоть муку. Когда я пришел на мельницу, встретил там повзрослевшего Изю. Мы очень обрадовались встрече. Он намеревался остаться в Гандрабурах, так как хорошо выучил язык, а я сказал, что поеду в Одессу, когда ее освободят.

Начались весенние работы. Трудиться приходилось много, но я не унывал. 10 апреля работал в поле, и вдруг проходящие солдаты сказали, что Одессу освободили. Радости не было предела. Я написал два письма: одно — Ане, а второе — тете Вере Громиковой в Одессу. Вскоре получил ответ, из которого узнал, что мать не появилась после освобождения города. Передо мной встала дилемма: уезжать в Одессу или остаться в селе? Посоветоваться было не с кем. Нужно было решиться на отъезд, а я почему-то колебался. И все же в мае — решился! Добрался до Одессы со станции Жеребково, в товарном вагоне.

С волнением думал о предстоящих встречах с людьми, которых не видел более двух лет. Когда подъезжал к Одесскому вокзалу, сердце билось очень сильно. И вот я на Еврейской, 50, где проживали Вера Громикова и Маруся Бойченко. Описать встречу очень тяжело. Сегодня, спустя 60 лет, я помню слезы радости наших близких соседей. Мы проговорили допоздна.

Начал навещать знакомых, которые помогали нам с мамой в трудные времена оккупации. Было много трогательных встреч. Многие меня не узнавали, ибо за эти два года я подрос.

Буквально на следующий день после приезда я отправился на Троицкую, 32, в дом, где мы жили до ареста. Соседи очень обрадовались моему появлению. Я рассказал им, что случилось с мамой, и как я жил эти два го-

да. Нашу квартиру занял какой-то энкавэдешник. Я не смог ничего из нее взять, так как он все купил по бросовой цене. Дело в том, что в этой квартире жил управдом Новоковский, который нас выдал. Он думал, что ему это сойдет с рук, но не тут-то было. Уже в мае Новоковский был арестован, ибо он не только нас выдал, на его совести было много иных грехов. По настоянию Агнессы Семеновны я написал заявление в НКВД и был там на приеме. Посещение "органов" меня сильно обидело, ибо следователя больше интересовало, почему меня не убили. Новоковскому дали 25 лет, но на суде я не был.

Судьба была ко мне благосклонной. Однажды, когда я был у тети Веры, к ней пришла подруга с сыном Вовой. Мы разговорились, и он посоветовал поступить в ремесленное училище № 1 морфлота на 4-ой станции Большого Фонтана. Туда принимали без экзаменов, только по документам. Я решил туда поступать. В Гандрабурском сельсовете мне отдали спасительное удостоверение, которое было со мной все эти годы. В начале июня 1944 года я возвратился в Одессу. В 71-ой школе взял справку о том, что учился там до войны, в ЗАГСе мне дали копию метрики. Прошел медкомиссию. И вскоре был зачислен в училище. Впереди было много трудностей, впереди была целая жизнь, но это уже другой рассказ.

* * *

После окончания училища я работал слесарем на судоремонтном заводе, отслужил пять лет на Тихоокеанском флоте. После демобилизации окончил вечернюю школу, а затем — Водный институт. После его окончания работал в научно-исследовательском отделе института. В 1958 г. женился на Бэлле Каминской, замечательном человеке, с которой мы душа в душу живем до сих пор. В 1961 г. родился сын Саша, а в 1989 г. наша невестка Нина родила внука Вову.

Изя Рыбаков окончил школу в Гандрабурах, затем кишиневский педин. Работал учителем, стал кандидатом педагогических наук. У него два сына и два внука. Наша дружба, которая родилась в стенах одесского гетто, продолжается до сих пор. Все эти годы я также поддерживаю связь с селом Гандрабуры и с семьей Унтиловых.

Со времени описываемых мной событий прошло 60 лет. Но я всегда с чувством глубокой душевной благодарности вспоминаю людей, которые, рискуя жизнью, помогали нам с мамой, другим евреям, делились последним куском хлеба. Всегда буду помнить и крестьян из Гандрабур и других сел, которые жалели и подкармливали меня в тяжелые дни оккупации.

Качество жизни и качество грязи

- Она поехала лечиться от бесплодия на Куяльник и сразу забеременела.
 - Как будто нельзя забеременеть в любом другом санатории!
- Анекдот

Одесские пляжи ушедшего века трудно представить без криков: "Грязь лиманская!". Пляжи в сезон были переполнены, бродячие торговцы с тяжелыми ведрами уверенно перешагивали через гиппопотамно распластанные тела в грязевой корке, донный продукт пользовался спросом.

Грязь доставлялась к пляжам в ведрах или бочках на конной тяге, грязевой клондайк Куяльник находился в удалении от города.

До революции к курорту пробирался потешный поезд с двумя летними вагончиками, прозванный прибрежным населением "Ванькой Головатым". Хотя путешествие было мимолетным, "Ванька" успевал искрами прожечь дамам зонтики с оборками.

Когда сквозь камыши проложили однопутку электрического трамвая, пересыпские Гекльберы Финны стали возить грязь для продажи на "колбасе". Сообщение обеспечивал "вагон" в единственном экземпляре. Тоже искрясь и дребезжа внутренностями, он спотыкался и подпрыгивал на стыках до Зернового, где не было кольца. Ватман с железной клюкой переходил в противоположную кабину, а "зайчики" пересаживались на другой буфер.

Промышляли не только грязью, в лимане, где абсолютно нет рыбы, ловили мелкими сетками дафний и мотыля, используемых в качестве корма для аквариумных рыбок, и, кстати, ловят до сих пор, правда, уже не сетками, а закачивают воду в емкости переносными насосами, и, говорят, строят "на дафниях" дома.

Сиротливый куяльницкий трамвай искоренили в 50-х, и грязь сразу подорожала, ее стали продавать не на ведра, а на баночки.

Пол-литровой баночки вполне хватало бабушке обильно смазать поясницу или предплечье. Для пенсионеров пляж зачастую был всего лишь пунктом интенсивного грязелечения, а наличие моря, где можно было смыть грязевую корку, удобным приложением. Остатками грязи внук разрисовывал себе щеки на индейский манер. От малолетнего же торговца, не знакомого со словом "тампон", а оперирующим понятием "затычка" и уже посвященного в тайну деторождения, комнатный внук узнавал о конкретной пользе грязи для откровенно мужских или интимных дам-

ских недугов. При отсутствии бабушки безнадзорные Финны мазались зеленоватой глиной кил, выходы которой были хорошо заметны близ родничков на Большом Фонтане, даже озорство выглядело ритуально и традиционно.

Возможно, не имей крепость Хаджибей важного геополитического и торгового значения, или потерей его внезапно, город не развился бы как свободный порт "порто-франко", а стал бы со временем приложением к курорту, тоже свободному, скажем, как Карловы Вары, или Гетеборг. В истории же СССР его бы обозначали не городом-героем, а курортом-героем, только и всего.

Нет, пожалуй, был бы популярнее, Куяльник даст фору хваленым Карловым Варам. Ведь помимо иловых сульфидных грязей, образующихся в водоеме с аридным климатом, где воды должно испаряться больше, чем выпадает осадков, в гамме лечебных факторов еще и рапа, и щедро минерализованные источники. Рапа уникальный органический субстрат, который при купании держит вас на поверхности, как, скажем в израильском Мертвом море или в соленом озере Саки. Концентрация соли в Куяльнице высока, благодаря высокой концентрации жары и изобилию солнечных дней. О целительности рапы знали еще чумаки, добывавшие в солеварнях по берегам Куяльника поваренную соль, — а возможно, и скифы.

Культ местной минеральной воды устойчивее, чем культ грязи. Живуча патриотическая привычка коренного населения поправлять здоровье по утрам "Куяльником". Возможно, опохмелочные преимущества солоноватой воды преувеличены, но культ способствовал коммерческому успеху фирмы, наладившей выпуск "Куяльника" с фруктовыми добавками.

Курортные возможности были учтены и своевременно оценены одесскими профессорами О.О. Мочутковским и А.А. Вериго. Основоположник военно-полевой хирургии Н.И. Пирогов в Крымскую войну наезжал на Куяльник и рекомендовал "залежавшихся" раненых, страдающих нагноением, эвакуировать к лиману. Вот почему с первых десятилетий своего развития город и курорт строились одновременно, под неусыпным государственным контролем. Первое бальнеологическое учреждение появилось на топком берегу лимана уже в 1828-ом году. Бризы еще трепали ковыль на городских пустырях, а из трубы куяльницкой грязелечебницы весело валил узловатый дымок. Молодой курорт энергично опекал Эраст Степанович Андриевский, домашний доктор фельдмаршала М.С. Воронцова. Лейб-медика дальновидно наделили полномочиями, и он, пользуясь своим высоким положением, выкупил у помещика Жевахова земли на по-

бережье, выделил на льготных условиях участки для застройки, к поселку шагнула железка.

Лиманская грязька чувствительно помогла великому князю Михаилу Константиновичу, как говорится, и "князи — в грязи", и квелого цесаревича оздоравливали в прилиманы. На спартанские условия августейшие больные не жаловались.

Кому железка была не по карману, тряслись к исцелению на подводах-линейках, а то и пехом, если позволял опорно-двигательный аппарат. Так и исцелялись, кто в дачках-фавелах, а кто под блеклым небом, очерченным дрожащим от зноя горизонтом.

Только в 1890 году по проекту архитектора Н.В. Толвинского был возведен курортный комплекс в псевдомавританском стиле с галереями, нимфами и внутренним двориком. В Одессе несколько кудрявых уголков застроены дачами с зубчатыми ферзями-башенками. В бывшей шахской даче полуправительственного санатория имени Чкалова останавливался проездом Фидель Кастро, там же неоднократно отдыхали Щербицкий, капитан-директор китобойной флотилии Соляник.

"Куяльник", в силуэтах строений которого тоже угадывается восточный мотив, оказался в стороне от правительственных маршрутов, и слава Богу, а то нынче бы располовинили почем зря, как другие престижные закрытого типа.

Почему не прибрали к рукам?

Возможно, грязь доставлялась в Кремль баночками или не глянулось место, где чахнут орхидеи и олеандры. В Сухуми есть дача Сталина, еще на озере Рица домик прилепился, в Мацесте до сих пор правительственно используется, Ливадию вождь народов исторически осчастливил, а лиманы объезжал.

Или не развился бы санаторий, хоть это и парадоксально звучит. В рабоче-крестьянском назначении он был обречен на развитие. На рубеже семидесятых были ударно возведены три спальных корпуса, на 1000 коек каждый, но и они не вмещали желающих. В августе хвост частных машин по берегу лимана достигал Ильинки, исцелялись первобытным способом или по курсовкам. Чабаны по осени на местах бивуаков находили костыли.

Привередливый краевед огорчался, что, дескать, высотки нарушили патриархальную псевдомавританскую гармонию. Попробовал бы он покапризничать в глаза горняку из Воркуты, обязанному "Куяльнику" возвращением к активной и обеспеченной жизни, или застудившейся на корвнике доярке, которой "Куяльник" подарил счастье материнства.

Куяльник изначально был доступной народной здравницей, демократичной в своей гуманной основе.

Помните, в запретном, пролежавшем 15 лет в запасниках, фильме "Комиссар" с Шукшиным, Мордюковой, Недашковской отец многодетного семейства, сельский сапожник, его блестяще сыграл Ролан Быков, обещал красавице-жене: "Поедем весной на лиманы!". И это в гражданскую, когда местечко переходило из рук в руки. Значит, мог себе позволить вылазку на лиман труженик-надомник, неутомимо наживший от сидячей работы радикулит или люмбаго.

О курорте узнавали, стремились из последних силенок на его мутные цвета навоза воды, к голым берегам в глинистых складках, осыпях. На сползших ломтями оползневых террасах никогда не водилось кипарисов, часовых престижных курортов, да и акация не выживала, только выродившийся до мелкоты шиповник боролся за жизнь, и борется до сих пор, опутанный паутиной, его истребляют на пикниках, а он упрямо кустится, лох кое-где серебрится, как неживой, дикая маслина.

"Куяльник", тяжело переживая лихолетья, несколько раз умирал и возрождался на том же благословенном в козых тропках бережку лимана, на безрыбьи. Пробовали заселять ихтиофауну, но мальки камбал-гlossы пропали. Тем не менее, на плесы прилетают невесты зачем мечтательные чайки, которых местные жители обозначают качками.

В последнюю войну взорвали дамбу, и более пресная вода из соседнего Хаджибейского лимана перелилась в Куяльник, в корпусах плавала мебель, соленость упала до 21,9%. Казалось, уникальное творение природы потеряно навсегда. Но чудо-лиман самостоятельно справился с последствиями экологической катастрофы, оказался живучим, диапазон изменчивости солёности в нем не имеет себе равных и колеблется от 29 г/л (1945) до 285 г/л (1962). Уровень воды тоже чувствительно колеблется, в прошлом году он поднялся на метр, лиман "дышит" как живое реликтовое существо.

Последнее клиническое предсмертье патриарха одесских курортов, снабжающего до сих пор грязью до десяти здравниц города, в том числе престижные санатории имени Горького, Чкалова, "Лермонтовский" и другие, протекало для общественности вяло, без паники, в обозримом 2001. В тот обвальнй год санаторий работал 5 месяцев — с мая по 3 октября, и принес системе "Укрпрофздравница" 1,7 миллионов гривень убытка. Обслужили всего 4550 больных, включая черныбыльских детей. Для сравнения, в предыдущем, 2000 году, на "Куяльнике" лечилось 13195 человек. Вроде уже и в экономике наметился незначительный, но устой-

чивый рост, и вдруг такая апатия. Видимо, симптомы депрессии — не только пустые анкера сорванных с фундаментов станков, но и повальная потеря интереса к собственному организму. Население не стало здоровее, а скорее наоборот, так что зря игнорируют своевременное лечение, тем более что стоимость процедур, оправданная энергозатратами, вполне щадящая, рапная ванна стоит 6,29 грн, грязевые компрессы на том же приемлемом уровне, прейскурант не сравнить со стоимостью, скажем, рыночно отпущенных стоматологических услуг, качество которых так и не дотягивает до западных стандартов.

Санаторий, функционировавший в обозримое советское время круглогодично, с 98-го года переведен на сезонный режим. Зданиям не пошли на пользу холодные зимовки при повышенной влажности и студеной норд-остах с лимана. Потекли крыши, сгнил настил причала, разрушилась грязелечебница, возведенная из крохкого, осыпавшегося ракушечника; южные города стареют рано, как и южные красавицы.

В смутный период отчаяния и растерянности предприятие "ДП Клинический санаторий имени Н.Н. Пирогова "Куяльник" возглавил, нарушив традиционную медицинскую преемственность, Вячеслав Владимирович Тисовский, энергетик, а не врач.

Хозяйство бывшему директору "Курорттеплоэнерго" Тисовскому досталось обширное и изношенное.

— Санаторий — ведь это солидный производственный комплекс, — делится Тисовский. — Одна котельная производит 60 тонн пара в час, на территории 6 тепловых пунктов, шутка ли. Это — потенциал жилмассива Котовского! У нас одних силовых подстанций 10 штук, 26 лифтов, 200 вентустановок, свое автотранспортное предприятие...

Курортный размах советской эпохи справедливо впечатляет. На территории три 16-этажных спальных корпуса по 1000 коек каждый, дворец культуры с танцевальным, киноконцертным и лекционным залами, поликлиника, бассейн с пирамидальной крышей, насосные для перекачки грязи и рапы, бюветы, артскважины, бойлерные.

Новый руководитель к проблеме реанимации комплекса подошел кардинально, оседлал тупиловую ситуацию, используя опыт энергетика, собственный авторитет, деловые связи, доверие знакомых директоров, и в первую очередь директора "Одескоммунпроекта" В.Ф. Тюрева, пошел по пути снижения энергозатрат, — копившиеся из года в год долги стали удавкой для курорта.

— Исходя из экономических прогнозов, — говорит В.В. Тисовский, —

составили план перспективного развития. "Одескоммунпроект" разработал проект реконструкции теплового хозяйства. Потеплеет, займемся реконструкцией локальной котельной, которая когда-то располагалась на территории водогрязелечебницы, переведем ее на газ. В летний период, пока оборудование базовой котельной планово ремонтируется, локальная будет давать тепло для процедур.

В 2001-ом на территории трудилось семь организаций, курировало восстановительные и ремонтные мероприятия Одесское управление "Госохранытруда". Знакомые Черняевскому директоры отпускали с отсрочкой платежа обои, отделочные материалы, кабели, электропроводку. Рассчитались с подрядчиками в высокий сезон, июле и августе, когда работали на лечении.

Дело вроде бы стронулось с мертвой точки. Уже восстановлен котел № 2 производительностью 20 тонн пара в час. Ведется реконструкция северного флигеля водогрязелечебницы, восстановлено грязевое отделение на 16 кушеток. После ремонта кровли 1-го спального корпуса снова примут больных 80 палат 14-го и 15-го этажей.

В 2002-ом санаторий работал с 15 мая по 25 декабря, оздоровили 5222 человека, погасив долги прошлых лет. За 11 месяцев недавно ушедшего года впервые получили 11,9 тысяч прибыли, "Куяльник" принял 6319 больных. Подспорьем стало участие Фонда социального страхования, который приобрел 180 путевок для ветеранов войны и труда.

Однако умеренно положительная динамика обнадеживает, но не окрыляет. И вот почему.

У "Куяльника" есть козыри, которые негоже прятать за пазухой, а нужно предъявлять с выгодой, наверняка. Так, с 1997 года открыто единственное на Украине и в странах СНГ отделение ранней реабилитации больных, перенесших травмы опорно-двигательного аппарата. В этом году отделение приняло семерых граждан Кувейта.

Грязевые процедуры широко применяются в мире, но зачастую небольшие грязелечебницы кустарны по своей сути. Далеко не каждый курорт может похвастаться такими сложнейшими методиками, какие применяют на Куяльнике. Добыча грязи, ее подогрев и регенерация сопряжены с огромными энергетическими затратами. Лишь курорт, обладающий достаточными запасами грязи, оснащенный и механизированный, может обеспечить процедуры в таких впечатляющих объемах.

Доброй славой пользуются ведущие врачи санатория гинеколог М.В. Матузенко, курортолог В.Н. Никитишина, индийский доктор Шар-

ма, заслуженный врач Украины И.Г. Дворяк. Консультативную помощь регулярно оказывают именитые специалисты Одесского медуниверситета академик В.Н. Запорожан, профессора травматологии А.Н. Поливода и А.А. Лобенко, профессор артрологии И.Л. Пшетаковский.

Серьезным козырем в активе препарат пелодэкс — экстракт лечебных грязей (от греческого *pelos* — ил, грязь), запатентованный компанией "ДАЛК". Иногородные больные, покидающие санаторий, могут продлить лечение пелодэксотерапией по месту жительства, потраченные деньги не будут выброшены на ветер. Это особенно важно, потому что люди начинают понимать: здоровье — это капитал, а для сбережения капитала лучше побеспокоиться заранее; так же, как понимают, что протянуть на обычную, не госслужащего, пенсию невозможно, беспощадная жизнь все равно заставляет, в чем-то отказывая себе, производить отчисления в накопительные пенсионные фонды.

"Здоровье стоит больших денег, — пишут в сопроводительной статье создатели препарата, технический директор фирмы "ДАЛК" Людмила Данилюк и исполнительный директор Александра Кулик, — так почему же мы не задумываемся, на что они расходуются?"

Государство бюджетно тратится на обучение будущих медиков, едва не в каждом областном центре есть если не медуниверситет, так медучилище, но далеко не все выпускники, значительная часть которых сдает экзамены за взятки, чего греха таить, становятся настоящими врачами. От этих издержек налогоплательщики в явном проигрыше.

Если тратиться на препараты, которые предлагают плодящиеся, как грибы, фармацевтические фирмы, то это и опасно для здоровья, и накладно. "Государство к тому же облагает налогами многие виды оздоровительной и лечебной практики, — пишут авторы-фармацевты, — поэтому от средств, отпущенных государством на оздоровительные нужды, "к телу" доходят лишь крохи".

Что же делать? Выбросить просроченные таблетки, шугануть дремучих ведунов, мы все-таки не Занзибар, и обратиться к истокам, к щедрой и мудрой природе. Ведь не зазорно было великому князю Михаилу Константиновичу трястись на тарантасе по пыльной дороге, потом в прохладной ракушечной мазанке под камышом стягивать сапоги, закатывать шелковые кальсоны и погружать августейшие порченые подагрой ножки в целительную рапу.

Если мы достигнем в 21-м веке августейшего качества жизни века 19-го, то докторам на призывных комиссиях не придется браковать новобранцев.

Разумеется, новое качество жизни должно быть представлено в современном антураже так называемого SPA, к которому уже пристрастились состоятельные земляки в Ницце или на Родосе. Сеть SPA включает отели, клиники, салоны с экзотическими оздоровительными процедурами, фитотерапией, ароматерапией, лечением медом и винами, индустрию развлечений, казино и косметические салоны. Экзотические омолаживающие грязевые маски "Черная жемчужина" и "Черная орхидея" куяльницкие специалисты могут предложить уже сейчас по скромным расценкам Куяльника, а не Ниццы, но остальную инфраструктуру необходимо инвестиционно развивать.

— Но ведь кувейтцы приехали на Куяльник уже в этом году, — могут предметно возразить.

Они приехали не шиковать, а после сложнейших операций на позвоночнике припекло, видимо, всерьез. Посетили курорт 36 немцев и 3 француза. Навестила одна землячка, не ностальгия привела, с ностальгией она давно справилась, просто грязь Мертвого моря на исторической родине не облегчила страдания, у тамошнего ила более высокая плотность, и бывшей одесситке назначили грязь куяльницкую.

Наивно рассчитывать, что Запад обеспечит нам курортную круглогодичную загрузку в 4 тысячи человек, как было при прежней власти, при профсоюзах, которые чуть ли не силком вытуривали в санаторий. Остается уповать исключительно на переверот в сознании, что он неминуемо произойдет в обозримое время, а не позже, пока директор Тисовский ремонтирует, сохраняет издававшее виды оборудование, имущество народного санатория, подновляет красивую лестницу, идущую на плато. Лестница, придуманная для разработки двигательного аппарата, триумфально завершается на плато остроконечной башенкой, шпиль — апофеозом успешного лечения.

В прошлом году санаторий погрузился в зимнюю спячку позже обычного, 27 декабря. Последние больные прилежно млели под грузами в бассейне для подводного растяжения. Больные разошлись, и забредший в безлюдную поликлинику подросток ударил санитарку по лицу, пытался ограбить. Санитарка мелочь не отдала, зарплата у нее неважная.

Подросток спустился по той самой лестнице-терренкуру из депрессивной деревни Котовка.

Если на лестнице будет людно от сознательных больных, то можно утверждать, что революция, которую прогнозировали, в сознании свершилась, санаторий выстоял, не разрушился, в высотки не залетят вороны, а у парня появится работа.

Улица Жуковского (Почтовая)

Серия публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлтерства Одессы и связанным с ними ретроспективным общественным бытом, продолжается. Неизменный спонсор рубрики — агентство недвижимости "Капитал", давно и плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости. Речь пойдет об исторической застройке улицы Жуковского.



Переименование улицы, долгие годы носившей название Почтовой, было осуществлено по специальному постановлению Городской Думы от 29 января 1902 года и приурочено к 50-летию со дня кончины выдающегося русского поэта Василия Андреевича Жуковского (1783-1852). Что до первоначального названия, то оно связано с открытой в 1816 году Одесской Почтовой Конторой, которая располагалась на углу нынешних улиц Екатерининской и Жуковского, где теперь — здание городской телефонной сети. Этому имени улице никто официально не назначал: оно прижилось само собой — как народное, а узаконено лишь постфактум. Впрочем, так было и с абсолютным большинством других одесских улиц, переулков, площадей.

В "Списке домам и прочим строениям, состоящим в 1-й части Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке" по улице Екатерининской значится "Дом, принадлежащий Одесской Почтовой Конторе, занимаемый Почтовой Конторою и чиновниками оной". В издании "Одесская старина" (1869) читаем: "Почтовая улица, в 5-м квартале вмещает дом Почтовой Конторы, отличающейся тем, что круг ее деятельности превышает все губернские в России почтовые конторы и уступает лишь столичным...". Особые полномочия означенного учреждения объясняются тем, что оно функционировало в пределах огромного южного региона, включающего значительную часть современной Украины и Молдовы.

Во второй четверти XIX столетия, помимо Почтовой Конторы, на углу с Польской находился дом Конторы Государственного Коммерческого Банка, а также здание Херсонской духовной семинарии (открыта в 1838-м) с садом — на пересечении с Александровским проспектом, в свое время принадлежавшее видному одесскому гражданскому деятелю, городскому голове, пушкинскому знакомцу Ф.Л. Лучичу. В начале Почтовой, со стороны Канатной, находились дома графини Сабанской, титулярной

советницы Ковалевской, шесть магазинов знаменитого "канатчика" Якова Новикова (оцененных, между прочим, в огромную по тем временам сумму — 51.200 рублей серебром). Выше Польской улицы располагалось четыре магазина одного из одесских первопоселенцев — греческого купца Георгия Метелино (13.890 руб.), дом и магазин почетного гражданина Александра Кумбари (14.460 руб.) и др., а на углу Александровского проспекта — огромный дом коммерции советника Василия Авчинникова, также выдающегося деятеля городского гражданства, видного предпринимателя.

Справедливости ради следует заметить, что довольно значительное число домов, примыкавших в эти годы к Почтовой улице, ничем особым не выделялось и оценивалось первыми тысячами рублей: полковника Шумахерова (1.400 руб.), "английско-подданного грека Кицали" (2.000 руб.), наследников Фан-дер-Флис (3.500 руб.), одесского мещанина Иоганна Гагельберга (5.000 руб.), статского советника Лефертопуло (5.770 руб.), чиновника Зубковского (8.070 руб.) и проч.

Особая роль Почтовой, как и ряда параллельных ей улиц, в первой половине позапрошлого столетия заключалась в следующем. Они играли роль основных транспортных артерий для обозов с сельскохозяйственной продукцией, следовавших из западных областей России по Тираспольскому тракту. Таким образом, они должны были поворачивать с нынешней Тираспольской площади как раз на Почтовую улицу, по которой продвигались в сторону Канатной, а оттуда либо следовали напрямик в Крепость, либо сворачивали налево в Карантинную балку и — к гавани. Пото-му-то первый в Одессе каменный мост через Карантинный овраг, сооруженный в самом начале 1820-х, и был проложен по Почтовой улице. Мост этот получил имя уже упоминавшегося Якова Новикова (мост Новикова), поскольку примыкал к шести принадлежавшим ему магазинам. Теперь на их месте — массивный четырехэтажный "сталинский" дом.

Кстати, о термине "магазин". Разумеется, он не имеет ничего общего с нынешним. Магазины тогда назывались колоссальные хлебные амбары, в которых зерно не только хранилось, но "лопатилось", то есть просушивалось, сортировалось и т. д. Как свидетельствуют современники, Польская улица получила свое имя "по хлебным магазинам, выстроенным некогда поляками", то есть польскими шляхтичами, крупными землевладельцами из Подольской губернии, экспортировавшими хлеб и другие сельскохозяйственные продукты через одесский порт. На углу Польской и Полицейской находился, между прочим, огромный хлебный магазин солидного коммерсанта Ивана Вучины, построенный на месте дома основа-

теля города адмирала Иосифа Дерибаса. Здесь же, на пересечении Польской и Почтовой, располагался в середине XIX века и "магазин купца Кушнирева", оцененный в 9.540 полновесных российских серебряных рублей (Почтовая, № 10). Лишь магазин графа Шувалова из всех на этой улице стоил дороже. Целый ряд домов по Почтовой также представлял собой хлебные магазины, скажем, в № 33, но этот был куда скромнее, нежели у купца Кушнирева. Здесь, на углу Почтовой улицы и Покровского переулка, против дома негоцианта Прокофия Тербенникова (оценен в 5.000 руб.) числится "три магазина еврея Берга" с оценкой в 6.120 рублей.

Какие изменения произошли в назначении и функционировании Почтовой в третьей четверти позапрошлого столетия и несколько позднее? Как известно, в результате Крымской кампании произошел заметный спад во внешней торговле. В это время большинство хлебных магазинов переместилось из центральной части города на периферию. Лучшая часть этих амбаров (например, Сабанских, Папудовых, того же Новикова и др.) была успешно перестроена в просторные доходные дома. Что касается незначительных, то на их месте появились новые жилые здания. То же наблюдается и непосредственно на Почтовой и прилегающих к ней улицах (отчасти — на той же Польской). Естественным образом меняется и состав домовладельцев — здесь все чаще являются представители одесской элиты (не только коммерческой): Анатра (в доме Анатра находилось местное агентство московского страхового общества "Якорь"), Бабаджан, Диалегмено, Дунин, Карузо, Кроне, Лемме, Параскева, Прокудин, фон Круг. Описанный выше дом № 10 переходит к семейству Прекул, а № 33 — к Вургафتمانам.

На рубеже XIX-XX веков на улице появилось немало зданий в стиле модерн, по ней проложили линию конно-железной дороги, так называемой "конки", которую впоследствии сменил электрический трамвай. На углу четной стороны Почтовой и Пушкинской находилась и Новая (так называемая Бродская, поименованная так по той причине, что отстроена выходцами из города Броды в Галиции) еврейская синагога, одна из самых значительных в городе — ныне здесь размещается Государственный архив Одесской области.

Соответственно меняется и функциональное назначение улицы. Вслед за Херсонской духовной семинарией и частной женской гимназией К.М. Гауэншильд (1864), располагавшейся в доме Авчинникова, здесь поэтапно открывают свои действия: женские гимназии О.Г. Шольц (Жуковского, № 39), В.И. Гольдин-Абезгуз (Жуковского, № 22), А.И. Малиновской (Жуковского, № 34), женское коммерческое училище Е.А. Бухте-

вой (Жуковского, № 15), женское профессиональное училище второго разряда М.И. Глазер-Дзюбин (Жуковского, № 13), городское начальное училище № 26 (Жуковского, № 40), зубо врачебная школа доктора И.И. Марголина (Жуковского, № 30) и т. д. Почтовая улица становится прямо-таки компактным учебным городком.

Что же из этого следует? Верно, "следует шить сарафаны и легкие платья из ситца"! Обилие гимназисток обусловило открытие поблизости большей части торговых заведений, занимающихся реализацией детского готового платья, в том числе — форменного. Лучшие в городе девичьи наряды можно было приобрести или заказать в салонах: Ш. Бирфирер (Жуковского, № 40), М. Вайсбанд (Жуковского, № 3), И. Найер (Жуковского, № 36).

Крупная торговля на Александровском проспекте была сосредоточена в близлежащих строениях, но не в Покровском и Авчинниковском переулках. "Перейдя Почтовую улицу на Александровский бульвар, — пишет современник, — мы не обращаем внимания на первый квартал, потому что в нем нет порядочных магазинов. Но, пройдя Почтовую улицу, видим налево Покровскую церковь. По левую сторону стоит громадное здание,

46 Вся Одесса.

Первый на Югъ-Россіи
МАГАЗИНЪ ДѢТСКИХЪ НАРЯДОВЪ
И. НАЙЕРЪ, ОДЕССА,
ул. Жуковского быв. Почтовая, 36.

Изящные наряды для мальчиковъ и дѣвочекъ до 15 лѣтняго возраста
по новѣйшимъ парижскимъ и берлинскимъ моделямъ.
 Продажа производится оптомъ и въ розницу.

1-е Квартирное Бюро Эморовича
 Коблевская, 40. Телефонъ 22 64.

1. Указанія о всѣхъ рѣшительно свободныхъ помѣщеніяхъ въ городѣ и дачныхъ мѣстахъ и справки объ арендѣ.
2. Указаніе передающихся торгово-промышл. заведеній.
3. Доставка и перевозка собственными пе-

Т. И. Барскій
 Одесса,
 Базарная № 102.

Довѣрительный:
 Одесская Типографія

принадлежащее братьям Авчинниковым; в нижней части его расположено много магазинов..."

Исторически сложилось так, что близ старой Покровской церкви сконцентрировался элитарный торговый центр, состоящий из так называемых Авчинниковских и караимских рядов. Здесь были суконные, одежные, полотняные, кожевенные магазины, табачная торговля Крiona, "универсамы" Цорна, Ичаджика и Бродского, Эгиза, Бармаса, Мангуби, Гальперина и Балтера, склад парчовых изделий и церковных облачений Токарвева и др. Так, у Цорна появились первые швейные машинки, велосипеды, все новинки по части освещения и огнетушения, репродукции шедевров живописи, уникальный фарфор, хрусталь и проч. На фоне торговли предметами роскоши блекли и меркли мелочные лавчонки и забегаловки соседних переулков и примыкающих домостроений.

Трехэтажный дом по Жуковского, № 33 принадлежал семейству Вургафт (Вургафتمان). По этому поводу "двойной фамилии" наблюдается некоторая путаница. Дело в том, что в числе домовладельцев Почтовой был и другой Вургафт, Борис Маркович, владевший тоже трехэтажным зданием, под № 34, расположенным почти напротив. В первой половине 1910-х годов число совладельцев 33-го номера точному учету не поддается. Во-первых, среди них — сами Вургафты: Давид, Яков и Абрам, а, кроме того, еще и семья Липец, состоявшая, как минимум, из четырех человек.



При подобном коллективном владении, извините за выражение, коммунальный бардак неизбежен. Впрочем, есть в истории этого дома и светлые пятна — скажем, то время, когда он приютил одесский шахматно-шашечный клуб, знавший Анатолия Карпова, Ефима Геллера и других выдающихся гроссмейстеров. Но речь пойдет о другом позитивном эпизоде.

Первобытная, "хлебная история" Почтовой улицы оказала характерное воздействие на формирование ее последующей физиономии. Да, ее хлебные магазины приказали долго жить. Однако сохранилась издавна процветавшая здесь торговля сельскохозяйственным оборудованием, продукцией машиностроительных, механических, литейных и прочих "железных предприятий". Ни на одной из одесских улиц не было столь мощного скопления торговых предприятий с инновационным механическим оборудованием.

Возьмем, к примеру, двигатели и моторы. Перечислим базировавшиеся на улице Жуковского представительства и отделения. "Аванс", Америка — дом № 15, "Альфа Нобель" — дом № 9, "Бадения", Вейнгейм — в № 16, "Юолиндер", Швеция — № 15, "Бриглеб", Гота — № 15, "Вольф", Магдебург — № 28, "Герлацкого завода" — № 15, "Кеймо и Компания", Лилитт — № 12, "Коломенских машиностроительных заводов" — № 15, "Отто-Дейтц" — № 33, "Саксенверк", Нидерселиц — № 12. Торговля той же продукцией осуществлялась по той же улице, в домах №№ 9, 14, 15, 29, 33 и 36.

В № 33 находилось представительство всемирно известной фирмы — Акционерного общества завода двигателей "Отто-Дейтц", выпускавшее "нефтяные двигатели по принципу Дизеля, газогенераторные, керосиновые и другие". Двигатели от "Отто-Дейтц" правомерно было назвать универсальными, ибо они использовались на фабриках, заводах, в мастерских, на мельницах, электростанциях и проч. К 1914-му году АО поставило на рынок порядка 120 тысяч двигателей мощностью от 0,5 до 2.000 лошадиных сил. На Первой всероссийской мукомольной выставке 1909 года в Санкт-Петербурге фирме была присуждена высшая награда — большая золотая медаль. После чего "Отто-Дейтц" поставил в Россию около 7.000 двигателей. Представителем фирмы в Одессе, обретавшимся здесь же, на Жуковского, 33, был предприниматель К. Винанд.

Столь же славен в данной отрасли промышленности и дом по Жуковского, № 10. Здесь помещалось Фабричное отделение авторитетной фирмы Ж.И. Кейс. В ассортименте предлагались: "нефтяные тракторы, паровые самоходы, локомобили, молотилки, паровые катки, кукурузные молотилки, паровые плуги, прессы для сена и соломы, воздушные элеваторы"

и прочее. Но что пользовалось наибольшим спросом, так это автомобили. Товарищество Ж.И. Кейса успешно реализовывало автомобили "Мулаг" и "Кейс", здесь же находилась мастерская по их ремонту, обслуживанию, замене шин. Автомобильным бизнесом занимался одесский представитель фирмы, известный предприниматель и знаток инженерного дела Сергей Иванович Филиппов. Автомобили и автофургоны "Форд", автомобили и автобусы "Уайт" плюс грузовики "Грамм" реализовывал представитель для юга России А.И. Гомберг" через офис опять-таки по улице Жуковского, № 19.

Для полноты картины заметим, что на улице Жуковского (Почтовой) насыщенная промышленная торговля была представлена, кроме всего прочего, электротехническими товарами (магазин Н.А. Корсака в доме № 42), зеркалами (инженер И.С. Рабинович — дом № 23), сита (крупнейшая в городе торговля проволоочно-гвоздичного Киевского завода, дом № 12), лампами всех типов (И. Собоцкий, А. Пишаевский, П. Кузьминский, дом Шполянского, № 21), музыкальными инструментами (С. Эмерих, дом № 31), дезинфекционными аппаратами (магазины в домах №№ 15, 20 и 36), винами (В. Зейлингер — в доме № 37, И. Бауэр — в доме № 45), аптекарскими материалами и др.

Интересующий нас двухэтажный дом № 10 в эти годы принадлежал двум владелицам: Анне Константиновне Шапошниковой и Александре Михайловне Каретниковой. Судя по всему, первая из них — дочь известного гласного Одесской городской думы и прочая и прочая, Константина Александровича Шапошникова, а вторая — явно ее родственница. И в самом деле, обе дамы совместно владеют не только этим домом, но и другими: по Полицейской (Кондратенко), №№ 15 и 28. А.К. Шапошниковой, кроме того, принадлежат дома на Старорезничной, №№ 96 и 118, а также дом на Даче Ковалевского. Из всего этого следует, что домовладелицы сдавали свою недвижимость в аренду, в том числе — отделению фирмы Ж.И. Кейса.

Накануне революции Жуковская улица приобрела определенный лоск, выгодно отличаясь от менее престижных параллельных — Еврейской, Успенской и др. Преобладали довольно изящные трехэтажные доходные дома. Самым "высотными" были дома С.В. Шестопала, Ш.М. Чернигова и Э.Л. Паппе, № 28, на углу Екатерининской, против Почтового ведомства, С.Т. Райх, № 22, на углу Ришельевской, дом М.Г. Гринберга, № 19, где помещался принадлежавший ему же огромный мебельно-зеркальный магазин, на другом углу того же перекрестка.

До настоящего времени сохранились типологические двухэтажные до-



ма первой половины XIX столетия: № 30, в 1910-х принадлежавший Е.К. Писпас, №№ 42 и 47 — Г.Л. Овсяннико-Куликовско-го. Отметим комплекс, которым владел Дмитриевский Херсонско-Одесский Епархиальный Дом, № 38, близ Александровского проспекта, а также другой — прежнего Государственного банка, № 11. Весьма колоритен стоящий как бы в борту Левашевского спуска дом Анны Дмитриевны Дорос, № 7 — с элегантным мансардным третьим этажом. Образцом "допотопной" архитектуры остается столь же живописное, сколь и ветхое одноэтажное строение дома № 45, принадлежавшего небезызвестному в свое время семейству Халайджого.

Почти в первозданном виде дожили до нашего времени многочисленные трехэтажные доходные дома второй половины позапрошлого века. Скажем, почти целый квартал по нечетной стороне, по соседству с домом Вургафмана: это № 31, бывший М.И. Варшавского, № 29, бывший М.Г. Бодаревской, № 27, бывший А.А. Залужного, где помещались гостиницы и меблированные комнаты. Кроме того, это, скажем, дом Л.С. Карповой, № 23, три трехэтажных здания в квартале между Канатной и Левашевским спуском — Р.О. Калихман, № 2, Х.И. Мировского и М.А. Магенера, № 4, Э.А. Вассермана и М.И. Спектор-Спивак, № 6.

Из заметных, но не сохранившихся строений, отметим колоссальный дом А.М. Бродского (этой фамилии ошибочно приписывают причастность к одноименной синагоге, располагавшейся почти напротив; и, между прочим, Бродский завещал это свое домостроение "Еврейскому обществу города Одессы", но лишь по смерти супруги, Е.И. Бродской, каковая благополучно дожила до "экспроприации экспроприаторов" и, стало быть, дом национализировали вовсе не по этническому признаку), № 17, на углу Ришельевской, где ныне не менее гигантская "сталинка", построенная в 1951 году. На месте престижных домов А.Л. Вассал (№ 1) и Г.М. Левенсон (№ 3) — пятиэтажный образец "городской промышленной архитектуры" со двоянной нумерацией, №№ 1-3. Территорию домов М.С. Попандопуло (бывший Теребенникова), № 35, и Х.И. Жалковского, № 37, теперь занимает 119-я школа.

ПРОЗА

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ
"Завтра меня здесь не будет" 61

Сергей ЧЕТВЕРТКОВ
Идущий против ветра 70

Олег ГУБАРЬ
Модель беспорядка 81

Александр ГРИНБЛАТТ
Матильда 86

Наталья СИМИСИНОВА
В лодке 97

Татьяна ОРБАТОВА
Пациенты планеты Земля 102

МОСКВА—ОДЕССА
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
Шкаф Неевклида,
или Косячок для бабушки 105

Евгений НОВИЦКИЙ
Леги Нуриева 109

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

"Завтра меня здесь не будет..."

Из семейного альбома

У меня есть любимый город. Он называется Фамагуста. Я полюбил его прежде, чем в нем побывал. Впервые я услышал о Фамагусте в Лондоне. Мне рассказал о ней киприот-водопроводчик Янис, мой сосед. Фамагуста живет по законам трагедии. В начале XVI века командующий венецианской военно-морской базой на Кипре черный генерал Отелло в городской цитадели Кастелло задушил жену-генеральшу. В том же веке Фамагусту душили турки, а задушив, содрали с нее кожу. В 1974 году афинский черный полковник Попадопулос схватил за глотку весь Кипр, но удушение завершили турецкие солдаты. Около 20 000 греков бежали в греческий сектор. Все готические и реалистические истории из жизни привидений в английских замках — всего лишь детские страшилки в сравнении с нынешней Фамагустой и ее районом-призраком Варошей. Осенью 2002 года я всматривался в этот город-фантом с борта туристского кораблика, вооружившись биноклем. Там не было ни души: ни стариков в тени сикомора, ни мальчишек, гоняющих мяч, ни девочек, прыгающих на скакалке. Единственным признаком жизни были колючие ограждения на пляже и голубые каски миротворцев ООН.

Может быть, кипрская Фамагуста волнует меня, потому что в моей жизни была своя собственная Фамагуста. Она называлась "Киев". В 1978 году я покинул мой город и после годами издали всматривался, вслушивался, внюхивался в него. Когда-то по горячим следам я описал день рокового отлета в Вену. Теперь попробую по остывшим.

В таможне Борисполя нас обыскивали часа два. Искали криминал: письма из лагерей, самиздатские рукописи. Меня и жену с десятилетним сыном развели в разные помещения и раздели догола. Пленки тоже развернули. Психологи утверждают, что процедура раздевания по ходу обыска — форма изнасилования, и что впоследствии это может сказаться на сексуальных отношениях супругов. Криминала не нашли, а он был. В нашем семейном альбоме бок о бок с фотографиями родных и друзей лежали снимки украинских политзаключенных. Я собирался передать эти фотографии в "Amnesty International". Я и поныне верю, что упоминание в эфире имен заключенных и публикация их фотографий каким-то

мистическим образом помогали этим людям выжить. Их имена становились заклинанием, шаманским камланием. А то, что шаманы обитали на коротких волнах и звучали как небожители, лишь свидетельствовало об их иератической подлинности. Я до сих пор помню любительскую фотографию Ивана и Евгена. Сняли их осенью. Иван — в берете, Евгений — в плаще. Такие серые китайские плащи были в моде в середине шестидесятых. Точно такой плащ носил мой старший брат, а после донашивал я. У Николая Заболоцкого есть стихи:

В широких шляпах, длинных пиджаках,
с тетрадами своих стихотворений.

Это о друзьях-поэтах, исчезнувших в тридцатые годы. В том же семейном альбоме были фотографии вопиюще несовместимые, но досмотрщики не проявили ни социальной, ни национальной чуткости. Еврейские родичи моей жены рядом с семьей Левка казались перепуганным насмерть. Одна бабушка Циличка из Василькова держалась достойно. Она много чего повидала: погромов, переворотов, войн. В начале прошлого века ей делал предложение друг отца, писатель Шолом-Алейхем, но его руку отвергли, поскольку жених был на три десятка лет старше невесты. Во время Второй мировой войны Циличка служила поварихой в генеральской столовой в Чкалове. Там-то ее заметил маршал Жуков. Маршал почему-то очень хотел, чтобы Циличка вступила в партию, обещал дать рекомендацию, но и от этого предложения она отбоярилась. В альбоме Циличка бесстрашно взяла под свое крыло Левка со всеми его черниговскими родичами: в год нашего отъезда Левко получил очередные десять лет лагерей.

После досмотра чемоданы и узлы я перетаскивал сам: у жены на руках был сын. Я взмок. Рубаха покрылась пятнами. Мне хотелось пить. На втором этаже в зале ожидания стояли два автомата с газированной водой, но в карманах у меня не осталось ни одной советской копейки. Мы заняли места в самом хвосте самолета. Перед нами сидели два японца. Они тихо улыбались. Когда самолет взлетел, стюардессы начали развозить завтрак. С нами обращались, как с иностранцами. Даже вино подали. В эти минуты я понял, что ничего прекрасней свободы в самом прямом, поверхностном, внешнем смысле — нет, и что рассуждения римского вольноотпущенника Эпиктета о внутренней свободе — всего лишь игра ума, игра слов. Мне захотелось потрогать свободу рукой. Я вытащил из кармана на спинке кресла пакетик из шершавой серой бумаги — пакетик для рвоты, достал ручку и начал по памяти записывать стихи о друге, сочиненные незадолго до отлета.

За полночь ты выйдешь из подъезда и сразу увидишь
два сгустка ночи, в каждом из которых
в тусклых лучах зеленоватой подсветки
молчат трое мужчин, не считая водителя.
Ты оттолкнешься ногами от асфальтового дна города,
и черные сгустки, субмарины ночи, плавно поплывут за тобой,
не включая фар. Твое сердце медленно оторвется от тела
и заскользит в противоположную от него сторону,
прикидываясь морским ежом или жемчужницей.
И чем зловещей будет этот ночной заплыв,
тем прекрасней будут воспоминания, но все равно
не застегивай плаща, переночуй у нас хотя бы еще одну ночь.

Через полчаса самолет задрожал как осиновый лист: мы попали в грозу. Вода хлестала щеки. Повалил мокрый снег. Объявили по-английски: "Господа! В связи с метеоусловиями наш самолет вынужден приземлиться в минском аэропорту. Экипаж приносит вам свои извинения". Спереди загорелось FASTEN BELTS. "Пристегни ремень", — сказал я жене, чтоб не молчать. Она ответила: "Я волнуюсь". Сын спал у нее на коленях. Град сыпал со всех сторон. Одним локтем я прикрывал голову и лицо, другим — лицо сына. Колеса ударились о бетонированную полосу аэродрома, хрустнуло шасси, и самолет, тужась, прополз на пузе еще метров сто, сметая мелкие служебные строения и легкие фигурки с флажками в шахматную клетку. В здании аэропорта нам предложили пройти в "комнату матери и ребенка". Жене почему-то не хотелось. Она расплакалась. Я толкнул ее. Получилось грубо, и она заплакала в голос. Нас разлучили с другими пассажирами. Я чувствовал спиной улыбки японцев. "Главное — не нервничать, — уговаривал я себя, — все образуется. И не такое пережили. В конце концов, у меня в кармане не краснокожие паспорта, а иностранные визы. Мы — иностранцы. И баста!" В комнате, куда нас ввели, спиной к двери у окна стоял мужчина в штатском. Я почему-то брякнул: "Good day!". Он, не взглянув, сел к столу и набрал номер. Звонил долго. Говорил по-русски, так что я ничего не мог понять, кроме имен моих киевских следователей-подполковников "Вилен Павлович", "Валерий Николаевич" и слова "Бобруйск". Потом он вышел из комнаты. Мы долго ждали. В голове было пусто. За нами пришли к вечеру. Велели выйти. Мы шли — я в непросохшей рубахе, жена с зареванным лицом, со спящим сыном на руках. Я думал: хорошо хоть багаж не надо тащить. Значит, в Бобруйск. Они уже там. Вилен Павлович пока что смылся с какой-нибудь бабой, а Валерий Николаевич

решает шахматные задачи. Мат в три (четыре) хода. Черные (белые) начинают и выигрывают. Он постукивает кончиком карандаша по нижним, желтым от никотина зубам, по-доброму щурится, нашу машину трясет на ухабах, мы сбились в кузове в одно влажное солоноватое месиво. В Бобруйск мы приехали ночью. В Бобруйске нас расстреляли.

В мае 2003 года я снова собрался на Кипр. Накануне отлета позвонил Янису. В газетах писали, что турецкая администрация Кипра пошла на какие-то уступки, и я хотел узнать у Яниса подробности. Он попросил разрешения зайти. Янис принес нарисованный от руки план Вароши и виллы на улице Адриану, где он когда-то жил. Даже ключ от двери принес.

— Может, у тебя получится. В Фамагусте сними на прокат машину и попробуй заехать в Варошу. У тебя ведь британский паспорт?

— У тебя тоже.

— Ты на мою рожу посмотри. Они таких хитрожопых за километр видят (по-английски он сказал "dickhead").

— Но я не вожу машину.

— Найди какого-нибудь англичанина. Вдвоем дешевле.

— Но у тебя дома одни крысы... И замок заржавел.

— Да, крысы. В гостиной в столе, в левом ящике, лежит наш семейный альбом. Больше ничего мне не надо.

Я прорвался в Фамагусту на плечах новой либеральной политики кипро-турецкой администрации. С начала мая до города можно было добраться не только в обход через Никосию, но и напрямик через КПП неподалеку от пародийно курортной Айя-Напы. Либерализм диктовала Анкара: Турция хотела хотя бы одной ногой — кипро-турецкой ногой — вступить в Европейский Союз. Теперь не только иностранцы, но и греки-киприоты имеют право на несколько часов приехать в Фамагусту. Так что если вам попадетс в городе плачущий мужчина или женщина в возрасте, можете не сомневаться: это греки-изгнанники, приехавшие подышать воздухом родины. 20 000 турок, осевших в Фамагусте, надышали что-то вроде жизни. В тени сикомора сидят турецкие старики, по улицам бегают школьники и школьницы с белыми папками. Воздух казематов в цитадели, как и пятьсот лет назад — удушающий. Но зато с крепостной стены открывается вид на море, на полусонные пакгаузы, сухогрузы, сандалы (в переводе с турецкого — лодки). Пульс бьется, но без энтузиазма. К когда-то греческому району Вароша можно дойти через майдан Кемаля. Дойти — и упереться в бесконечную проволочную ограду. На ней висит пла-

кат, на котором изображен турецкий солдат с винтовкой, и предупреждение: NO PHOTO. За оградой начинается детский рай. Он похож на обложку книги Конан Дойла "Затерянный мир". Заживо гниющие виллы, церковка с понурыми крестами стоят по пояс в чертополохе, бурьяне, кактусам, рододендронам. Вся эта флора болеет хроническим гигантизмом в острой форме и упивается своей болезнью. В зарослях, в подвалах, на чердаках можно было бы бесконечно играть в казаки-разбойники, прятаться в шалашах от родителей, назначать первые свидания. Сквозь оконный проем запущенной виллы я увидел на стене коридора вырванный с мясом счетчик. На его глазке сохранились цифры лета 1974 года. Счет за электричество хозяева не успели оплатить: греки бежали семьями, даже не успев снять с плиты дымящуюся еду. На стене рядом со счетчиком безвестный городской сталкер начертал углем свое имя: ХАСАН. Я прошел с полкилометра вдоль ограды и оказался возле турецкой школы. Детей видно не было, но здание гудело их голосами. На солнце блестели школьные окна с видом на урок новейшей истории.

Я поймал такси и поехал в гостиницу "Palm Beach". Водителя звали Хасан. Он оказался родом из городка Ларнака. В 1974 году ему с семьей пришлось уйти в турецкий сектор.

— Вы остановились в Ларнаке? — спросил он.

— Нет, в Айя-Напе.

— А в Ларнаке будете?

— Да, проездом.

Мне показалось, что он сейчас попросит меня сделать снимки его дома. Хасан вздохнул и сказал:

— Я был недавно в Ларнаке. Зашел в свой дом. Сделал снимки. Там сейчас живут греки. Хорошая семья.

— На каком языке говорили?

— На греческом. Я немного знаю.

— Выпили?

— Да, пиво.

Мы подъехали к гостинице. Через вестибюль вышли на террасу. Внизу тянулся песчаный пляж, из тех, что называют "золотыми". Я попросил Хасана сфотографировать меня на фоне города-призрака. Он начался в метрах двухстах. Я на минуту сел в кресло. Позади простиралась четырехкилометровая прибрежная полоса, застроенная в 60-70-х годах отелями, ресторанами, банками, над- и подземными гаражами. Издали все казалось нормальным. Так мог бы выглядеть город, пораженный нейтронной

бомбой. Я спустился на пляж и дошел до упора: колючей — вроде тетради в клеточку — ограды. У меня за спиной плескались и загорали туристы. Их не смущала ни проволока, ни призраки. На самой границе, но уже по ту — мертвую — сторону, торчала проржавевшая детская горка. Рядом с ней стояли кривые качели с красно-бурым налетом.

Прости, Янис, но добраться до твоего дома на улице Адриану можно было бы только в кино. Представляю, как здорово сыграл бы эту роль Хэррисон Форд: рваная (слегка) рубашка, капли пота на лбу (в меру), ссадина на щеке (грим).

Накануне отлета в Лондон я заехал в Никосию, уютную столицу Кипра. По фешенебельной торговой улице Lidras дошел до греческой погран-заставы. За ней начинался турецкий сектор. Приграничный турецкий квартал был необитаемым: турки боятся здесь жить. Застава смахивала на сцену в кукольном театре. На деревянных подмостках стоял автоматчик. От вражеских пуль его оберегали тюфяки. Выглядело это по-домашнему мило. Над автоматчиком шелестело дерево-кентавр. Его корни и ствол были турецкой чинарой, а крона — греческим платаном. На карнизе заста-вы висел лозунг

НЕТ ПОБЕДЫ БЕЗ ЖЕРТВ ЗА СВОБОДУ ПЛАТЯТ КРОВЬЮ

— девиз кипрских патриотов-террористов середины пятидесятых. И рядом — для непонятливых: ПОСЛЕДНЯЯ РАЗДЕЛЕННАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ. Мне захотелось воды, и я зашел в ближайший бар "BERLIN". Почему-то сразу прошел в уборную. Там меня стошнило. Стало легче. После снова стошнило. Я посмотрел в унитаз. В нем не было ничего, кроме крови и свободы. Да, свободы и крови.

Не может быть

Завтра меня здесь не будет. Я съезжаю в другой отель. По соседству. Вид из окна будет тот же: Мертвое море. Здесь как нигде понимаешь разницу между живым и неживым. Живое дышит. У него вздымается грудь. Мертвое море — бездыханно. Иногда по нему пробегает рябь. Но и она как-то павильонная. Из всех мертвых морей это — самое здоровое. По крайней мере, оно лечит. В сказках мертвая вода тоже лечебная. Ею окропляют плоть и мясо, чтобы они срастались.

Из окна я вижу, как малыш, из новеньких, с разбегу бросается в воду

и разбивается вдребезги. Рев и вопли родителей до моего этажа не доносятся. Надо было маме и папе раньше думать. На берегу стоят огромные щиты с инструкциями на иврите, по-английски, по-русски, по-арабски:

ИЗБЕГАЙТЕ НЫРЯНИЯ И ПРЫЖКОВ

НЕ ОКУНАЙТЕ ГОЛОВУ В ВОДУ

НЕ ПЕЙТЕ

ЕСЛИ ПРОГЛОТИЛИ ВОДУ, БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ОБРАТИТЕСЬ
К СПАСАТЕЛЮ

В здешней воде самая высокая в мире концентрация соли, хлора, брома, сульфата, кальция и прочих минералов. Запах серы добивает даже до моего окна.

Иосиф Флавий называл Мертвое море Асфальтовым. Слово "асфальт" — греческое. Означает — горная смола. В России асфальт когда-то называли жидовской, иудейской смолой. Обижаться или радоваться не стоит: это всего лишь название. Воздух над морем тоже целительный. Лично я уверен, что только благодаря этому воздуху в развалинах Кумрана сохранились древние Свитки Мертвого моря: комментарии к Книге Аввакума, фрагменты из Третьей книги Моисеевой и пр. Должно быть, аскеты-ессы хранили их здесь нарочно, зная, что у этого моря Свиткам никакая зараза не страшна. Да и сами ессы, возможно, были не только монашеским орденом, но и колонией псориатиков. Звери тоже лнут к этому месту. В оазисе Эйн-Геди мне доводилось гладить диких козеров, газелей, леопардов. Глаже шкур нигде не сыщешь. Даже верблюды здесь гладенькие. Чтобы потрогать их, я как-то позволил местному бедуину взгромоздить меня между двумя горбами. Свою рабочую скотину бедуин называл одновременно по-русски и по-английски: веру-блюд. Сидеть на этом "блюде" было одно удовольствие: из шерсти здешних веру-блюдов делают самые мягкие одеяла.

От Содома, что находился на юге Мертвого моря, осталась лишь гостиница "Лот". Господь не пожалел на Содом ни серы, ни огня. Серы хватает и по сей день. В моей нынешней гостинице можно заказать серные ванны. Принимая их, я волей-неволей чувствую себя грешником, чуть ли не содомитом. Смущенно вспоминаю, как поглаживал газель. Но другие варятся в сере самозабвенно. "Других" здесь хоть пруд пруди. Это люди без национальности. Нет, паспорта и родины у них есть, и самые разные. Но здесь они — псориатики. Некоторые раскрашены вроде географических карт: на бедре Мадагаскар, на шее Ямайка. Дюжина постояльцев словно покрыта асбестом. Это — чешуйчатые. Новеньким — сразу вид-

но — тесно в собственной коже: они чешутся, скребутся. В результате покрываются "кровяной росой" (*rosee sanglante*). На их локти, колени, волосы лучше не глядеть. Да и ногти не краше. Но через неделю-другую иных не узнать: море, деготь, зеленое мыло, грязь, ртутная мазь, пирогалловая кислота, хризаробин творят чудеса.

Многих курортников, прямо скажу — большинство, я знаю либо лично, либо в лицо. Езжу я сюда уже лет пятнадцать, так что мир псориатиков мне хорошо знаком. Они носятся с собой как с писаными торбами. Считают себя "отмеченными", чуть ли не аристократами духа. Болезнь их и впрямь загадочна, и по части чешуек им в тонкости не откажешь. Об их мистическом мироощущении одна швейцарка даже роман написала ("Псори, мон амур").

Случаются здесь и чужаки. Однажды я обратил внимание на мужчину в бассейне. Я скользнул по нему взглядом и поскользнулся. Мужчина осторожно хлопал по воде когтеобразной рукой. Слизистая оболочка в моей носоглотке скукожилась. Слюна загустела. Даже мой голос, заговори я вслух, изменился. По коже поползли юркие мурашки. Я не мог отвести от мужчины глаз. Над его бровями и на тыльной стороне руки темнели аспидно-серые пятна. Кое-где пятна переходили в узлы с плотной эластической консистенцией, величиной с лесной орех. За ушами прятались полипообразные наросты. Лицо было одутловатым, местами бугристым.

Морщины казались преувеличенно резкими. Я нарочно громко поздоровался с ним: "Hi!". Он набрал воздуха, присвистнул и сдавленно прорычал в ответ "Hi!". При этом веки его вывернулись, рот перекосился, а нос надломился. Даже нижняя губа отвисла, обнажив десна. Честно говоря, я испугался. Мне было страшно дышать с ним одним воздухом, стоять в одной воде. Тем временем мужчина запустил свои когти в воду, выудил оттуда резиновую крысу и игриво швырнул ее мне. Расталкивая плотную воду, я бросился к сходням и с рвением юнги вскарабкался наверх. Что здесь делал этот прокаженный? Почему он залез в воду без черной с белыми знаками робы, без шляпы с широкой белой тесьмой, без трещотки Лазаря, которой прокаженный должен отпугивать здоровых? Я накинул халат и кинулся к администратору гостиницы. О том, как прокаженного вылавливали сетями, рассказывать не буду. Скажу лишь, что он проявил нечеловеческую сноровку, и это отчасти подтвердило мой диагноз (*Elephantiasis Graecorum*).

Но это мелкий эпизод. У меня здесь свои дела. Я ищу Розу. Мы познакомились с ней лет сорок назад, в Черновцах. Стоило нам чуть подрасти,

и я влюбился в нее. Но родители увезли ее в Израиль. Тогда это казалось диким. Кто мог знать, что Советский Союз сгинет, как Содом и Гоморра, а Израиль прибавит в весе? Но это все — геополитическая чушь. Дело в том, что когда я обнял Розу в первый раз, я испытал такое острое, такое пронзительное чувство, что невольно прошептал: "Не может быть!". После я так и называл Розу: "Не Может Быть". К несчастью, я оказался прав: т а к о е я больше ни с кем никогда не испытывал. К Мертвому морю я езжу вот почему. На левой розиной груди, на ее нижней границе была "кровяная роса". От Розы я впервые услышал слово "псориаз". Ничего, кроме этой "росы", у меня от Розы не осталось: ни адреса, ни общих знакомых. Я ищу ее в гостиницах Мертвого моря уже пятнадцать лет. А где еще искать? Слава Богу, псориаз неизлечим. Мучительней всего думать о том, что я уже встретил Розу, но не узнал. Я пишу об этом, потому что надежд у меня все меньше и меньше. Мне уже за пятьдесят. У меня к вам просьба. Мольба. Если вы знаете или где-нибудь встречали немолодую женщину по имени Роза с "кровяной росой" (*rosee sanglante*) на нижней границе левой груди, то напишите мне в любую гостиницу Мертвого моря. Меня здесь каждая газель знает. Запомнили? Роза, или Не Может Быть.



ИДУЩИЙ ПРОТИВ ВЕТРА

Раннее зимнее утро; городская окраина. Небольшую площадь, освещенную единственным фонарем, пересекает муштина средних лет в пальто и без шапки; фигура идущего наклонена вперед, правой рукой он прикрывает горло. Справа, по ходу идущего, в низеньком домике ярко горят три окна.

Вопрос: куда идет идущий?

Ответ: разумеется, идущий идет в домик со светящимися окнами, куда ж ему еще идти в такую рань?!

Хорошо. Вопрос: а этот домик со светящимися окнами — это дом идущего?

Ответ: ну... в некотором смысле — да; его, можно сказать, вторая родина. Домик называется "Капелька" и является не чем иным, как небольшим компактным питейным заведением, где идущий против ветра, укрывшись от враждебной свежести предрассветного ветерка, утолит, наконец, мучающую его жажду, остановит пугающие тектонические процессы у него под ногами (это недоброе шевеление почвы), пресечет неутомное шныряние неопознанных летающих существ по краям поля зрения и просветлит густую тяжелую тьму, которой до краев наполнено маленькое, трепещущее как лань, сердце идущего против ветра.

Вопрос: а...

Ответ!

Дверь на пружине; до рези в глазах яркий свет; прилавок. Заспанная Вера (она же надежда и любовь) свободно и не целясь, наливает сто пятьдесят водки и возвращается в подсобку, где продолжает греметь стаканами и кружками. На предмет закуски закуренная сигарета; не то чтобы трясущаяся с похмелья, а скорее крайне взволнованная возложенной на нее ответственностью рука; холодные грани стакана, и — не успеваешь сосчитать до десяти (если считать не торопясь), как окружающий мир, тронувшись, начинает светлеть, добреть, расширяться... Аллилуйя!

Дома я съел яичницу, закурил и повалился на кровать. Настроение было самое расчудесное; жаль было засыпать. Я включил радио. На радиостанции "Свобода", сгрудившись вокруг круглого стола, какие-то шустрые славяки оживленно обсуждали войну в Чечне. Я взял с подоконника найденную еще в декабре возле мусорного контейнера брошюру с желтыми, пересохшими, ломкими страницами — мое любимое чтение на

протяжении последних двух недель. Каталог картинной галереи императорского Эрмитажа за 1887 год. Второй том. Германская школа. Медленно поднималось февральское солнце, ярким светом заливая площадь за окнами, комнаты в доме и одну за другой возникавшие в моем гостеприимном воображении картинки, описание которых я читал в каталоге.

Привал путешественников. — Двое мужчин и дама в голубой юбке и желтой накидке на белом коне с маленькой собачкой на руках остановились перед шинком. Один из мужчин, смеясь, показывает даме свой пустой стакан; другой слез с лошади и разговаривает с шинкарем. Направо приближается бедное семейство с ослом, у которого на спине в корзине лежит ребенок. Налево старуха у входа в шинок.

Покупка винограда. — В прихожей, на стене которой висит географическая карта, девочка в красном платье покупает виноград у старой овощницы, которая взвешивает свой товар на весах. Девочка, улыбаясь, кладет кисточку винограда в рот служанки, которая на коленях держит фаянсовый поднос для укладки плодов. Позади девочки гувернантка в желтом платье с белым передником расплачивается за покупку; возле нее маленькая собачка глядит на свою госпожу. Направо стул, покрытый зеленоватой материей. В открытую дверь виден пейзаж.

Гуляка. — Старик пошлой наружности сидит у стола, держа в руке стакан пива; возле него крестьянин, также сидя, набивает трубку свою. Вдали другой крестьянин, обращенный лицом к стене. Фигуры поколенные.

Зима. — Несколько мужчин катаются на коньках и играют в мяч на замерзшем канале, на берегу которого стоит ветряная мельница. На первом плане рыбак продает двум мужчинам рыбу. Несколько дальше видна хижина; направо виселица с двумя повешенными, а на заднем плане город. Ветер слегка качает окоченевшие трупы; слышны веселые голоса, скрип коньков и удары по мячу...

Я проспал четыре часа; когда проснулся, радио все еще работало на волне "Свободы"; а может быть, волна ушла, а потом вернулась. Речь опять шла о Чечне. Из чеченского министерства информации (оказывается, там, в горах, и такое есть) шустрым славикам рассказывали жуткую историю. Прямо на трассе Ростов-Баку (прямо на трассе) русские десантники зарезали около восьмидесяти турков-месхетинцев. Прямо на трассе. И все это происходило на глазах у пассажиров проезжающих по трассе автобусов, особенно женщин и детей. Так было доложено. Вот это "особенно женщин и детей" (почему старики остались не у дел?) мне понравилось больше всего. Славяки в студии поддакивали, сдержанно, но скорбно вздыхали. Ну,

разумеется, они не верили ни на копейку во всю эту чушь, но, может быть, их попросту завораживала сама по себе предложенная им картинка, так же, как меня завораживали описания картин из моего каталога? Да я и сам живо представил себе эту сценку: перекошенные мукой лица жертв, окровавленные, дымящиеся на морозе полущубки десантников, расплюснутые о стекла автобусов лица особенно женщин и детей...

В тот день дел у меня было невпроворот. Я выпил в "Капельке" боевые сто пятьдесят грамм и отправился в город. Точнее, дел было всего одно, но для меня и этого было много. Двоюродная тетка моей покойной матушки, будучи одинокой старой девой, когда-то давным-давно переписала на меня свою однокомнатную квартирку на ул. Завокзальной (это другой конец города), которая и отошла ко мне после ее смерти. Года два назад я стал сдавать ее супружеской паре с ребенком, беженцам из Таджикистана, и теперь 15-го числа каждого месяца езжу к ним за деньгами, на которые, собственно говоря, и живу.

У квартирантов меня ждал неприятнейший сюрприз. Денег не было. Так мне было сообщено моей квартиросъемщицей Зоей. При этом, разумеется, краска смущения, заламывание рук, мольба во взгляде и проч. Деньги были, вот еще позавчера они были, но пришлось срочно отослать свекрови в Мурманск на операцию, к тому же, как назло, мужу задержали зарплату, и им, в свою очередь, тоже кое-кто должен приличную сумму и никак не отдаст, нет у людей совершенно ни стыда, ни совести, и дальше все в том же духе, с той же плачуще-просящей интонацией... Действие выпитых в "Капельке" ста пятидесяти грамм подходило к концу. В такие минуты я всегда несколько циничен. Что ж, сказал я, слезами горю не поможешь, будем выносить вещи и прощаться. Зоя метнулась на кухню, а затем, накинув пальто, выскочила за дверь. Я сейчас, сказала она, к соседке. Мы остались вдвоем: я и дочь Зои, девица лет шестнадцати, старшеклассница. Я опустил на стул и закурил. Девица сидела напротив, положив ногу на ногу, уставившись в какую-то книгу, время от времени отбрасывая со лба челку. Во всей ее позе читалось демонстративное презрение ко мне, бездушному, бессовестному, ничтожному вымогателю. Зоя вернулась довольно быстро, я не успел выкурить папиросу, и положила передо мной на стол деньги. Очевидно, они у нее были, и ни к какой соседке она не ходила, а просто постояла пару минут в подъезде. Накинуть им, что ли, десятку за такие фокусы, подумал я, взял деньги и ушел.

На улицах было все так же солнечно. Домой идти не хотелось, и я ре-

шил погулять по городу. Около получаса я бродил, потом вдруг, неожиданно для себя, добравшись до центра, решил сходить в гости. На улицах была уйма недурных девиц, многие из которых поглядывали на меня с интересом. Я уже давно заметил, что с похмелья пользуюсь успехом у встречных барышень. Вряд ли запой как-то облагораживает мою наружность, но, может быть, я — небритый, мрачноватый — кажусь им каким-то чрезвычайно романтичным и опытным?.. Поди пойми их.

Итак, я решил пойти в гости. И не к кому-нибудь, а к Савицкому. Тут необходимо небольшое пояснение.

Начнем-с с трюизма: у каждого в жизни есть нечто такое, что лежит на его совести невыводимым пятном, давит тяжким грузом и т. д. Кое-что есть и у меня. Нет, я не расстреливал несчастных по темницам, не крал последних денег у многодетных вдов и не растлевал их малолетних детей. И тем не менее. Я... одним словом, когда-то по нелепому стечению обстоятельств я оказался в числе участников так называемого правозащитного движения в нашем городке, и даже провел два года на "химии". И вот именно этот факт своей малоинтересной биографии я до сих пор не могу вспоминать без жгучего стыда, доводящего меня иногда даже до каких-то внутренних судорог, до ломоты в суставах.

Тогда, в те давние уже годы я кое-что пописывал (впрочем, мои прозаические опыты, слава Богу, были вполне безобидными) и, как большинство пишущих в нашем городе, в конце концов, попал в компанию Савицкого.

Вино, много вина, сочиняющие стихи девицы с нематыми шеями и более чем выразительными взглядами, бородатые художники, неумолкающие радиоголоса (какая радость, когда какой-нибудь попка за кордонном упомянет твое или же даже просто знакомое тебе имя!), самиздат, тамиздат и проч., проч., проч.

Скорее всего, я тогда просто угодил под горячую руку, под какое-нибудь мероприятие. Меня вместе с Савицким взяли в оборот за тунеядство. Причем, самое забавное, что Савицкому удалось отделаться проникновенными беседами в кабинетах госбезопасности, а вот мне пришлось провести два года на стройках народного хозяйства. Эти-то два года и сделали меня в глазах публики правозащитником. Смех, да и только. Впрочем, если не считать несводимого пятна и внутренних судорог по ночам.

Мое возвращение как раз совпало с входящими в силу переменами в стране. Савицкий, помнится, начал выезжать тогда за границу, читал даже там какие-то лекции (какие? кому? о чем?); я же заперся у себя на хуторе. Вначале тяжело болела моя любимая матушка (толчком для болез-

ни послужила история со мной), потом нелюбимый батюшка, потом я, похоронив обоих, пристрастился к алкоголю...

Словом, с Савицким мы не виделись несколько лет. Даже не знаю, чего это вдруг меня к нему потянуло. В общем, взял я бутылку водки и отправился по хорошо известному мне адресу.

Уже через полчаса, да какое там, — через минут пятнадцать я понял, что не следовало мне сюда соваться. Сквозь пыльные стекла ярко лупило холодное февральское солнце; мы — я, Савицкий и его юный друг Вадик (я давно знал об этой склонности Савицкого, которую он раньше тщательно скрывал) пили водку, закусывали апельсинами, и говорить нам было решительно не о чем. Из разных концов комнаты за нами наблюдали два престарелых кастрированных кота — Бобчинский и Добчинский, которых я помнил еще котятами. Меня так и подмывало встать и уйти, и удерживала только недопитая водка. Мы с Савицким перебрали общих знакомых, до которых, по всему было видно, ему не было никакого дела, а уж мне тем более. На этом наша беседа приказала долго жить. Блядь, подумал я, надо же быть таким идиотом — испортить себе такой чудесный денек!.. Что ж, теперь получай.

Встреча друзей. — В комнате, ярко освещенной солнцем, сидят за столом трое мужчин: средних лет педераст в желтой рубашке и коричневой жилетке, его молодой любовник в зеленом свитере и с серьгой в ухе, и еще один испитой, небритый, пошлой наружности мужчина в пальто, очевидно гость. На круглом столе, накрытом бархатной пурпурной скатертью, — бутылка водки, рюмки, два апельсина, один из которых разрезан на дольки. В простенке между окнами стоит кресло в стиле ампира, на котором лежит, подобрав под себя лапы, и смотрит на сидящих за столом большой пушистый дымчато-полосатый кот. Там же в простенке над стулом висит цветное изображение мандалы. Фигуры поколенные.

Я спросил у Савицкого, собирается ли он весной перебираться на дачу, что он делал каждый год. Он ответил, что не собирается, поскольку дача продана, вернее, продан был участок, поскольку домик сожгли два года назад. Я спросил, удалось ли ему узнать, кто это сделал. Савицкий как-то побаббы пожал плечами, сказал: какая разница, значит, так было нужно... какое-то хулиганье, наверное... Мы их называем "кармические санитары", добавил он. Не понял, сказал я. Я говорю: мы их называем "кармическими санитарями", повторил Савицкий. А-а-а, протянул я и подумал: это что еще за санитары такие, и кто это "мы" — Савицкий, Вадик и Бобчинский с Добчинским?.. И тут Савицкого как прорвало, и он понес, набирая обороты,

что-то про карму, про ее исправление, про какие-то энергии, тонкие миры, грязные излучения, программы зла и проч. и проч. и проч. И уже через четверть часа мне стало казаться, будто голова моя набита какой-то пыльной трухой или грязными тряпками, а хмеля в ней как не бывало, и у меня просто руки зачесались от желания схватить бутылку и дать Савицкому по голове. Нисколько не заботясь о соблюдении приличий, я, как только мог, быстренько свернул эту проповедь, распрощался и был таков.

...Злой, голодный, промерзший, я возвращался домой, к себе на хутор, и какой же радостью было для меня увидеть ярко и весело горящие окна "Капельки" и тени посетителей на занавесках!..

В этот сырой туманный вечер "Капелька" была забита до отказа. В дальнем углу сидел Иван, мой ближайший сосед (дом, в котором я живу, разделен на две половины, одна из которых принадлежит ему); рядом с ним сидел еще некто, устало опустивший голову на поставленные на стол кулаки. На радостях, не спрашивая, я взял тому и другому, как и себе, по сто водки.

— Добрый вечерок! — сказал я, ставя на стол стаканы и протягивая Ивану руку. — Как делишки?..

— Да так... Ничего хорошего. Четвертые сутки болит поясница, — отвечал Иван, отрываясь от газеты и щурясь на меня сквозь дым сигареты. — По какому случаю угощение?

Я ответил витиевато:

— По случаю утраченного было, но вновь обретенного душевного равновесия. Одним словом: за радость обретения!

— Радошчье... — глухо произнес в стол приятель Ивана.

Мы с Иваном выпили, приятель не стал.

— Бывает ли с тобой, Иван, такое, — начал я, запив водку томатным соком, чувствуя приятнейшее возбуждение и необыкновенное желание говорить, говорить... — бывает ли такое, что окружающий мир вдруг предстает какой-то скверной картинкой скверно намалеванной на похабно отсвечивающем, громыхающем на ветру листе жести?..

— Жещчи... — не поднимая головы, поправил меня приятель Ивана.

— Бывает ли с тобой такое, сосед?

— Непростой вопрос, — усмехаясь одними глазами, уклончиво отвечал Иван.

— А вот у меня бывает. И если бы ты только знал, какая это мерзость!..

— Мержошчье...

— Друг изучает польский? — спросил я.

— Вероятно. Я вообще-то вижу его первый раз, — сказал Иван.

Мы распили с Иваном сто грамм, которые я взял незнакомцу, и отправились ко мне, поскольку "Капелька" уже закрывалась, и Вера начала разгонять посетителей.

Мой сосед Иван человек таинственный. Очевидно, он оказался единственным наследником моей соседки, покойной Ирины Петровны. Поселился он у нас на хуторе около года назад. До сих пор я знаю о нем очень мало, и может быть, знал бы побольше (в чем сомневаюсь), если бы не моя никудышная, изъеденная алкоголем память.

Капитан в отставке, последнее место службы где-то в Германии. Здесь устроился на работу в какую-то строительную фирму. Любит выпить. Раз в две-три недели приводит к себе на ночь девицу; девицы, как правило, самого последнего разбора; судя по всему, подбирает он их здесь, недалеко, на трассе, на так называемой "стометровке".

Вот, собственно, и все. Думаю, что если бы не тесное наше соседство, вряд ли бы мы с ним когда-нибудь сошлись.

Спускается как-то на территорию Германии летающая тарелка с инопланетянами или, если угодно, с гуманоидами. Ну, немцы давай их встречать. Гуманоиды, которые, кстати, по внешнему виду мало отличаются от нас, ведут себя при этом крайне сдержанно, по большей части отмалчиваются, реагируют на все довольно вяло, поджав губы. Ну, решили тогда немцы показать им страну и повезли по своей Германии, по своим вылизанным, аккуратным городкам, бургам и баденам. Прокатили, показали, и тут гуманоиды спешно засобирались в обратный путь. И ни на какие уговоры еще немножко погостить не соглашаются. Ну что ж, насильно не удержишь... Устроили им хозяева пышную церемонию прощания. И в конце церемонии старший из этих братьев по разуму, поблагодарив за теплый прием, вдруг, не удержавшись, уже перед тем как спрятаться в свою хромированную тарелку, с нескрываемой брезгливостью спрашивает: "И все-таки, как же вы можете вот так, как свиньи, жить по уши в такой грязи?!". И улетел, не дождавшись ответа. Среди провожающих немая сцена.

Эту историю (или, если угодно притчу), как иллюстрацию к нехитрому тезису о том, что все в этом мире относительно, Иван рассказал мне в одно из первых наших застолий. Мне вообще очень нравится его своеобразное чувство юмора. Вот, например, замечательное сравнение, которым он определил свое отношение к бывшей, уличенной в измене жене (ага, вот ведь и про жену он что-то мне рассказывал!). "Знаешь, — сказал он тогда, — это вот как в общем вагоне поезда Саратов-Павлодар уронить

в туалете на пол паспорт: и оставлять вроде бы нельзя, и поднимать ужасно не хочется..."

...Господи, Господи, Господи... Помилуй мя, Боже, и научи оправданием Твоим, взыщи с меня, Господи, за грехи мои, но только, молю Тебя, но только дай мне возможность не видеть этой кровавой сутолоки, этого страшного трудного копошенья, этой подступающей чични, из недр которой выползает, скалясь, извиваясь, раздавая улыбочки направо и налево, эта скользкая липкая тварь, мягкая и похотливая саверахалана!..

...среди ночи я проснулся...

В гостиной горел свет, верхний свет, все четыре лампочки в люстре. Отчетливо тикали ходики. И раздавались шаги. Чьи-то мягкие тихие шаги. Как будто кто-то там прогуливался по комнате.

Надо сказать, что со мной уже однажды ночью приключилось одно странное происшествие. Вернее, было это не ночью, а перед рассветом, когда только-только начинало светать. Я, лежа на спине, проснулся и увидел перед собой странную, даже поразительную картину — завораживающе-прекрасную и отвратительную одновременно. При жиденько-сером освещении начинающегося утра я увидел, что потолок надо мной оказался метра на три, если не на все пять, выше, и весь он был изрезан затейливой, узорной, сводящей с ума своей тончайшей изощренностью резьбой, и по всем прогалинам и прорезям, не минуя и самой узкой ложбинки, по всему потолку медленно струился густой блекло-пестрый дым; по всем четырем стенам этот дым стекал вниз, но не доходил до меня, растворяясь где-то по пути. Я лежал с запрокинутой головой, глядел вверх и страшно хотел спать, и даже это необычайное зрелище не могло победить во мне этого желания. При этом я вполне отчетливо сознавал, что в эту минуту я не сплю, и еще у меня было ощущение, что в таком состоянии мой потолок пребывает все время, когда я его не вижу, что я нечаянно подглядел, увидел потолок в его настоящем виде. Я продержался несколько минут и заснул. И утром у меня даже не возникло и мысли, что все это мне пригрезилось. Вы скажете: ну, что ж, налицо результат этого дела (щелчок по горлу), приближение белочки, да я и не стану отрицать, но только, может быть, прав был все-таки господин Свидригайлов, ну там, когда говорил о соседних мирах, о близости их во время болезни и проч.?.

Итак, я проснулся среди ночи, увидел, что в гостиной горит свет, и услышал мягкие неторопливые шаги. Все мое тело, в каждом его суставе,

в каждой мышце, было расслабленно и как будто развинчено; слегка знобило и, опять же, страшно хотелось спать. Я натянул одеяло до самого подбородка, повернулся на бок, лицом к гостинной, и стал ждать, гадая, кто бы это мог быть. Ни волнения, ни страха я не ощущал, а только какое-то дремотное любопытство томило меня. Сначала я подумал, что это, должно быть, мой сосед, Иван. Может быть, ему среди ночи понадобился хлеб, например, или соль, или спички, может быть, у него закончились сигареты, — мало ли что?.. Потом я подумал, что хотя Иван и странный человек, и даже чрезвычайно странный, но все-таки не настолько же он странен, чтобы зажечь весь свет в комнате и разгуливать по дому, не разбудив прежде меня. Вряд ли бы он постеснялся меня беспокоить, просто вошел бы и растолкал, как это уже бывало. Потом я решил, что это кто-то из местных лихих ребят, может быть, какой-нибудь завсегдатай "Капельки" забрался в дом в надежде чем-то пожить. Ну, на этот счет я был абсолютно спокоен — брать у меня было решительно нечего, кроме, разве что, лампочек в люстре, а бутылка водки стояла в изголовье. Вот только, опять же, я никак не мог понять, для чего злоумышленнику понадобилось включать верхний свет. Словом, борясь со сном, я продолжал лежать и ждать, уверенный в том, что наша встреча, если она состоится, напугает больше пришельца, чем меня. Между тем мягкий топот то умолкал, то вновь возобновлялся, и, наконец, стал приближаться. Через минуту в дверном проеме появился черный силуэт, и незнакомец встал на пороге, облокотившись о дверной косяк. Роста он был небольшого и какой-то весьма странной формы — что-то у него было то ли с головой, то ли на голове. И очень он мне кого-то напоминал. Да, он напоминал мне отца, когда тот, еще будучи здоровым, выходил на порог и вот так вот становился покурить. Но кто же это мог быть?.. И тут я услышал хорошо знакомый голос:

— Не спишь?

Папаша. Он самый. Я наконец разглядел, что на голове моего родителя помещался цилиндр, да и в остальном он был одет не менее причудливо: что-то длинное было на нем, вроде фрака, полосатые брюки гармошкой ложились на тускло блестящие туфли, в правой руке была трость, да, да — трость!..

— Нет, — ответил я на его вопрос. — А ты... какими судьбами?..

— Да вот, зашел проведать...

Он стоял, чуть склонив голову набок, тихонечко постукивая концом трости по полу.

— Ну и как там у вас? — спросил я.

— Недурно. Совсем недурно. Гораздо лучше, чем я ожидал, — быстро ответил он, видно, готовый к такому вопросу.

— А ты разве ожидал? Что-то я сомневаюсь...

— А почему тебе знать, ожидал я или нет? Как мне помнится, мы с тобой на эти темы не говорили.

— Глупости, — сказал я. — Ни хрена ты не ожидал. Уж мне-то не надо рассказывать.

— А почему тебе знать, ожидал я или нет? Как мне помнится, мы с тобой на эти темы не говорили.

Помолчали.

— Ну и как там у вас? — спросил я. — Все купаются в свете и вечном блаженстве?

— Ну, бывает, что и купаемся. Но вообще-то просто спокойно. Я бы даже сказал: просто уютно.

— И каждого поступившего одевают вот в такой нарядец?

— Ну, почему же "одевают" — каждый сам себе выбирает и одежду, и обстановку. На свой вкус и в соответствии со своим представлением об изящном и прекрасном.

Я чуть не рассмеялся.

— Вот единственное, в чем тебя никогда нельзя было упрекнуть, так это во вранье. Ты здесь никогда не врал. Это тебя там научили? Славное заведение, ничего не скажешь...

— Я и не вру.

— Ну конечно! Хочешь сказать, что ты сам себе выбрал и этот дурацкий цилиндр, и эту трость? Да ты и не знал никогда, как они выглядят! Так же, как и не знал, что такое представление об изящном...

Кажется, его немного смутил мой насмешливый тон.

— Ты заблуждаешься, — возразил он. — Говоришь о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия. По-твоему я, конечно, не мог иметь никакого представления о прекрасном... Это не так. Я ведь кое-что повидал на своем веку, в этом же ты мне не можешь отказать. И среди того, что я за свою жизнь перевидал, попадалось же иногда и прекрасное, и изящное... и изысканно-утонченное... Да-да, не усмехайся. Пусть я не обращал на него никакого внимания, хотя и это не так, пусть не придавал никакого значения, но я же это видел. Хоть краем глаза, но видел же... в кино, по телевизору... какая-нибудь случайно увиденная красивая упаковка, например; посуда — помнишь те наши две старинные тарелки?..

— Которые ты разбил по пьянке. Одну из них об мою голову, — вставил я.

Модель беспорядка

Я все думаю, чем это всю дорогу занимаюсь. Да тем же, чем и все. Вглядываюсь, пытаюсь уловить упорядоченность. Неважно, в чем. Как бы выявляю некую формулу порядка. Что, в общем, вполне нормально, то есть в пределах нормативного мироощущения, я бы даже сказал, МИРОПРИЯТИЯ. Это такая наша врожденная особенность: желание комфорта, стремление придать хаосу видимость предсказуемости, а то и управляемости.

Который раз вспоминаю нашего университетского физика. В пределах банальной мудрости — фигура поистине выдающаяся. Он как-то спросил аудиторию: "Как вы думаете, а чем, собственно, занимается наука? Любая наука". Мнения разошлись. В конце концов, лектор подтащил разношерстных мыслителей к следующему выводу. Наука, по его авторитетному мнению, занимается исключительно предсказанием, прогнозированием. Грубо говоря, отвечает на вопрос, что получится, если сделать то-то и то-то. Может, это и есть полужагадочное "умение многих гитик"?

Если идти еще дальше, то на финише у нас выходит исключительно седативная сущность познания. Другими словами, главное не столько в деловом, так сказать, прагматизме всего процесса, сколько в профилактическом, укрепляющем оптимизм и, следовательно, драгоценное здоровье.

Короче говоря, если глубоко копать, выкапывается единственно тоска смертная.

Непредсказуемость симпатичнее. Я приведу несколько примеров. Откровенно говоря, тоже преимущественно из прагматических соображений. Потому что самонадеянно считаю, что всякий беспорядок не то чтобы вполне закономерен, но может быть апробирован на вкус, в удовольствие дегустирован. Как бы это вам объяснить. Примерно так, что каждый отдельно взятый хаос (тот же пейзаж обратной лунной стороны или натюрморт с дунайской селедкой) наверняка имеет собственный полезный смысл. Когда, скажем, беспорядочность твоего собственного как бы божьего существования совпадает с ясновидением. На языке законников это будет что-то вроде индивидуального, эксклюзивного, необщего седативного средства. И — более того: пугливость, суетливость, леность среднестатистического упорядоченного (организованного) познающего — серьезная помеха подбора этого самого уникального эксклюзивного седативного (три ОГО кряду!) препарата.

— Я уже не говорю о природе, — продолжал он, не обращая внимания на мою реплику, — какая это красота, какое величие!.. Деревья, цветы, животные!.. Горы! (Я в молодости ездил по Военно-Грузинской.) Тут все идет в ход... Все складывается из разных деталей, осколков, фрагментов воспоминаний — ничего же не забывается... Конечно, мне трудно сравниться с каким-нибудь художником или коллекционером, любителем прекрасного, но, скажу тебе, разница, в общем-то, и невелика. Разница в том только, что он видел прекрасное и знал, что оно прекрасно, а я видел и не знал. Так что еще неизвестно, кому тут из нас больше повезло, мне или ему — ему-то все это привычно, а вот для меня все вновь, свежо. Вот так. А ты, наверное, надеялся, что я в аду буду гореть, да?..

— Ну, а как мать? Видишь ее там? — спросил я и почувствовал, как мне перехватило горло.

— Нет, мы не видимся.

— Ну, а вот это вот — слава Богу! Значит, палачи и жертвы там все-таки врозь... И на том спасибо.

— Ерунду говоришь. Нет там ни жертв, ни палачей, а не встречаемся мы потому что не чувствуем в этом никакой необходимости. Ни я, ни она.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Горы, тарелки и упаковки у тебя сложились в прекрасное. А вот во что сложились твои пьяные дебоши, твоя матерщина, твое выбрасывание нас с матерью на улицу... осколки от тех же тарелок?..

— А никаких дебошей не было.

— Вот как! Не было?

— Не было.

— Лихо. А что же тогда было?

— А ничего не было. И ничего нет. И тебя нет. Есть только я.

— Какого же тогда хрена ты ко мне заявился?

— А я и не заявлялся. Это сон. Просто сон. И угадай чей.

— Так. Это ты мне сейчас начнешь втирать что-то вроде истории про того долбаного китайца с его долбаной бабочкой? Спасибо, не надо. Это, пожалуйста, к Савицкому.

— Да ничего я тебе не собираюсь, как ты выражаешься, втирать. Зачем? Ведь ты и есть та самая долбаная бабочка.

— Ладно. Всё. Пошел в жопу, — сказал я и перевернулся на другой бок, лицом к стене.

Модель беспорядка

Я все думаю, чем это всю дорогу занимаюсь. Да тем же, чем и все. Вглядываюсь, пытаюсь уловить упорядоченность. Неважно, в чем. Как бы выявляю некую формулу порядка. Что, в общем, вполне нормально, то есть в пределах нормативного мироощущения, я бы даже сказал, МИРОПРИЯТИЯ. Это такая наша врожденная особенность: желание комфорта, стремление придать хаосу видимость предсказуемости, а то и управляемости.

Который раз вспоминаю нашего университетского физика. В пределах банальной мудрости — фигура поистине выдающаяся. Он как-то спросил аудиторию: "Как вы думаете, а чем, собственно, занимается наука? Любая наука". Мнения разошлись. В конце концов, лектор подтащил разношерстных мыслителей к следующему выводу. Наука, по его авторитетному мнению, занимается исключительно предсказанием, прогнозированием. Грубо говоря, отвечает на вопрос, что получится, если сделать то-то и то-то. Может, это и есть полужагадочное "умение многих гитик"?

Если идти еще дальше, то на финише у нас выходит исключительно седативная сущность познания. Другими словами, главное не столько в деловом, так сказать, прагматизме всего процесса, сколько в профилактическом, укрепляющем оптимизм и, следовательно, драгоценное здоровье.

Короче говоря, если глубоко копать, выкапывается единственно тоска смертная.

Непредсказуемость симпатичнее. Я приведу несколько примеров. Откровенно говоря, тоже преимущественно из прагматических соображений. Потому что самонадеянно считаю, что всякий беспорядок не то чтобы вполне закономерен, но может быть апробирован на вкус, в удовольствие дегустирован. Как бы это вам объяснить. Примерно так, что каждый отдельно взятый хаос (тот же пейзаж обратной лунной стороны или натюрморт с дунайской селедкой) наверняка имеет собственный полезный смысл. Когда, скажем, беспорядочность твоего собственного как бы божьего существования совпадает с ясновидением. На языке законников это будет что-то вроде индивидуального, эксклюзивного, необщего седативного средства. И — более того: пугливость, суетливость, леность среднестатистического упорядоченного (организованного) познающего — серьезная помеха подбора этого самого уникального эксклюзивного седативного (три ОГО кряду!) препарата.

— Я уже не говорю о природе, — продолжал он, не обращая внимания на мою реплику, — какая это красота, какое величие!.. Деревья, цветы, животные!.. Горы! (Я в молодости ездил по Военно-Грузинской.) Тут все идет в ход... Все складывается из разных деталей, осколков, фрагментов воспоминаний — ничего же не забывается... Конечно, мне трудно сравниться с каким-нибудь художником или коллекционером, любителем прекрасного, но, скажу тебе, разница, в общем-то, и невелика. Разница в том только, что он видел прекрасное и знал, что оно прекрасно, а я видел и не знал. Так что еще неизвестно, кому тут из нас больше повезло, мне или ему — ему-то все это привычно, а вот для меня все вновь, свежо. Вот так. А ты, наверное, надеялся, что я в аду буду гореть, да?..

— Ну, а как мать? Видишь ее там? — спросил я и почувствовал, как мне перехватило горло.

— Нет, мы не видимся.

— Ну, а вот это вот — слава Богу! Значит, палачи и жертвы там все-таки врозь... И на том спасибо.

— Ерунду говоришь. Нет там ни жертв, ни палачей, а не встречаемся мы потому что не чувствуем в этом никакой необходимости. Ни я, ни она.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Горы, тарелки и упаковки у тебя сложились в прекрасное. А вот во что сложились твои пьяные дебоши, твоя матерщина, твое выбрасывание нас с матерью на улицу... осколки от тех же тарелок?..

— А никаких дебошей не было.

— Вот как! Не было?

— Не было.

— Лихо. А что же тогда было?

— А ничего не было. И ничего нет. И тебя нет. Есть только я.

— Какого же тогда хрена ты ко мне заявился?

— А я и не заявлялся. Это сон. Просто сон. И угадай чей.

— Так. Это ты мне сейчас начнешь втирать что-то вроде истории про того долбаного китайца с его долбаной бабочкой? Спасибо, не надо. Это, пожалуйста, к Савицкому.

— Да ничего я тебе не собираюсь, как ты выражаешься, втирать. Зачем? Ведь ты и есть та самая долбаная бабочка.

— Ладно. Всё. Пошел в жопу, — сказал я и перевернулся на другой бок, лицом к стене.

Да, так вот за всей вываленной мною на потребительский прилавок (в корзину) невнятицей и лепетом видится, тем не менее, что-нибудь вполне конкретно, определенно неорганизованное и расхлябанное — допустим, на манер Галки Марасановой. Которая просто-таки шарила, шныряла, шлялась блудливыми своими глазищами, бликующими оливками, вываливающимися из глазниц. Ехидно говорил ей: "Галка, придется носить за тобой блюдечко — подхватывать твои маслины, чтоб не шлепнулись и не запыхались". Она же только плотоядно скалилась в ответ.

Поражало что? Что ведь не дура же, не дура. А такое ни с того ни сего отмочит, что только держись. И я держался. Потому что. Потому что — что? А хрен его знает. Что-то этакое. Была в этой ее галиматье необъяснимость, пресловутая, может быть, загадка. Другой бы глянул со стороны, так куда проще бы диагностировал: "Б.... такая". И всё тут. А как еще? Когда, к примеру, едешь с ней в подмосковной электричке, а она какому-нибудь хмырю оголтело глазки строит, попыхивая сигареткой в тамбуре, и прямо-таки в первые придорожные кусты его на собеседование приглашает. И от меня, зараза, нимало не прячется. То есть ведет себя естественно. Стало быть, понравился ей мужик. Чего ж скрывать? А ведь и верно, чего.

Вот опять со своей упорядоченной логикой суюсь в ее категорически раскованный бардак. Я тогда молодой был совсем и вопросы ей задавал дурноватые. Мол, хорошо же тебе со мной, ублажаю, не бью тебя (а там и тогда как еще бивали!), жалею и такое прочее. Чего ж ты, такая-сякая, и т. д. А с чего бы ей равноценно или там с процентами ответить? Она что, кредитно-банковское учреждение? Я жалею, значит, надо мне. Не ей же. А ежели ее повело в кусты с хорошим (предположительно) человеком, так что тут поделаешь. Так уж она неладно скроена да крепко сшита. Нелогично то есть. И имеется во всем этом какое-нибудь специфическое очарование. Как в дичке некультивированной. Слива такая бывает. Абрикос. Виноград. Кизил. И разное другое. Нравится тебе, так жуй, а нет, так сплюнь и шагай себе мимо, в даль светлую.

У нас с этой Галкой одна такая примирительная история вышла, такая трогательная, что я вдруг даже как-то сразу повзрослел. А то и помудрел, хотя это вряд ли.

Прихожу как-то к домику — они вдвоем с матерью жили за 101-м московским километром, в окрестностях Ступино. Мамаша, между прочим, самогоном приторговывала, тем и кормились. А наша воинская часть летом поблизости базировалась. Я тогда срочную служил, искал, как обычно, где бы бухлом разжиться, да так на Марасановых и напоролся. Меня

о них еще местные предупреждали как-то по-булгаковски, что, мол, нехорошая квартира (домина). А я на то залихватски отмахнулся.

Да, так вот прихожу поздно вечером к дому — у нас в части режим был вполне беспризорный (жили в палатках, разбредались по хозработам в радиусе нескольких кмэ), — а там один Галькин хахаль, здоровенный такой мужик, сибиряк, ошивается. Как-то я смутился, а он доброжелательно так со мной заговорил о том, о сем. Вот и выяснилось, что уехали обе хозяйки на пару дней к какой-то родне в Каширу. Уехали — и ладно. А нам-то что делать? Раз уж собрались отдыхать, так и надо этим делом заниматься. Ну, я-то дом марасановский знал досконально. Вынул аккуратно одно стекло на веранде и приглашаю Сибиряка: заходи, мол. И зашли.

Брага там в молочном бидоне всегда музицировала, играла то есть. Нацедил графинчик. Сели за стол. Радио включили — телевизора там не было, не больно на залипuxe своей разжились. Закурили. За жизнь разговорились сердечно так. Какая она, зараза, селяви. Молочный бидон пустеет, а мы, братья молочные, — о насущном и вечном. А я, сопляк, еще разборки с "ненавистным соперником" прогнозировал. Вот тебе и наука. По радио "Битлз" поймали. Что-то такое пронзительное, ностальгическое, из "Эйби роуд", прямо слезы на глаза навернулись.

Так и просидели всю ночь. О Галке и слова не было. А когда светать стало, депортировались тем же путем и на дворе распрощались по-братски. Тут я не выдержал, говорю: "Как же мы теперь?". А он мне просто ответил: "Тебе поближе будет. Ты и ходи". Справедливо рассудил. И вся наука. Бабах — и хаос упорядочен.

Вот и выходит, что если тебе непредсказуемо улыбнулись, так оно и есть мгновенно преобразившийся беспорядок. А вовсе не тогда, когда благодарность запрограммирована. Младенческое агу. Красота неограниченная. Без багета. Живьем, черт возьми. (Господи, прости.)

А возьмем моего друга. Он запрограммировано несчастлив. Так несчастлив, что и мое счастье смущено, чуть не пошатывается. Он, понимаете, любит заимообразно. Вообще-то, это не плохо. Но и не хорошо. Фактически, реально — так, как оно есть. То есть он так устроен. И с этим ничего нельзя поделать. Он бы любил по-другому, как я ему советую, но это невозможно практически. Хотя любовь — вполне практическое занятие и одновременно непрактичное.

Это вовсе не означает, что заимообразная любовь — нечто негативное. Зачем? Это только означает склонность любящего означенным образом к упорядоченности и предсказуемости. Тут что-то наподобие законов ста-

тики (или стати — смотря, как вам больше понравится). Типа: действие равно противодействию. Ты мне, я тебе. Но не корысти ради! А уверенности (уравновешенности) для. Понимаете, о чем я? Да все о том же. О сeditивности любви. Вот вам и подлинные ее мотивы. Как там? Сохраняет состояние покоя или прямолинейного равномерного движения. Термин: functional love — любовь функциональная.

Мало мне было Галки Марасановой и длинной, будто очередь в Мавзолее, череды Галок для галочки. Такое самоутверждающееся молодечество — коллекционирование подруг. В очередной раз ждал и даже добивался от них предсказуемой адекватности. Как будто за стеной моей берлоги не хаос бесновался, а на цыпочках выхаживала персонально и лично Благодарь.

Покой мне только снился. Хотя на самом деле он был разлит повсюду — этот млечный путь. Надо было только зачерпнуть. Как тогда, с маминим Сибиряком.

Вот и Люська уехала к чертовой матери. Потому что со мной ей было по-хорошему предсказуемо. Ее, впечатлительную, это могло напугать до смерти. Как перспектива неизлечимого заболевания. Устрашить такую, которая умеет любить просто так. Я бы сказал, любить хаотически.

Она дарила подарки не обязательно ко дню и не обязательно в ответ, а по импульсивной потребности. Вроде такой, когда сердечный спазм принуждает немедленно подать милостыню. Извините экивок, облегчить — жалостью. Или любовью. Не вижу существенной разницы.

Поглядите, морская абразия жрет же себе сушу. Но берег невозможно зафиксировать намертво, заставить стоять навытяжку. Потому что он — как звучащая струна, колеблется. Надо обеспечивать ему люфт. Красота, наверное, бывает только мгновенной. Мгновенно облеченный, искавшийся мимолетной улыбкой хаос — и есть упорядоченность. С этим приходится смириться, когда кудахчешь о "вечной любви".

И вообще, что оно такое, любовь?

...Была у меня одна жена. Хорошая, не то, что я, порядочная, но очень беспорядочная, неорганизованная. Так вот эта жена однажды привезла мне откуда-то издалека дефицитные в то советское время сапоги. Замечательные сапоги. Единственный их недостаток заключался в том, что оба они оказались на левую ногу. Один — сорок третьего, а другой — сорок четвертого размера.

Жена эта сильно расстроилась. А я и того больше. Чуть не расплакался. Но по иной причине. Просто сообразил, как было дело. Покупательни-

ца радостно схватила сапог моего размера и побежала расплачиваться. А покуда доскакала до кассы, так подумала, что надо бы взять на размер больше, чтоб на шерстяной носочек бы надевался и чтобы, значит, потеплее. Вот оно и вышло. Я тогда и понял, что такое эта любовь. Непредсказуемо прочувствовал. И теперь, сто лет спустя, случай этот вспомню — и любовь вспомню. А если вы не поняли, так тут уж ничего не попишешь.

То вдруг неорганизованная беспорядочность оборачивается ясновидением. Вот моя любимая подруга Яна парадоксально жалуется астрологические прогнозы, что совершенно алогично ее математически стройному, прозрачному, какому-то монументальному даже сознанию. Узнаешь ее, и словно быходишь в античные портики, под сень колоннад, в Пропилеи. Которые в то же мгновение распадаются и растворяются в пустынном времени и пространстве, будто компьютерная графика. На экране монитора остается струящийся след — то ли "бегущая строка", то ли "летающий предмет". Сначала это раздражает. Но со временем привыкаешь.



Матильда

Она неслась тонконогой ланью по неведомым кочкам, взвивалась стрекочущим жаворонком, голодной пантерой гналась за ускользающей добычей, мурлычащей кошкой устало терлась о шершавую ладонь и переворачивалась на спину покорной сукой...

Он рассеянн кивал головой, не слушая ее голоса; пресно чмокал ее в лоб; в обед пропускал стаканчик-другой, а после погружался в кресло с газетой в руках. По ночам он жирным телом раскидывался на ее тонких костях, надсадно пыхтел ей в лицо, в секунды конвульсивного оргазма стискивал до удушения ее детское горло, откатывал огромный живот, со свистом выпускал газы, довольно бормотал:

— Ты была на высоте, дорогая... как всегда, впрочем... — и заходился от храпа...

Жизнь убегала неспешно, но все заметней. Он толстел, страдал от изжоги и жаловался на боли в сердце. Ее шея покрывалась чешуйками морщин, и под линиями зелеными глазами провисала набрякшая кожа. В его привычке иметь ее под рукой было ее представление о семейной жизни, хотя ни один из них не знал, бывает ли она другой.

Его нарекли невыразительным именем Семен. Ее по простоте парадно называли Матильдой. И было у них трое детей: его дочь Катя от первого брака и общих два сына. Он с запорошенных времен тоскливо служил главбухом в старой типографии на краю города и старательно брэнчал на гитаре по вечерам; она давала скучные уроки музыки и замечательно вязала на спицах. Дети их обзавелись собственными взрослыми проблемами, не оставляя мечты жить лучше... ну, не сейчас, так когда-нибудь...

Где-то далеко-далеко у нее был полубрат, с которым она из-за пустяковой обиды не поддерживала отношений со времени смерти матери. Брат отказался отдать ей мамино кольцо с зеленым аквамарином, потому что предназначил его своей жене. Кольцо не имело ценности, но Матильда считала, что должно было оно сидеть на ее руке. У Семена же из родственников осталась сестра-вдова, о которой он вспоминал в день рождения дочери, потому что обе родились в один день. Только раз была Валентина у них проездом, и Семен с Матильдой озабоченно обсуждали, положить ли ее на узком диване в гостиной или поставить раскладушку на кухне. Позже выяснилось, что поезд сестры уходил в полночь, и, слава Богу, решать ничего не надо было.

По вечерам, когда он читал газету и опускал голову под тяжестью нагрянувшего сна, Матильда тревожно смотрела на его прохудившееся темя и с грустью вспоминала, каким он был в дни давнишней любви. Они познакомились через семь месяцев после смерти его первой жены. Тогда он был выше, стройней и добрей... У него был каракулевый "пирожок" на подкладке, который он в шутку натягивал ей на голову, а она наклонялась низко-низко, пока шапка не сваливалась. Они смеялись. Он ловил "пирожок" и бегал за нею вокруг стола, чтобы повторить пустую забаву. Однажды перед Новым годом от знакомого снабженца с кондитерской фабрики ему перепал шоколад, изготовленный для спецраспределителя. Сами они шоколад не ели и не давали детям, а держали его для гостей, на которых он производил впечатление не столько вкусом, сколько несостоявшимся предназначением. На память приходили несуразные мелочи... Станным образом через толщу лет проступила их единственная совместная поездка в Крым, где она впервые увидела красный лук... И еще тот случай, когда у него в горле застряла рыбная кость, и он корчился от кашля, пока она не засунула ему в горло обратной стороной чайную ложку, а он с силой толкнул ее в грудь, протестуя против необходимого насилия...

Дни проваливались в воронку времени, измеряясь лишь промежутком от "раздобыть" до "достала". В воскресенье в их трехкомнатную "распашонку" втискивались дети со своими чадами, и она, не приседая, покрывала расстояние вокруг земного шара между кухней и раздвинутым столом. Когда же после двухчасового разорения ее кулинарных стараний они поднимались, чмокали ее в щеку и махали рукой на прощанье с улицы, она устало глядела им вслед через окно, срывалась в туалет и под вой вентилятора чадила припасенной сигареткой.

В один день их сбережения за тридцать четыре года совместной жизни канули в черную дыру, порожденную уродствами новой власти. Она бегала в какие-то очереди, записывалась в нелепые списки и подписывала немощные протесты. Вечером возмущенно отчитывалась о дневных сражениях, и они оба безнадежно вздыхали. Семен опрокидывал стаканчик, кряхтел, смотрел мимо нее куда-то за стену и проваливался в дрему. Через две недели родители ее учеников, словно по команде, известили школу о том, что более не заинтересованы в занятиях. А спустя месяц Семен непривычно рано вернулся с работы. Он рассеянн крутился по комнате, перекидывал газеты со стола на кресло, с кресла на диван, с дивана на стол... Наконец застыл посередине комнаты и сказал:

— Типографию закрыли...

Матильда не поняла и продолжала вязать свитер из сиреневой шерсти для жены райвоенкома... Он истошно заорал на нее и швырнул всю стопку газет на пол. Она с открытым ртом следила за его вздрагивающей фигурой и напряженно соображала, что опять сделала не так...

В одну из пятниц без предупреждения нагрянул старший сын с женой. Они странно улыбались, и еще до того, как завели разговор, она почуяла нарастающую тревогу. Молодые долго переминались и переглядывались... Потом сын махнул рукой и обрушил новость:

— Мы выиграли гринкарту в Америку... Ну, не сегодня, конечно... но в общем через несколько месяцев... говорят, от пяти месяцев до года... пока не получим разрешение от американского правительства... Да погодите расстраиваться...

Семен насупленно сидел за столом с опущенной головой. Матильда тихо плакала и стискивала руки перед грудью... Когда дети ушли, она спохватилась, что даже не предложила им чаю, и от этого ей сделалось только горше. Она украдкой бросала взгляды на мужа, а он так и не поднял головы... только вертел ею время от времени и что-то безмолвно выговаривал губами...

Время бежало, скакало и ползло, выплескивая все больше неразрешимых задач. Они оба оформили пенсию, которая отлетала столь же быстро, как и вздох облегчения при ее получении. И она совершила невероятный поступок. Впервые за все годы, несмотря на протесты Семена, настояла на своем: у древнего Лихтенштейна, аккомпаниатора из оперного, выменяла за пианино японскую вязальную машину, привезенную племянницей из Австралии. Непонятно, зачем старику понадобился дряхлый инструмент, и уж совсем странно, для чего племянница подарила ему вязальную установку. Семен шипел на Матильду и предрекал, что "вечный жид" их облапошит. Поначалу она готова была признать правоту мужа: было туго... вернее, беспросветно... Ей казалось, что она поступила непрослительно глупо, — недаром Лихтенштейн променял дорогую игрушку на ее рухлядь, — но мало-помалу стали поступать заказы сначала от знакомых, а потом от знакомых знакомых...

Первое письмо из Сан-Франциско и фотографии из заморской цветной жизни они отмечали празднично вместе с семьями младшего сына и дочери. Матильда суетилась пуще обычного и, прибегая из кухни с новым блюдом, разглядывала самую нарядную фотографию, которую прислонила к вазе на серванте... Она всякий раз подмечала новые подробности... У внука появились усики! Какая славная куртка на нем! Ей раньше

казалось, что она зеленая с синими полосами... Выходит, синяя с красными... и диковинное здание с драконами за спинами детей! Ирочка, жена Павлуши, прочла вывеску на английском. Оказалось, всего-навсего китайский ресторан...

Семен опрокинул стопку водки, откашлялся и водрузил очки на переносицу. Письмо Славки на семи страницах он читал торжественно, с оговорками для собственных комментариев. И когда отступления затягивались, Павел нетерпеливо подталкивал его под локоть:

— Батя, дальше давай!..

Матильда нарезала пирог и раскладывала его по десертным тарелкам, когда Катерина подошла к отцу, обняла его сзади и завела разговор о внучке.

— А у нас новость! Как вы знаете, Настенька уже полгода встречается со знаменитым футболистом из "Торпедо", Георгием Тяткиным. Ну, вот... позавчера, значит, Жорочка, наконец, сделал нам предложение. Покажи колечко, доченька! Видали?.. С брильянтом! Так что надо думать о свадьбе! Жорика сегодня нет с нами, потому что... Ну, скажи сама, Настюль! Ну, скажи... Чего стесняешься?

— Да ладно те, мам... Еще ничего не известно. Может, его и не утвердят в Москве...

Все дружно повернулись к Настеньке и стали радостно поздравлять ее.

Настенька смущенно улыбалась и вертела кольцо на пальце. Семен ринулся к серванту, извлек новую бутылку и торопливо разлил водку по стопкам:

— Ну, внучечка, за тебя! И за вашу счастливую жизнь в столице!

Взрослые повскакивали и потянулись к Настеньке чокаться. После тоста Катерина пошла за Матильдой на кухню и села на табурет.

— Мам, я вот подумала, может, попросить Славку прислать подвенечное платье из Америки... А? Там такие шьют — нашим нечего рядом делать! Как думаешь?

Матильда повела одним плечом и отвернулась к отливу:

— Не знаю, Катюша, что тебе сказать... Они ведь даже не работают еще... Ты же слышала, сидят пока на пособиях и учат язык... Платье, поди, стоит немало...

— Ну, прямо-таки! В рестораны ходить могут, а племяншке подарок на свадьбу — разорятся! Ты им напиши! Они тебе не откажут. Потом, необязательно новое покупать. Можно в комиссионке ихней... подешевле... которое уже надеванное...

— Не обижайся, Катюша, только не могу я сейчас просить... Им наверняка не сладко... Вот когда встанут на ноги, начнут работать... И почему ты решила, что они ходят в рестораны? Это они снялись только, чтоб нам показаться... Я вот думаю, чем бы их поддержать... На днях купила два мельхиоровых набора. Хочу один передать через Дорочку. А второй я ей в подарок... Помнишь ее? Мы даже когда-то у нее в гостях были! Она теперь профессор... Я с ней дружила еще в училище... Представляешь, она одна уезжает в Лос-Анджелес, чтобы потом дети с семьями приехали...

— Ах, Дорочка! Ну, да! Как же! И о ней вспомним, и о Славочке подумаем! Последнюю копейку для него из дому переведем. А вот о падчерице с ее выводком — чего нам переживать? Она-то ведь не в Америке. Она под рукой! Раздеть нашего сыночка хочет! Негодяйка!

Катерина зло скривила рот.

— Не любила ты меня... Никогда не любила! Думаешь, я забыла, как ты меня в детстве заперла в ванной, потому что я не хотела мыться?.. А когда с Сережкой Ушаковым закрутила в училище и аборт должна была делать? Помнишь, что ты мне говорила?.. То-то! Так ведь и я тебя не любила... ма-моч-ка!

Матильда с мокрыми руками повернулась к падчерице и застыла в изумлении.

— Что ты такое говоришь, Катя? Ты только подумай, что ты говоришь! Как тебе не совестно?

— Говорю то, что слышишь! Не нравится? Может, мне тоже многое не нравится... Чего душой кривить? Для подружки своей пархатой с дорогой душой... А как для меня — всегда жалко! Чужая я тебе! Ну, а раз так, и дел нету...

Катерина заскочила в комнату и резко скомандовала:

— Пошли отсюда! Нечего нам в этом доме!..

Муж и Настенька побежали за нею на лестничную площадку... и уже не вернулись... Семен переводил недоуменный взгляд с Павла на невестку... с невестки на внуков, а те с таким же удивлением смотрели на него и друг на друга...

К зиме Семен все чаще жаловался на то, что мир потерял четкость, а газетный шрифт неразличим даже в очках. Как-то за ужином на кухне он выронил ложку и не смог нагнуться за ней. Матильда тревожно смотрела на его полураскрытый рот, понимая, что происходит что-то неладное. Через минут двадцать Семен пришел в себя, но ничего не мог вспомнить. Матильда уговорила его пойти в поликлинику. Помимо обычных возрастных изменений врач определил у него диабет и гипертонию.

О предстоящей свадьбе внуки они узнали случайно от Гришки — жёковского водопроводчика, которого Матильда заманила за безумные деньги заменить проржавевший полотенцесушитель. Гришка оказался фанатом "Торпедо" и знал все обо всех игроках команды... За день до торжества Семен позвонил по телефону дочери, но та отказалась с ним разговаривать. Он повесил трубку, хрипло замычал и... свалился на пол. Матильда бросилась к нему, звала и водила рукой по его лицу, но Семен был без сознания.

Скорая ехала медленно. Матильда металась от Семена на кухню, из кухни в спальню, подсовывала подушки под его голову, потом убирала их, клала мокрое полотенце ему на лоб и тут же бежала смочить другое под краном... Позвонила Павлу, но дома у него никого не было. На секунду ей почудилось, что муж зовет ее. Она ринулась к нему, подвернула ногу и упала на пол. Так она и лежала рядом с ним, обнимала и гладила его, пока не приехала неотложка.

В больнице палаты были переполнены, и его временно поместили в тусклом коридоре. Матильда прикорнула на стуле, который ей принесла сердобольная санитарка. Всякий раз, когда мимо проходил кто-нибудь из персонала, Матильда с мольбой провожала взглядом белый халат, ожидая, что вот, наконец, займутся мужем... Через полтора часа объявился пожилой врач. Он внимательно осмотрел Семена, буркнул:

— Достаньте гепарин и шприцы! Ему нужен гепарин... — и ушел.

Она тут же бросилась к телефону, сообщила сыну о несчастье и продиктовала название лекарства.

Под утро Семен дернулся и раскрыл глаза. Матильда жалко улыбалась и быстро-быстро приговаривала:

— Что, хороший мой?.. Что, дорогой?..

Вдруг левый глаз Семена залился кровью, и дыхание остановилось. Она побежала за дежурной медсестрой, но в сестринской никого не было. На вопли ее прибежала та самая санитарка и, выматерившись, выставила ее из "служебного помещения":

— Какого разоралась посреди ночи? Шо ж можно сделать, раз твой помер? От публика! Ты шо, не понимаешь, шо он помер? Ну... Понимаешь, значит... Чего ж орешь?..

Матильда вернулась к телу мужа, наклонилась над ним и, сбиваясь от душивших слез, шептала: — Ну, скажи что-нибудь... Ну, скажи...

Вопрос о покупке места на кладбище отпал сам собой после того, как требуемая сумма была произнесена одной стороной и переспрошена дру-

гой. Живым деньги были нужнее. Поэтому Павел принял решение кремировать тело. Матильда согласилась, только просила переговорить еще с Катериной.

Катерина примчалась с мужем и Настенькой на ведомственной машине как раз, когда выгружали гроб у парадного, и сходу, еще на улице, стала заламывать руки... В квартиру она вошла с воем. Подбежав к телу отца, заголосила еще сильнее. Через минут пятнадцать затихла, вытерла слезы и кивнула своим "на выход". У самой двери спросила Ирину, на когда назначена кремация, поудрила нос перед зеркалом и выскочила наружу вслед за мужем и дочерью.

После службы в кладбищенской церкви, на которой настоял Павел (Матильде в голову не пришло бы заказать отпевание, но в новой жизни вернулись старые правила), постояли перед урной... всплакнули... Павел пригласил присутствовавших к себе помянуть отца.

Матильда отрешенно сидела за столом и кивала головой при каждом упоминании имени мужа. Катерина зазвала Павла на балкон и долго о чем-то с ним совещалась. К Матильде она так и не подошла.

Вечером Павел позвонил в Сан-Франциско. Матильда из соседней комнаты слышала, как он пересказывал Славе разговор с сестрой. Оказывается, Катерина составила список вещей, принадлежащих, по ее разумению, только ей. Кроме украшений, безделиц и трюмо, оставшихся после ее матери, она требовала компенсацию за "еще бабушкино" пианино, которое Матильда "без разрешения" променяла на вязальную машину. Почему-то Матильде вспомнился брат и неподеленное кольцо. Она горько усмехнулась и решила, что первым делом по возвращении домой соберет вещи и передаст их через Павла. Что до пианино...

— Надо обязательно поехать к Лихтенштейну и выкупить его, даже если придется заплатить дорожке... Она права, — про себя рассуждала Матильда, — это ее вещи... Ну и что из того, что Семен подарил мне камею? Ведь сначала ее купила Мария. Стало быть, брошь Катина. Не умри Мария тридцать пять лет назад, украшение перешло бы к дочери. И то спасибо, что я всем этим пользовалась столько лет... Но Катя... Какая она злая! Откуда это в ней?.. И чем я провинилась?.. Может, все-таки позволить ей?.. Ведь не чужая...

Матильда вернулась в пустую квартиру, и буквально через полчаса, как всегда "на минутку", забежала Тюлька, она же Ираида Павловна. На этот раз многословие соседки не раздражало. Наоборот, Матильда предложила чаю с вареньем. Ираида Павловна охотно устроилась за ку-

хонным столом и в ожидании угощения тараторила о том, что произошло в доме за последние трое суток.

— Барсуковых грабнули прямо серед бела дня. Трое в масках залезли в хату через балкон и приставили ножа к горлу Таньки. Она сдрейфила и разом выдала Колюшкины тайники с деньгами. Потом ее связали и заперли в ванной. Так она и провалялась там до вечера, аж пока не вернулась с работы невестка. И даже того... обосцалась... А мне их не жалко! Противные они! Он скока раз проезжал мимо — никогда не предложил подвезти, а Танька каждый день в новом платье... Ну, я тебя спрашиваю! Да, вот еще, Полущкой привезли внука из Сургута. Сынок ейный занаркоманился вусмерть, а невестка, самая что есть уличная, пропила себя напроць... Ты Вовку Костюкова из пятьдесят шестой знаешь? Так его опять тягали на допрос. Только он ничегошеньки против банды Козла, потому что они пострашнее органов... Слухай, Матильда, а, може, у тебя найдется трошечки?

Ираида крепко зажмурила глаза и тряхнула сморщенным личиком, причмокнув от возбуждения.

Матильда полезла в сервант и выудила бутылку вина, припасенную еще Семеном. Так они вдвоем просидели весь вечер, поминая покойника и проклиная нынешнюю жизнь. На прощание соседка пообещала зайти за Матильдой в выходной, чтобы вдвоем отправиться в церковь.

— Обязательно! Помолишься, и сразу станет легче, — заверила она.

И впрямь, в воскресенье утром Тюлька повела Матильду в собор, недавно отреставрированный после сорока семи лет пребывания в нем мебельной фабрики. Матильда настороженно оглядывалась в пахнувшем свежей краской раззолоченном тереме. Она протискивалась к алтарю следом за бойкой соседкой и шепотом задавала вопросы. Ираида отмахивалась от нее и односложно бросала:

— После...

Батюшка охотно кивал, слушая о себе похвальные речи Ираиды. Под конец благословил Матильду и подставил руку для целования. Матильда ступала, но Ираида подтолкнула ее к пухлой ладони, и она уткнулась в нее губами. Потом обе они стояли на коленях в первом ряду перед иконой Божьей Матери. Следуя соседкиному примеру, Матильда впервые в жизни крестилась и повторяла незнакомые слова молитвы. Облегчение от посещения церкви не пришло: то ли потому что Матильда не прониклась достаточной верой, то ли по причине батюшкиного безразличия, а, может, оттого, что вся затея была пустой.

В пятницу Матильда поехала к Лихтенштейну. Соломон Моисеевич удивленно слушал ее объяснение. Под конец рассмеялся и покачал головой:

— Да что вы, голубушка, убиваетесь из-за такой малости? Забирайте его хоть сейчас... Оно у меня на даче. И ничего вы мне не должны. Считайте, вязалку я вам подарил. К одним приходит, от других уходит... Стало быть, и к нам когда-нибудь придет... Вот только дожить бы... Вы лучше присядьте и послушайте, что нам сыграет Виктор Карлович Прендель.

Матильда растерянно оглянулась и увидала у противоположной стены высокого мужчину со скрипкой в руках.

— Премного рад, — мужчина театрально согнулся в поклоне, подошел к ней и поцеловал руку. Матильда испуганно отдернула кисть:

— Ну, что вы?..

Виктор Карлович поклонился и вернулся на прежнее место. Соломон Моисеевич устроился за роялем, потер руки... Трепетные звуки разметались по стенам, окнам и полу. Скрипка в руках Виктора Карловича настроенно замерла и пролилась молитвенной скорбью Мендельсона. Матильда, напряженно сидевшая в потертом кресле, вдруг сникла и поплыла вслед за музыкой к печальным раздумьям. Слезы катились из ее глаз, зачарованно глядевших в пустоту... Игра прекратилась, и Матильда вздрогнула... После небольшой паузы она подошла к роялю, обняла улыбающегося Соломона Моисеевича одной рукой и протянула вторую Виктору Карловичу:

— Замечательно!.. Замечательно!

Виктор Карлович вновь церемонно поклонился и опять поднес ее руку к губам. Теперь она не сопротивлялась, только смутилась...

Виктор Карлович проводил ее до дома и попросил разрешения позвонить в конце недели. В субботу она вздрагивала при каждом звонке, но голоса были все не те. Звонил Павел, потом какой-то Петр Петрович, собиравший деньги для общества заботы о бездомных животных... Звонила Лелечка Порфирьевна из музыкальной школы — зачем-то просила одолжить ноты Шенберга...

Виктор Карлович позвонил к вечеру и пригласил на концерт "Виртуозов Москвы". Матильда сначала решила не соглашаться, но вместо этого спросила, на который час... После концерта она зазвала его к себе на чай, и они проговорили до половины второго ночи. На следующий день Виктор Карлович объявился с букетом цветов и коробкой конфет. Матильда не знала, как реагировать — все же вдова...

Через три недели она пришла к Виктору Карловичу, и ее поразили

бесчисленные картины и рисунки... На старом резном рояле уместились, по крайней мере, два десятка фотографий с дарственными надписями, некоторые на иностранных языках, из чего Матильда заключила, что Виктор Карлович был выездным... Она засиделась до самого вечера, и когда он подошел и положил ей руки на плечи, она в томительном порыве обняла его... Он мягко касался губами ее кожи и крепко прижимал к себе... Она не помнила, как одежда ее оказалась на полу, и, уже не молодая женщина, она стояла обнаженной перед другим мужчиной.

Он не душил ее. Все, что происходило с ней, похоже было на дивную сказку, в которой мускулистый принц с нежностью впивался в ее разбуженную незнакомой лаской плоть. Ей было стыдно криков не изведанного ранее наслаждения... И необычайно радостно оттого, что на свете бывает такое... Нет, даже не удовольствие — счастье! Было так приятно, так сладостно, что в самую пору умереть, чтобы никогда уже не лишаться... Потом она с любопытством рассматривала спящего Виктора, но не смела дотронуться до него. Как могла оставить его жена ради другого? Ей так хотелось приласкать сухое крепкое тело, сделать для него такое... Она ждала, когда он проснется, и боялась, что наступит разочарование... Но не ее, а его... Любовь Семена была подобна артиллерийскому обстрелу, а с Виктором...

В конце марта Павел позвонил и сказал, что заедет вечером по важному делу. Приехал один, спросил, нужны ли деньги, барабанил пальцами по столу и собирался с мыслями. Матильда не выдержала:

— Павлуша, не тяни!

— Мам, Ирина мать, Клавдия Борисовна... в общем... она того... Короче, она не Клавдия Борисовна, а Фейга Абрамовна, и мы собираемся в Израиль... Поедешь с нами?

Матильда тихо качала головой. Ее поразила даже не столько новость об отъезде, сколько то, что Клавдия Борисовна еврейка. У нее пронеслась мысль, что, слава Богу, Семен никогда не подозревал... Она помолчала. Наконец, вздохнула и спросила:

— Ты голоден?

Павел кивнул, и она с облегчением принялась угощать его. За чаем Матильда все же решилась спросить:

— А твои ребята? Они что, тоже евреями будут?

Павел обнял мать перед уходом, и они долго не отпускали друг друга. Попрощавшись с сыном, Матильда опустилась в кресло и заплакала. Ей было жаль себя, сына, внуков и ставшую еврейкой Клавдию Борисовну...

Будущее не сулило ничего определенного, кроме потерь и расходов... Она смахивала нескончаемые слезы...

Виктор Карлович приехал к вечеру, как всегда с цветами и улыбкой. Едва он вошел в дом, она бросилась к нему и громко разрыдалась. Он, еще не понимая причины ее расстройства, гладил ее плечи и почти по-детски пришептывал:

— Ну-ну... Ну что ты?.. Все обойдется... Все будет хорошо...

Она заснула в его объятиях, а он продолжал целовать ее шею, грудь, живот... На следующий день он проснулся пораньше и поспешил на кухню. На завтрак он готовил яичницу с грибами и сыром...

— Господи, — думала Матильда, не открывая глаз, — почему жизнь состоит из нескольких мгновений радости и множества печалей?.. То доведет до самой крайности, когда уж ничего не мило, а то чуть придушит и тут же отпустит... А потом снова завертится, только с другими бедами и милостями... Неужели так все живут?

Она чувствовала себя птицей, выпущенной из клетки на неуютную волю, и многое ей казалось чужим и непонятым в новом неопределенном мире... даже свалившееся счастье... и пришло оно, стыдно подумать, со смертью мужа... Жизнь вокруг сделалась злее и хуже, а ей впервые за многие годы интересно...

Она точно знала, что не желала вернуть ни одного дня из прежней поры... Только хотела унести далеко-далеко... назад в молодость... в тот самый год... Но не в силах она была изменить прошлое, как не в силах была заглянуть в будущее. И слава Богу, что было оно неведомо... По крайней мере, это вселяло надежду... Матильда медленно потянулась на постели и прислушалась к свисту чайника.

Лос-Анджелес

В лодке

Боже ж мой, какой отвратительный дух стоял в палате. Вонючий воздух захлестывал с головой, едва переступался больничный порог. Это была ядовитая смесь — густая и тягучая. И никакими цветами, листьями зелеными (странно, ведь все окна и двери на балкон были распахнуты настежь), дождем, землей, прогретой солнечными лучами, здесь не пахло. А пахло мочой, гремучей смесью капельниц, потом, гниющей человеческой материей и страхом. Да, страх, а точнее, его степень — ужас, оказывается, тоже имел запах.

Впрочем, весь персонал, сновавший из палаты в палату, на этот дух никакого внимания не обращал. Все до того привыкли к нему, что в праздничные дни легко выпивали и закусывали в ординаторской, пили чай с нехитрыми бутербродами в будние дни, а потом вновь отправлялись выполнять свои постылые обязанности.

Два деда лежали в двухместной восемнадцатой палате неврологического отделения военного госпиталя. Оба с инсультами, у боцмана, старшины первой статьи, потяжелее, у майора медслужбы полегче. Майору нянечка Наташа должна была поставить клизму. Дочка, давая нянечке гривны, особенно настаивала на клизме, сама она стеснялась, а нянечке все было недосуг, а когда она вдруг вспомнила и зашла в палату, деды давно уже спали.

Нянечка задумчиво постояла на пороге минуты две, вслушиваясь в храпы, а потом, зевая, пошла в дежурку. За свою треклятую работу: мытье туалетов, полов, клизмы и подсовы, перестилание белья под лежачими, она имела 150 гривен в месяц, поэтому те денежки, которые ей клали в кармашек, ей были позарез нужны, они помогали хоть как-то кормить семью, состоявшую из мамы и двух дочек. К работе своей она привыкла и уже не закрывала глаза при виде тощих стариковских задниц и бессильно висящих членов. Когда-то в невообразимом далеке она мечтала быть врачихой и ходить в хрустящем белом халатике с миленьким черным саквояжем по домам, слушать через трубочку, как дышат, и выписывать рецепты. Работа в том далеке казалась красивой, чистой и таинственной. Тогда у нее была еще пушистая белая коса и щеки в ямочках. Теперь от косы ничего не осталось, ямочки куда-то делись, и жизнь текла уныло.

В дежурке нянечка Наташа прилегла на диванчик и перед тем, как задремать, дала себе честное слово, что рано утром поставит деду из восем-

Будущее не сулило ничего определенного, кроме потерь и расходов... Она смахивала нескончаемые слезы...

Виктор Карлович приехал к вечеру, как всегда с цветами и улыбкой. Едва он вошел в дом, она бросилась к нему и громко разрыдалась. Он, еще не понимая причины ее расстройства, гладил ее плечи и почти по-детски пришептывал:

— Ну-ну... Ну что ты?.. Все обойдется... Все будет хорошо...

Она заснула в его объятиях, а он продолжал целовать ее шею, грудь, живот... На следующий день он проснулся пораньше и поспешил на кухню. На завтрак он готовил яичницу с грибами и сыром...

— Господи, — думала Матильда, не открывая глаз, — почему жизнь состоит из нескольких мгновений радости и множества печалей?.. То доведет до самой крайности, когда уж ничего не мило, а то чуть придушит и тут же отпустит... А потом снова завертится, только с другими бедами и милостями... Неужели так все живут?

Она чувствовала себя птицей, выпущенной из клетки на неуютную волю, и многое ей казалось чужим и непонятым в новом неопределенном мире... даже свалившееся счастье... и пришло оно, стыдно подумать, со смертью мужа... Жизнь вокруг сделалась злее и хуже, а ей впервые за многие годы интересно...

Она точно знала, что не желала вернуть ни одного дня из прежней поры... Только хотела унести далеко-далеко... назад в молодость... в тот самый год... Но не в силах она была изменить прошлое, как не в силах была заглянуть в будущее. И слава Богу, что было оно неведомо... По крайней мере, это вселяло надежду... Матильда медленно потянулась на постели и прислушалась к свисту чайника.

Лос-Анджелес

В лодке

Боже ж мой, какой отвратительный дух стоял в палате. Вонючий воздух захлестывал с головой, едва переступался больничный порог. Это была ядовитая смесь — густая и тягучая. И никакими цветами, листьями зелеными (странно, ведь все окна и двери на балкон были распахнуты настежь), дождем, землей, прогретой солнечными лучами, здесь не пахло. А пахло мочой, гремучей смесью капельниц, потом, гниющей человеческой материей и страхом. Да, страх, а точнее, его степень — ужас, оказывается, тоже имел запах.

Впрочем, весь персонал, сновавший из палаты в палату, на этот дух никакого внимания не обращал. Все до того привыкли к нему, что в праздничные дни легко выпивали и закусывали в ординаторской, пили чай с нехитрыми бутербродами в будние дни, а потом вновь отправлялись выполнять свои постылые обязанности.

Два деда лежали в двухместной восемнадцатой палате неврологического отделения военного госпиталя. Оба с инсультами, у боцмана, старшины первой статьи, потяжелее, у майора медслужбы полегче. Майору нянечка Наташа должна была поставить клизму. Дочка, давая нянечке гривны, особенно настаивала на клизме, сама она стеснялась, а нянечке все было недосуг, а когда она вдруг вспомнила и зашла в палату, деды давно уже спали.

Нянечка задумчиво постояла на пороге минуты две, вслушиваясь в храпы, а потом, зевая, пошла в дежурку. За свою треклятую работу: мытье туалетов, полов, клизмы и подсовы, перестилание белья под лежачими, она имела 150 гривен в месяц, поэтому те денежки, которые ей клали в кармашек, ей были позарез нужны, они помогали хоть как-то кормить семью, состоявшую из мамы и двух дочек. К работе своей она привыкла и уже не закрывала глаза при виде тощих стариковских задниц и бессильно висящих членов. Когда-то в невообразимом далеке она мечтала быть врачихой и ходить в хрустящем белом халатике с миленьким черным саквояжем по домам, слушать через трубочку, как дышат, и выписывать рецепты. Работа в том далеке казалась красивой, чистой и таинственной. Тогда у нее была еще пушистая белая коса и щеки в ямочках. Теперь от косы ничего не осталось, ямочки куда-то делись, и жизнь текла уныло.

В дежурке нянечка Наташа прилегла на диванчик и перед тем, как задремать, дала себе честное слово, что рано утром поставит деду из восем-

надцатой клизму и посадит на горшок. Потом она стала мечтать о любви, у которой еще не было ни лица, ни имени, но так хотелось ее. На этом сладком мечтании она и заснула...

...Деды в восемнадцатой одновременно проснулись от легкого скрипа закрываемой Наташей двери и какое-то время молча пялились в темноту, пересекаемую тонкими полосками света, прорывающегося из коридора.

— Михалыч, спишь? — сипло спросил боцман.

— Не, — ответил майор.

— И шо мы будем до утра делать? А?

Так как за предыдущие ночи почти все темы: кто где служил, на каких кораблях и т. д., были уже проработаны, а о политике говорить ночью совсем не хотелось, то деды опять надолго замолчали.

— А ничего эта девка Наташа, верно? — задумчиво проговорил боцман. И добавил: — Если бы десяток лет скинуть, или в молодости — посмотрел бы на такую?

— Не знаю, она в очках, мне не нравятся бабы в очках, — заупрямился майор.

— А я обратил бы, девка в теле, кровь с молоком, — продолжал гнуть свою линию боцман. Впрочем, говорил он с трудом, глотая буквы и растягивая слова. Язык еще плохо слушался его, так же, как руки и ноги.

Заговорив о нянечке, оба на какое-то время замолчали. Вероятнее всего, в головах у обоих замелькали картинки давно ушедшей молодости, когда ни инсультом, ни горшками еще не пахло.

Возможно, майор медслужбы вспомнил, какие клеши носил в 47-м, когда заканчивал медучилище, и как долго ходил по дворам, разыскивая понравившуюся девушку — Нелю из медуна. А если бы он ее не нашел, то не было бы и дочки, оставившей нянечке денег на клизму.

Еще он вспомнил Дунайскую флотилию, в которую попал семнадцатилетним пацаном, и то, как берегли его старшие — не выпуская из трюма, и веселый город Будапешт припомнился, в котором весь личный состав подцепил гонорею, весь, кроме него и еще двух таких же салаг, которых будапештские проститутки еще не интересовали.

Много чего припоминалось дедам, лежавшим в вонючей палате в крошечной тьме знойной июльской ночью.

— Кому она на хрен нужна такая жизнь, — ядовито сказал из тьмы вредный боцман, — нет, чтоб сразу, раз и умереть, так еще помучиться перед этим. Зачем, а?

На какое-то время оба замолчали, представив себя на секунду лежа-

щими в гробах. Майор придирчиво осмотрел всех, стоявших вокруг: и жену, и дочку, и внучку, и правнука, и зятя. Увидел лица друзей, соседей. Вроде бы все пришли. Осмотрел цветы и надписи на венках. Себя лежащим он никак не мог представить. Все ему казалось, что он вертит головой, рассматривая сгрудившихся вокруг людей.

— Понимаешь, — продолжал боцман, — похорон стоит не меньше полутора тысяч гривен, я знаю, я ходил в бюро, это почти триста долларов. Дома таких денег сейчас нет, значит, жене придется одалживать, а с чего отдавать? А как потратились на больницу: на лекарства ушло уже триста гривен, а конца не видно, да еще капельницы — по пятерочке каждый день, а клизмы — по четыре. Вот и посчитай, в какую трубу мы все вылетели...

— Да хрен с ними, пусть государство хоронит, — махнул рукою беспечный майор.

— Пока оно тебя похоронит, ты так завоняешься, что на километр никто не сможет к тебе подойти...

Они вновь замолчали. Лежать в темноте становилось все страшнее и страшнее. Ничего хорошего из этого лежания в перспективе не виделось.

— Слышь, — вновь начал боцман, — а если понадобится сейчас чего, то звони, не звони — никто не явится. Все спят.

Боцман знал, о чем говорил: за неделю до этого он в темноте побрел в туалет и, упав, пролежал там на полу до утреннего обхода.

Теперь они боялись ходить по ночам, возле каждого на стуле стоял маленький подсов, похожий на лейку с широким носиком.

— Да, — подтвердил майор. — Глухо, как в подводной лодке, Кричи, не кричи никто не придет. Так что надо крепиться и ждать утра.

Тьма, обволакивавшая их, и впрямь напоминала толстую оболочку подлодки. Было жутко, не хватало воздуха, начинался приступ клаустрофобии. И чтобы развеять страхи, подступавшие из тьмы, боцман включил транзистор.

— А теперь о погоде, — вкрадчиво произнес мужской голос. — Завтра в Одессе ожидается сухая и ясная погода, температура воздуха плюс 27-28, температура морской воды...

Боцман сердито повернул рычажок, переключил частоту.

— Послушай, муа-муа,

послушай джага-джага, —

надрывался сексуальный голос певицы.

Мир за окном предназначался только для молодых, сильных и здоровых. Старикам в этом мире места не осталось. Жизнь заканчивалась на

грустной ноте в атмосфере абсолютной враждебности и твоей ненужности. Может быть, где-то за океаном и были счастливые восьмидесятилетние люди, которые сидели в удобных креслах на верандах белых домов и, попивая колу, любовались закатом. Или путешествовали по миру. Или общались в обстановке дружелюбия и радушия. И на все там денег хватало: и на лекарства, и на путешествия, и на приличные похороны.

— Ты не знаешь, какого х... мы кровь проливали, — хрипло спросил моряк.

— И хорошее настроение не покинет больше вас, — выдавил из себя транзистор.

— Настроение бодрое, идем ко дну. Открыть кингстоны, — мужественно сказал майор.

А толстый полупарализованный боцман в густой тьме отчетливым голосом неожиданно произнес с соседней кровати:

— Наверх вы, товарищи, все по местам...

Майор, лежавший на соседней койке, слабо подхватил:

— Последний парад наступает...

— Врагу не сдается наш гордый "Варяг", — выкрикнули они оба, и чтоб легче и громче кричалось, им пришлось сесть на кроватях.

Слова "Варяга" просочились в соседнюю палату и разбудили капитана 1-го ранга:

— Все вымпелы быются и цепи звенят, — пели уже три палаты.

— Наверх якоря поднимают, — присоединились подводники из четырнадцатой.

— Готовые к бою орудия в ряд

На солнце зловеще сверкают.

И далее, далее, сквозь тонкие стены и общие туалеты "Варяг" неся по отделению.

— Прощайте, товарищи, с Богом, ура! — прогремело по всем палатам.

— Кипящее море под нами.

Не думали с вами еще мы вчера,

Что нынче умрем под волнами...

"Варяг" пели летчики и штурманы, танкисты, контрразведчики и пехота.

А первый куплет повторили уже всем отделением. Те, кто мог стоять, дошли до дверей и распахнули их, остальные пели сидя. Не пели только несколько человек, которые лежали под капельницами без сознания.

Впрочем, до одного бессознательного кавторанга что-то все-таки доносилось, потому что откуда-то из черной дыры, в которую он давно уже

влетел, вдруг обнаружилась зеленая трава, он шел по ней и видел ясно, будто со стороны: свои черные клеши и белый с погонами парадный китель, и кортик болтался сбоку, и чуб из-под фуражки торчал.

А в самом конце поля плескалось ослепительное синее море, на котором стоял эсминец и ждал его, и флажками сигнализировал, мол, поторопись, братец, в поход пора.

А потом отделение, как и весь госпиталь, успокоилось, и старики заснули с мокрыми щеками. Отделение сверху напоминало светящимися своими окнами корабль, который неся с невероятной скоростью и увозил огромное количество стариков на борту в какие-то неведомые и печальные дали.

И только тихий смех и страстный шепот девятнадцатилетней медсестры Лидочки, которая в этот полночный час в пустой и темной палате № 2 отдавалась симпатичному морячку Сереже, вносил диссонанс и нарушал это равномерное и беспрестанное движение в черные дали, рождая безумные надежды и фантазии в головах стариков, спящих в соседних палатах. Ведь стояло лето, все окна и двери были распахнуты настежь, и страстные стоны юных любовников разносились по всему отделению...



Пациенты планеты Земля

— Почему меня привезли в больницу? Я здорова! — громко возмущалась пожилая женщина с пластырем на лице.

— А зачем вы пугали пассажиров троллейбуса? Угрожали себе "...телесной расправой", кричали, топали ногами, размахивали сумкой и били себя по щекам? — спокойно отвечал Алистер Петрович.

— Я кого-то ударила или разбила окно? — удивлялась Елена Степановна.

— Вас привезли в больницу, чтобы вы этого не совершили и не нанесли себе еще больший вред, — монотонно бубнил врач.

За многолетнюю практику психиатру Алистеру Петровичу не раз приходилось общаться с подобными пациентами. Их внутренний конфликт был налицо — они разговаривали сами с собой. На улице, дома, в общественных местах не прекращался их диалог вслух. Правда, не всегда это приводило к таким плачевным результатам. Ну, идет человек по улице, тихо шепчет что-то себе под нос... Кому он мешает? Но чтобы так! Довести дело до мордобоя! И только потому, что возникли разногласия с внутренним голосом!..

— Я ему говорю: не приставай ко мне с политикой. Не интересуют меня ракеты "земля-воздух", — рассказывает тем временем Елена Степановна. — А он мне: "Если не интересуют тебя эти ракеты, значит ты — дура". Я ему объясняю, что не до ракет мне, тут бы пенсию получить, детям и внукам помочь, за квартиру вовремя заплатить, а он мне: "Как же, заплатишь ты за квартиру, если по твоему городу шарахнут этими ракетами!". Я ему: "Заткнись, не до тебя!", а он мне: "Таким идиоткам, как ты, следует ежедневно проводить политический ликбез...". Как можно терпеть такие оскорбления? И от кого? От внутреннего голоса!!!

— А вы не пробовали разговаривать на разные темы не с собой, а с кем-нибудь из людей? Например, с мужем или подругами? — поинтересовался Алистер Петрович.

— Пробовала. Но разве люди умеют слушать? Они ждут (если ждут, конечно, не перебивают), пока человек закончит говорить, для того, чтобы рассказать о себе.

— Думаю, вы преувеличиваете, Елена Степановна. Я же не только по долгу службы выслушиваю людей. Взять, к примеру, моих близких — у каждого свои интересы, помимо наших общих, конечно. Я обожаю фут-

бол, но мне понятно раздражение жены по этому поводу. Женщины мало соображают в спортивных состязаниях и никогда не бывают ярыми болельщиками. Я говорю жене: "Не нравится — не смотри". Слава Богу, у нас в каждой комнате по телевизору. А вот она не слишком понятливая! Три раза в неделю занимается аэробикой и не шурупают мозгами, что я мало того, что нервничаю по вечерам, ожидая ее возвращения, еще и раздражен, потому что хочу есть...

Алистер Петрович хотел продолжить свой рассказ и тут увидел, что Елена Степановна поудобней устроилась в кресле в покорной готовности слушать. Внезапно до него дошло, что он говорит ей о своих проблемах, и он с ужасом отрефлексовал, что последний вопрос задал ей именно с этой целью — рассказать о себе.

— Говорите, говорите, — одобряюще улыбнулась женщина в ответ на его растерянный взгляд, — я привыкла к тому, что люди любой разговор переводят на себя.

Алистер Петрович неловко усмехнулся, но Елена Степановна не казалась смущенной. Она размышляла вслух:

— Несколько лет назад увидела рекламу: маленький мальчик поцарапал руку, и его мама решила обработать ранку зеленкой. Но в это время услышала свой внутренний голос: "Попробуй мыло... какой-то там фирмы". Она послушала его и воспользовалась мылом.

— Вы к чему это рассказываете? — не понял врач.

— А к тому, — повысив голос, сказала Елена Степановна, — что если бы мыло вызвало у ребенка аллергию или заражение крови, бедная женщина не только бы топала ногами, размахивала руками и била себя по щекам, но и попыталась бы его устранить физически.

— Кого? — не понял Алистер Петрович.

— Свой внутренний голос, — уверенно изрекла пациентка.

— Но это же самоубийство!

— А есть другой способ его устранить?

Алистер Петрович почувствовал, что больше не может разговаривать с Еленой Степановной.

— Мыло не может вызвать заражение крови. Мы еще денек подержим вас в больнице. А на будущее мой вам совет: не увлекайтесь чрезмерными беседами с внутренним голосом.

— Будущего нет, если нет настоящего, — ответила женщина, тихо затворя за собой дверь.

...Весь день Алистер Петрович пытался отвлечься от странного разговора. Но вместо этого убеждался в том, что люди не слышат друг друга и все разговоры переводят на себя.

— Ты в порядке? — спросил его врач реанимационного отделения, и, не дожидаясь ответа, принялся подробно рассказывать о том, как хороша в постели новая медсестра.

Вечером праздновали день рождения знакомого хирурга, и жена именинника, подняв бокал, произнесла тост: "За тебя, мой дорогой, но кем бы ты был без меня!!!".

По дороге домой он встретил двух девушек и услышал вопрос-ответ одной из них:

— Как твой жених? А мой — цветы и конфеты принес...

В это время пожилая женщина, поднимаясь по лестнице, споткнулась на ступеньке и сломала каблук. Рассматривая поломку, она громко спросила сама себя:

— Я тебя предупреждала, что надо ставить новые набойки?

— Он требует, чтобы отчет был готов завтра... Я что, робот? Нет у меня времени и сил! — услышал врач громкое бормотание проходящего мимо мужчины.

Алистер Петрович остановился, внимательно разглядывая лица прохожих. То, что он увидел, потрясло его: глубокое одиночество, заикленность на своих проблемах и бесконечные разговоры с собой и о себе...

— Господи! — произнес психиатр в сильном волнении. — Мы все — пациенты планеты Земля.

— Интересно, кто вас всех лечить будет? — басовито и с издевкой спросил врача... его внутренний голос.

Шкаф Неевклида, или Косячок для бабушки

О, дон Хуан!

О, донна Анна!

О, дочь их пылкая,

Мари Ху Ана!

— Всё начиналось в розовом шкафу.

— Что начиналось?

— Всё!

Я подошла, я дверь полуприкрыла. Чтобы не глючило. Но тут же вновь открыла: сияло солнце; дерево зеленело; Адамо с Ево в том шкафу сидело.

— Бабушка, — сказал внук, — когда ты куришь сигарету "Вог", ты носом шмыгаешь, что, это аллергия?

Ловко внук сдвигал папиросную гильзу "Сальве", сухой рыжей невзрачностью трамбовал, говорил о свободе:

— А чужою она не бывает!

Я затянулась лишь четыре раза. И косячок вдруг сразу прекратился. Вошел весь целиком и растворился. И это было да, смешно и ново!

— О, авиолла, — голос неземной пел надо мной, — о, миа авиолла!

...Во все глаза глядел внучок

на мой погасший косячок...

А из гардероба выглянуло что?

Что! Ничего.

Чашки и чайники.

Угол из кухонного угла вмиг выдвинул себя гипотенузой, хотевшей катет, но — не совпадало с — слева прямоугольник в плоскость перешел, прошив насквозь.

Настало хорошо!

— Не обормоть! — прикрикнула на внука. — Башибузук! Отдай башибузуку!

Очень смешно. Ресницы щекотали. Струились по диаметру щеки, стихая, смехи.

Чая, да покрепче! Побольше сахара! Две! Три! Нет, ложек шесть!

В движениях руки подмножества клубились. И множились. И квадратура круга свершалась.

...Весь день Алистер Петрович пытался отвлечься от странного разговора. Но вместо этого убеждался в том, что люди не слышат друг друга и все разговоры переводят на себя.

— Ты в порядке? — спросил его врач реанимационного отделения, и, не дожидаясь ответа, принялся подробно рассказывать о том, как хороша в постели новая медсестра.

Вечером праздновали день рождения знакомого хирурга, и жена именинника, подняв бокал, произнесла тост: "За тебя, мой дорогой, но кем бы ты был без меня!!!".

По дороге домой он встретил двух девушек и услышал вопрос-ответ одной из них:

— Как твой жених? А мой — цветы и конфеты принес...

В это время пожилая женщина, поднимаясь по лестнице, споткнулась на ступеньке и сломала каблук. Рассматривая поломку, она громко спросила сама себя:

— Я тебя предупреждала, что надо ставить новые набойки?

— Он требует, чтобы отчет был готов завтра... Я что, робот? Нет у меня времени и сил! — услышал врач громкое бормотание проходящего мимо мужчины.

Алистер Петрович остановился, внимательно разглядывая лица прохожих. То, что он увидел, потрясло его: глубокое одиночество, заикленность на своих проблемах и бесконечные разговоры с собой и о себе...

— Господи! — произнес психиатр в сильном волнении. — Мы все — пациенты планеты Земля.

— Интересно, кто вас всех лечить будет? — басовито и с издевкой спросил врача... его внутренний голос.

Шкаф Неевклида, или Косячок для бабушки

О, дон Хуан!

О, донна Анна!

О, дочь их пылкая,

Мари Ху Ана!

— Всё начиналось в розовом шкафу.

— Что начиналось?

— Всё!

Я подошла, я дверь полуприкрыла. Чтобы не глючило. Но тут же вновь открыла: сияло солнце; дерево зеленело; Адамо с Ево в том шкафу сидело.

— Бабушка, — сказал внук, — когда ты куришь сигарету "Вог", ты носом шмыгаешь, что, это аллергия?

Ловко внук сдвигал папиросную гильзу "Сальве", сухой рыжей невзрачностью трамбовал, говорил о свободе:

— А чужою она не бывает!

Я затянулась лишь четыре раза. И косячок вдруг сразу прекратился. Вошел весь целиком и растворился. И это было да, смешно и ново!

— О, авиолла, — голос неземной пел надо мной, — о, миа авиолла!

...Во все глаза глядел внучок

на мой погасший косячок...

А из гардероба выглянуло что?

Что! Ничего.

Чашки и чайники.

Угол из кухонного угла вмиг выдвинул себя гипотенузой, хотевшей катет, но — не совпадало с — слева прямоугольник в плоскость перешел, прошив насквозь.

Настало хорошо!

— Не обормоть! — прикрикнула на внука. — Башибузук! Отдай башибузуку!

Очень смешно. Ресницы щекотали. Струились по диаметру щеки, стихая, смехи.

Чая, да покрепче! Побольше сахара! Две! Три! Нет, ложек шесть!

В движениях руки подмножества клубились. И множились. И квадратура круга свершалась.

Так я корень извлекла! И плоскости разъялись.

Хотела встать, пойти умыться (от удивления и смеха тушь струится)...
Глаза! Щипало! Встать я не умела. Мне нужно стало, чтобы отвернулся.
Внук отвернулся, но меня шатало.

Он оглянулся — вдруг я как река, по тыльной стороне моей ладони, си-
нея жилкою... стекла...

Внук посмотрел, я вновь остолбенела.

Напрасно крылья махаона росли вдоль рек, я не смогла ни шагу ступить, пока он иглами входил в мое движение, и пришивал к пространству, превращая в яйцо крутое.

Сквозь меня ходили, пересекались параллели, окружности, цилиндр на Лобачевском, и нити золотые бенгалили по абрису яйца, и гасли, опадая на линолеум огни аэропортов неземных.

Жизнь поняла! И тотчас улетела.

При перегрузках хохотала.

Колбасило всерьез.

— Верни домой! — вдруг заявила внуку.

Он произнес:

— Прибой. Не попадешь. Дождит за горизонтом!

Окружена светящимся нейлоном трех плоскостей, спиралей турбулентных, я втягивалась червяком дороги, надевалась чулком безмерным на ногу пространства, я продвигалась, но совсем не к дому.

Жила внутри — без глаз, без рук, без тела, в том розовом шкафу висела шпага, и платье на плечиках висело...

...(Не долго я на небеса летела!

И донной Мирабеллою была)...

О, дон Хуан!

О, донна Анна!

О, дочь их пылкая,

Мари Ху Ана!

— Я не боялась дождевых червей!

Остывшее яйцо моих видений я жарила на медленном огне! Горела синим пламенем и знала — не стану вновь нанизывать пространство на плоскость лба! На радиус ребра! На клетку всех равновеликих вдохов!

И, Неевклида не призвав на помощь, я тихо, крадучись, спешила дом покинуть, где папираса "Сальве" отдымила.

Все кончилось. Меня настиг рассвет: и Лобачевский ножку не подставил, и Неевклид не выключил мне свет!

...Я вошла в улицу, словно в дождевого червя, и он сокращался, продвигая меня от начала к концу.

Когда я вышла, сквозь пройдя, оказалась продвинутой до входа в измерение иное. Задумалась.

И в дверь не постучала.

И дверь не отворили для меня.

...Так завершаются неверные начала

"Есть и еще пустое, творимое на земле..."

Провожая зарю.

— Хэвэл хавал'им, — говорю.

Говорю:

Униженная любовь, уже не любовь, а память. Хэвэл — дуновение ветра. Бессмысленное ничто. Пустое время — так память превращает суетой наполненное в пустейшее вещество.

— Хэвэл хавал'им — говорю.

Встречаю зарю. Солнце в зените.

— Помилуй, Иисус, сын Давидов, — истину говорю! — Любила. Опять люблю.

Кохэл'эт, Кохэл'эт мне имя: проповедующая тебе.

Срок есть всему. Есть срок! Время смеяться и сеять. Время рыданий и плясок, и избегать объятий: хэвэл хавалим.

Пою:

Тщета ли... ру'ах! — Всё ветер. Всё Дух. Понимаешь меня? "Дух Божий витал над водою". — Ветер веял над Мертвым морем. Хэвэл хавалим! —

Повторю:

— Ветер свеж над живой водою.

Порой говорят: "Это новое" — Не насытятся, глядя, глаз.

— Навш'и либ'и — мое сердце. Это — я, жизнь моя, с тобою — навш'и либ'и, — говорю.

Хохм'а — инструмент для героя, то, что может разведать дела, такая игра, что учит. Учит сердце усталое — думать... Хохм'а — удила для ветра. За ветром погоня! А пар — над землею — выдох, тающий легкий пар... всё — слова.

— Всё слова, что пошло на ветер! Всё пустая тщета, да, навш'и либ'и, да, моя душа? Да? В жизни с точностью до наоборот, набирающий силу поет — Лид ас нот 'инто темпт'эйшен, по верному пути, но не в искушение — веди нас, веди... избави нас от лукавого!

Леги Нуриева

Загорелся зеленый свет, и машины двинулись по Коламбус-серкл. Справа от потока машин на велосипеде катил Юра. За спиной у него была приторочена папка с прекрасными балетными литографиями. Стоял май, и погода была замечательная. Солнце уже припекало, но в каменных джунглях Манхэттена, в тени зеркальных небоскребов еще держалась прохлада. Ветра почти не было, а запах от работы тысяч двигателей практически не ощущался.

Юра не переставал этому удивляться. Окруженный со всех сторон водой Манхеттен потрясал. Конечно, надо признать, что запахи имелись. Острые и пряные ароматы карибской кухни, дымки от пекущихся претцелей, этого витого подобия бубликов, приторно сладкие орешки и кофе в тележках на перекрестках. Большим минусом было желание есть без остановки, неважно что, лишь бы жевать.

Наконец, удушающие сизые ленты, вьющиеся вокруг благовонных палочек, которые продавали негры в ярких африканских шапочках и серых парусиновых балахонах. Обычно они сидели у небольших столиков, заставленных флакончиками масел-духов и пучками лучинок. Эти тлеющие лучинки источали тяжелый приторный запах. Продавцы-негры мутноватыми обкуренными глазами смотрели на проходящих. Юра невольно ускорял шаг, так как дыхание у него сбивалось, и он начинал задыхаться, как будто в легкие вату натолкали. Африка, видимо, как и Восток, была тоже делом тонким.

А вот запаха бензина почти не было. И даже не в ветре дело, хотя обычно Манхеттен продувался насквозь с океана или с Гудзона. Просто машины были чистые. Он уже знал, что каждый год специальная инспекция проверяла выхлопы, да и бензин был без свинца. Вот тебе и мир чистогана, размышлял Юра. Ведь проще изготавливать обычный бензин, хоть и смердит, но дешевле. Ан нет, что-то здесь было не то. Поэтому он уже не удивлялся, видя бегущих вдоль тротуаров людей. А уж когда ветер приносил солоновато-терпкий запах океана, почти такой же, как запах моря в Одессе... Юра закрывал глаза и представлял, как он гуляет в Отраде или поздней осенью на Фонтане. Акаций вот только бы побольше.

Он медленно катил вокруг колонны с Колумбом. У входа в Центральный парк сияли свежей позолотой статуи. Где-то здесь, вспомнил Юра, любимый советским народом обозреватель Зорин снимал за пять долла-

Обучивший тебя... Царь Царей — повторял ли тебе это имя: Ше'ол, Песнь Пёсней поющая.

Мэлэх, — я Ше'ол, я обитель мертвых! Снова ты позабыл меня, потому что не помнят первых! Но и это уже бывало — чередой подмен попирая... Речи все, все дела — суета...

Навшй, жизнь моя, навшй — душа! Это я, просто я говорю тебе:

— Утомляет жизнь. Что случилось, опять повторится. Наступает время молчать. Шиддà вэшиддòт — как темно мне! Полны твои сундуки, и наложницы твои в ожидании — они были звучащей музыкой, они стали ха-олам ха-зэ — и ты стал ими всеми в итоге — сундуки, и наложницы, и мелодии, и ты сам — хэвэл хавэл'им! Но — любил ведь? И — был любим?

Век наш нынешний, век грядущий, что нашел ты в сердце моем? Ха олам, это целая вечность, поцелуй, обернувшийся сыном, — что сокрыл Боже в сердце открытом? Что вложил Боже в сердце твое?

...А злодей — он, счастлив, не будет. Он лишь тень, и исчезнет под вечер, или, если солнце в зените, станет праведным, и — исчезнет! Дуновение любви — хэвэл хавэл'им, время всякому делу под небом. И не знаешь, что ждешь, что будет.

Будет погоня за ветром. Если посеешь бурю. Будешь следить за ветром. Будешь себя любить.

Ха-олам ха-бà — грядущее за спиной: время торопить время, время вернется вспять. Время придет говорить.

Посмотри на меня внимательно — я Ше'ол, я обитель мертвых. Бытие душ в Ше'оле призрачно, то ли есть они, то ли нет...

Только — всё суета сует. Говорю — хэвэл хавэл'им!

...И ты помнишь, что был любим...

Использованы: переводы с древнееврейского и комментарии Андрея Графова из: "Книга Проповедника" (Екклесиаст). 3:1-8.

кохэлэт — выступающий в собрании;

хэвэл — дуновение ветра, бессмысленное, ничто;

хэвэл — суета (в церковнославянском);

хэвэл хавэл'им — суета сует; пустое из пустого;

руах — дух, дуновение, ветер;

хохма — мудрость, инструмент познания;

шидда вэшиддот — много наложниц, сундук (с сокровищами), музыкальные инструменты;

олам — век, вечность, мир, вселенная, космос;

ха-олам ха-зэ — век, мир (настоящее время);

ха-олам ха-ба — век, мир (будущее время);

шеол — нижний мир; обитель мертвых (не ад);

мэлэх — царь.

Лид ас ном инто темптэйшен — по верному пути, но не в искушение, (англ.) — *Lead us, not into temptation.*

Леги Нуриева

Загорелся зеленый свет, и машины двинулись по Коламбус-серкл. Справа от потока машин на велосипеде катил Юра. За спиной у него была приторочена папка с прекрасными балетными литографиями. Стоял май, и погода была замечательная. Солнце уже припекало, но в каменных джунглях Манхэттена, в тени зеркальных небоскребов еще держалась прохлада. Ветра почти не было, а запах от работы тысяч двигателей практически не ощущался.

Юра не переставал этому удивляться. Окруженный со всех сторон водой Манхеттен потрясал. Конечно, надо признать, что запахи имелись. Острые и пряные ароматы карибской кухни, дымки от пекущихся претцелей, этого витого подобия бубликов, приторно сладкие орешки и кофе в тележках на перекрестках. Большим минусом было желание есть без остановки, неважно что, лишь бы жевать.

Наконец, удушающие сизые ленты, вьющиеся вокруг благовонных палочек, которые продавали негры в ярких африканских шапочках и серых парусиновых балахонах. Обычно они сидели у небольших столиков, заставленных флакончиками масел-духов и пучками лучинок. Эти тлеющие лучинки источали тяжелый приторный запах. Продавцы-негры мутноватыми обкуренными глазами смотрели на проходящих. Юра невольно ускорял шаг, так как дыхание у него сбивалось, и он начинал задыхаться, как будто в легкие вату натолкали. Африка, видимо, как и Восток, была тоже делом тонким.

А вот запаха бензина почти не было. И даже не в ветре дело, хотя обычно Манхеттен продувался насквозь с океана или с Гудзона. Просто машины были чистые. Он уже знал, что каждый год специальная инспекция проверяла выхлопы, да и бензин был без свинца. Вот тебе и мир чистогана, размышлял Юра. Ведь проще изготавливать обычный бензин, хоть и смердит, но дешевле. Ан нет, что-то здесь было не то. Поэтому он уже не удивлялся, видя бегущих вдоль тротуаров людей. А уж когда ветер приносил солоновато-терпкий запах океана, почти такой же, как запах моря в Одессе... Юра закрывал глаза и представлял, как он гуляет в Отраде или поздней осенью на Фонтане. Акаций вот только бы побольше.

Он медленно катил вокруг колонны с Колумбом. У входа в Центральный парк сияли свежей позолотой статуи. Где-то здесь, вспомнил Юра, любимый советским народом обозреватель Зорин снимал за пять долла-

Обучивший тебя... Царь Царей — повторял ли тебе это имя: Ше'ол, Песнь Пёсней поющая.

Мэлэх, — я Ше'ол, я обитель мертвых! Снова ты позабыл меня, потому что не помнят первых! Но и это уже бывало — чередой подмен попирая... Речи все, все дела — суета...

Навшй, жизнь моя, навшй — душа! Это я, просто я говорю тебе:

— Утомляет жизнь. Что случилось, опять повторится. Наступает время молчать. Шиддà вэшиддòт — как темно мне! Полны твои сундуки, и наложницы твои в ожидании — они были звучащей музыкой, они стали ха-олàм ха-зэ — и ты стал ими всеми в итоге — сундуки, и наложницы, и мелодии, и ты сам — хэвэл хавэл'им! Но — любил ведь? И — был любим?

Век наш нынешний, век грядущий, что нашел ты в сердце моем? Ха олàм, это целая вечность, поцелуй, обернувшийся сыном, — что сокрыл Боже в сердце открытом? Что вложил Боже в сердце твое?

...А злодей — он, счастлив, не будет. Он лишь тень, и исчезнет под вечер, или, если солнце в зените, станет праведным, и — исчезнет! Дуновение любви — хэвэл хавэл'им, время всякому делу под небом. И не знаешь, что ждешь, что будет.

Будет погоня за ветром. Если посеешь бурю. Будешь следить за ветром. Будешь себя любить.

Ха-олàм ха-бà — грядущее за спиной: время торопить время, время вернется вспять. Время придет говорить.

Посмотри на меня внимательно — я Ше'ол, я обитель мертвых. Бытие душ в Ше'оле призрачно, то ли есть они, то ли нет...

Только — всё суета сует. Говорю — хэвэл хавэл'им!

...И ты пòмнишь, что был любим...

Использованы: переводы с древнееврейского и комментарии Андрея Графова из: "Книга Проповедника" (Екклесиаст). 3:1-8.

кохэлэт — выступающий в собрании;

хэвэл — дуновение ветра, бессмысленное, ничто;

хэвэл — суета (в церковнославянском);

хэвэл хавэл'им — суета сует; пустое из пустого;

руах — дух, дуновение, ветер;

хохма — мудрость, инструмент познания;

шиддà вэшиддòт — много наложниц, сундук (с сокровищами), музыкальные инструменты;

олам — век, вечность, мир, вселенная, космос;

ха-олам ха-зэ — век, мир (настоящее время);

ха-олам ха-ба — век, мир (будущее время);

шеол — нижний мир; обитель мертвых (не ад);

мэлэх — царь.

Лид ас ном инто темптэйшен — по верному пути, но не в искушение, (англ.) — *Lead us, not into temptation.*

ров ханыгу, чтобы получить по морде и сообщить всему прогрессивному человечеству о безмерном падении нравов в мире золотого тельца.

Еще один светофор и поворот направо на Бродвей. Через несколько блоков будет Линкольн-центр, а за ним балетный магазин, являющийся целью Юриного вояжа. Бродвей в этом месте не был замусорен и обшарпан, как в районе Канал-стрит и Ист-виллиджа. Не был и роскошно иллюминирован, как на 30-40 улицах. Здесь он был зажиточно ухожен. Множество ресторанчиков и небольших магазинов, да и публика чистая, веселая. Студенты из Колумбийского университета, музыканты из Джульярд-скул, Метрополитен-оперы. Здесь царила некоторая богемность, впрочем, без излишеств Гринич-виллиджа.

Иногда Юра бывал в этом районе. Последние несколько месяцев он подрабатывал на перевозке мебели. Компания называлась "Джерузалем". Привел в нее Юру случайный знакомый, бывший секретарь райкома комсомола из Центральной России, а ныне нелегал. В его довольно успешной карьере все шло хорошо, пока ему не доверили сопровождать делегацию свинок и пастухов в США. Задание было ответственное, так как в капиталистическом угаре представители союза рабочих и колхозников могли разгласить секреты невероятных надоев советской крупно- и мелкорогатой скотины. Посему Миша должен был бдеть их, трудящихся, день и ночь. Но хватило его только на первую ночь. Ошеломленный Нью-Йорком, он вышел погулять и под утро попросил в первом же участке полиции политическое убежище. С тех пор прошло пару лет. Дело его медленно ворочалось в недрах иммиграционной машины, а он работал грузчиком и клеил полусумасшедшую американку-троцкистку-маоистку выйти за него замуж.

Мишка стал Юриным Овидием в мире мувинга, т. е. грузоперевозок. Здесь платили наличные, да еще подкидывали чаевые. Жить можно было. Юра не сомневался, что работа эта временная, пока он не возьмет язык. Его английский был пока на весьма и весьма низком уровне. Как говорила одна знакомая: на запорном уровне. Тужишься, тужишься, стараешься, стараешься сказать что-то, а лезет какое-то говно кусками, слушать противно. Был и еще один фактор, свидетельствующий о временном характере сей работы — возраст. Юра не считал себя старым, но с 20-летними парнями на погрузке соперничать было нелегко. Восстанавливались они стремительно. Пять минут отдыха, стаканчик кофе и вперед. Юру хватало на два-три дня, а потом он выдыхался. Руки начинали болеть так, что невозможно было согнуть даже пальцы. Как когда-то на раскопках в Азии, где он по 8 часов рубил завалы стен из пахсы, сырцово-й глины.

Нет, физически он был посильнее этих ребят, но именно стремительное восстановление сил, как он теперь понимал, это свойство молодости. Посему и выходило — надо учить язык и искать иные пути заработка денег.

Тут как раз и наметился новый путь. С удовольствием погрузившись в эмигрантскую жизнь, Юра активно участвовал во встречах, собраниях, презентациях. Выступал как непосредственный очевидец московских событий в августе 1991 года. Ну и конечно, бывал на выставках, которые шли одна за другой. Конец 1992 года был необычайно урожайным на них. Из Одессы и Москвы, Питера и других городов в Нью-Йорк хлынули художники на поиски удачи и славы. Понятно, центр мира. Сотни галерей соперничали в открытии новых имен и представлении уже известных, вплоть до классиков. Мир искусства сулил многое. И почему бы не стать дилером, думал Юра. Сами художники были не прочь иметь бойкого посредника, в чем он убеждался, встречаясь на выставках со знакомыми художниками-одесситами и знакомясь с другими.

Размышляя о возможностях новой стези, в свободное от грузинского бытия время он посещал аукционы, набираясь "know how" — самого ценного продукта в мире желтого тельца. Именно на аукционе в Челси Юра наткнулся на человека, деловая встреча с которым ему сейчас предстояла.

В тот раз, глядя на людей, скупающих ящиками всякий, на вид, хлам, он только удивлялся. Как было сообразить, что именно таким образом специалисты выуживали за бесценок шедевры антиквариата. Особенно американского, юного, революционно-гражданского. Да ведь и естественно, в Америке американский антиквариат, в России же самый большой спрос на русский.

У входа в зал аукциона стоял человек в замечательном горчичного цвета костюме и берете и любовно оглаживал статуэтку балерины. Дома у Юры была балеринка Ломоносовского завода, и он подумал: а не предложить ли этому...

— Извините, вы коллекционер? — спросил он.

Берет повернулся. Это был человек лет шестидесяти с розово-юным лицом, довольно характерным у мужчин-американцев.

— Нет, — ответил он, — но у меня магазин "Балет", и вот, пожалуйста, фигурка Павловой, большая редкость.

Они познакомились. Норман дал Юре визитку с игривыми розочками и заверил, что будет с нетерпением ждать Юриных балерин. И чтобы не тянул, нес быстрее. У него, Нормана, сейчас много клиентов. Уже дома Юра рассмотрел адрес. Ого, в Трамп-тауэре, на 5-й авеню. Один из самых роскошных бидингов в Нью-Йорке.

На следующий день, тщательно упаковав балерину, а в придачу к ней украинца с украинкой, танцующих не то гопака, не то трепака, а может, и вообще краковяк, он отправился к Норману. В качестве секретного оружия был взят альбом литографий любимого одесситами метра Шенкера. Отпечатанные в Италии на специальной бумаге сцены из знаменитых балетов поражали воображение. Метр, имевший дюжины полторы этих альбомов, любезно предоставил Юре возможность подзаработать. В созданных по наброскам с натуры литографиях легко узнавались Плисецкая и Барышников, Нуриев и Колпакова. Норман должен был просто умереть от восторга.

Трампа-таур был великолепен, неотразим, блестящ и т. д. и т. п. Какие нужны эпитеты, чтобы передать чувства, возникающие уже у входа в 50-60-этажное здание? Огромные позолоченные двери-вертушки, швейцары в маршальских мундирах, холл высотой с десятиэтажный дом, выложенный полированным мрамором всех мыслимых и немыслимых цветов. Водопады, обрушивающиеся вниз по яшмовой стене меж гирлянд тропических растений. Эскалаторы, спешащие все вверх и вверх мимо цветов и водопадов, мимо роскошных магазинов в зимний сад на крыше здания. Здесь, за чашкой кофе или бутылкой пива, обалдевший посетитель релаксировал между визитами в десятки галерей и бутиков.

Юра уже бывал здесь, но каждый раз замирал в восхищении от этого фейерверка архитектуры и дизайна. Потому сейчас он, с деловым видом обходя туристов, двинулся на шестой этаж в галерею Нормана. Сойдя с эскалатора, он сразу обратил внимание на большую витрину с матрешками: от классических до современных в виде Горбачева, Ельцина и Буша. Палехские шкатулки всех размеров и фасонов, среди которых было много старых работ экстра-класса. Он было собрался рассмотреть их как следует, но тут из-за прилавка высунулся Норман.

— Здафстфуйте, — напрягшись, изрек он и широко улыбнулся.

Теперь уже пришлось напрягаться Юре. С таким же, наверное, акцентом, но по-английски, он повел беседу. Пока разворачивались фигурки, Норман аж подпрыгивал от нетерпения. Но вот балерина и украинцы были выставлены на прилавок. Норман брал их по очереди, смотрел клейма, ставил, опять брал. Юра, слегка напрягшись, молча ожидал вердикта.

Наконец Норман успокоился. Настало время сказать цену. Он взял балерину и спросил:

— Кто это?

— Балерина, конечно.

— Нет, ты не понял, кто изображен, как ее зовут?

Вот те и на, подумал Юра. Сказать ему "Уланова", — а вдруг он ее портрет видел? То есть, наверняка видел. Пришлось сосредоточиться. Кто бы это мог быть? А что, если кто-то из предвоенных? Маловероятно, что Норман знает. Но кто?

— Гельцер, — уверенно сказал Юра.

— Как, как? — переспросил Норман.

Юра повторил и пояснил, это из предвоенных. Норман наморщил лоб, задумался на несколько секунд, а потом сказал:

— Да, пожалуй, она, это ведь еще из вагановских учениц?

Тут уже задумался Юра. Гельцер вынырнула в его мозгу непонятно откуда. Наверное, в детстве где-то читал про нее. Но сомневаться не приходилось.

— Она танцевала в 20-40-е годы, — подтвердил он.

— Замечательно, — обрадовался Норман, — ну а это кто? — он взял в руки танцующих украинцев.

— Это из "Запорожца за Дунаем" Лысенко, — ни секунды не промедлив, выпалил Юра. Правда, перевод пришлось повторить дважды.

— А это разве балет? — спросил Норман.

— Это опера, но там балетная труппа Украинского государственного театра оперы и балета. Кто конкретно исполняет, боюсь ошибиться, — ему уже хватило Гельцер, но с другой стороны надо было что-то подкинуть, — возможно, Кривонос, — сказал Юра.

— Ты думаешь? — опять наморщился Норман. — Но Кривонос не такой массивный.

Мать твою, мысленно вскричал Юра, мало этой буржуйской гадине нашей великой Гельцер, мало ему фольклорных танцев украинского театра оперы та балету, оказывается, он знает этого Кривоноса, которого Юра только что высосал из пальца левой задней ноги.

— И все-таки я думаю, что это Кривонос, — настоял на своем Юра.

— Ну, может и он, тебе виднее, — согласился Норман и спросил: — Сколько?

Юра облегченно вздохнул и мужественно произнес:

— Тебе виднее, ты эксперт.

Норман тоже грустно вздохнул, так как доверие, выказанное Юрой, исключало, с одной стороны, торг, а с другой требовало назвать реальную цену. Поэтому он молча отсчитал восемьдесят пять долларов:

— \$50 за Гельцер и \$35 за Кривоноса, ОК?

— ОК, — милостиво согласился Юра и небрежно сунул деньги в карман. Душа его ликовала. За эту сумму он должен был тягать диваны и шкафы на шестой этаж целый день.

Норман убрал фигурки, а потом вытащил горячий кофейник и две чашки. Еще он выставил большую жестяную коробку в розовых сердечках и ангелочках. В ней оказалось печенье разной формы и цвета. Они пили кофе, а Юра размышлял, как лучше преподнести литографии Норману. Тот говорил без остановки и, видимо, что-то важное, так как раскраснелся и даже начал размахивать руками. Юра потерял нить его рассказа почти сразу и теперь только кивал головой, чуть склоняя ее то влево, то вправо с интервалом 30 секунд, негромко вставляя английское — sure, дескать, да, уверен, ты прав, Норман. Тут его взгляд опять скользнул по коробке с печеньем. На ней были те же сердечки и розочки, что на визитке.

— Кстати, Норман, ты говорил, у тебя балетный магазин, — сказал Юра.

— Да-да, но не здесь, а возле Метрополитен-опера, там весь штафф.

Юра уже знал, что слово это обозначает почти все. И людей, и вещи. Ага, вот и повод. Норман встал, чтобы долить кофе, а Юра вытащил из пакета литографии. На первой была сцена то ли из "Лебединого озера", то ли из Сен-Санса, с узнаваемой Плисецкой.

— Oh my God, — запричитал Норман, — фантастика, потрясающе, гениально, — и еще что-то непонятное, но явно в превосходных степенях.

Юра облегченно вздохнул и стал выкладывать следующие. Дальше тишина... — так, кажется, писалось где-то. И сложилось все замечательно. Норман изъявил желание взять как минимум десяток альбомов. Может, и больше, но он должен посоветоваться со своим менеджером. Нет, он не здесь, а в собственно балетном магазине. Он очень хороший и э-э-э... ну, близкий друг, без него Норман не принимает решения. Он посмотрел на Юру, чуть зардевшись.

Вот оно в чем дело. Норман-то голубчик, оказывается. То-то все у него в сердечках да розочках. Ну, да Юру это не касается. Лишь бы купил, да поболее. Надо, кстати, узнать у метра, сколько всего альбомов есть. Впрочем, и на десяти он тоже неплохо заработает. Никак не меньше двух, а может и трех месячных зарплат на погрузке. Они допили кофе, и Юра ушел. Холл Трамп-тауэра сиял еще ослепительнее. Настроение было замечательное. Он даже не ожидал, что все будет так легко и удачно. Швейцар в форме как минимум генералиссимуса крутнул перед ним вертушку двери.

На Пятой авеню туристы шли стеной. Не хватало только флагов и ло-

зунгов про "мир, труд, май, июнь, июль и т. д." Душа напевала в фа-мажоре: завтра-завтра-завтра, завтра-завтра-завтра. Хотелось подпрыгнуть и поскакать на одной ноге. Замечательно все-таки быть артдилером. Юра уже знал это слово. Недаром говорится, что искусство принадлежит народу. А тот, кто его приносит, тот и получает за это. А какой прекрасный заработок. Можно будет наконец забыть про карьеру грузчика. Да, надо позвонить и отменить свою послезавтрашнюю работу. Слава Богу, руки перестанут болеть. Надо будет связаться с Люсиком, Зомбом, А может, и Горбачев согласится. Такие мысли крутились у Юры в голове, и небо-скребы почтительно склоняли свои зеркальные макушки.

Это все было вчера, а сегодня он ехал с альбомом на встречу с Норманом и его э-э-э... другом. Было тепло, но не душно. Юра не спешил, его спортивный "панасоник" с двадцатью четырьмя скоростями позволял ехать гораздо быстрее, но не приезжать же взмыленным как лошадь. Бродвей после Коламбу-серкл стал двухсторонним с клумбами и деревьями посередине. Слева оказался Линкольн-центр. Сразу за ним должен быть магазин "Балет". Ага, вот и неоновый пуант, который поддерживают ангелочки с розочками, конечно.

Юра приковал велосипед к дереву, пропустив стальной тросик сквозь оба колеса и седло. Не углядишь, сопрут или обглодают так, что акулы позавидуют. Останется одна рама. Подергал замок и пошел к двери магазина. У входа он наткнулся на телефон-автомат и уже было собрался позвонить насчет отмены своей работы, да жаба задавила. Чего, спрашивается, тратить квотер, когда он сможет позвонить бесплатно из магазина. Копейка, как известно, доллар бережет.

Витрина была заставлена фотографиями с подписями, мелкими припиндалами балерин и танцоров, разложенными в художественном беспорядке. Посмотреть было на что. Практически все некогда принадлежало знаменитостям, хотя многие имена были совершенно не знакомыми. Ну, да Юра и не претендовал. В журнале "Балет" или "Культурная жизнь", на крайний случай, он не работал вот уже лет пятьдесят. Хотя, в прошлой жизни — кто его знает? Приглашали же его в детстве в балетный кружок при ДК им. С.М. Кирова. Во всяком случае, он не обольщался на предмет своих познаний в этой сфере прекрасного.

Перед тем как открыть дверь, он окинул взглядом свое отражение. Ничего, вполне в духе этого демократического уголка большого Нью-Йорка. Смахивал то ли на средних лет профессора, то ли на врача или адвоката на отдыхе. Юра был в черной рубашке с короткими рукавами и новых

шортах цвета хаки, купленных по случаю грандиозной распродажи в дорогом магазине. Хорошие почти новые кроссовки. Этакий неопределенно-спортивный городской тип. Он уже уяснил себе нравы нью-йоркцев и вообще американцев: вещи не должны быть новыми, они должны быть чистыми и свежими. Очень. И конечно, никаких запахов. Кроме слабого намека на хорошие духи.

Дверь открылась с легким музыкальным звоном, шедшим от связки трубок и колокольчиков над входом. Внутри магазин был забит до отказа всякой балетной и музыкальной всячиной. Автографы, письма, балетные пачки, пуанты и литература и пр., и пр. Фактически это был своеобразный музей, в котором посетитель мог не только рассмотреть, но и купить понравившуюся вещь. Взгляд Юры скользнул по полкам, и он увидел свои статуэтки. Без ценников, но в компании очень дорогих соседей — вешера и перчаток Улановой. Стены тоже были завешены, но если кое-что сдвинуть, скажем, тот портрет в углу, то пару литографий можно будет всунуть, подумал он.

На звон колокольчиков из подсобки выглянул Норман.

— О, Евджений, — обрадовался он, — а мы ждем тебя.

Сегодня Норман был в кремовых брюках и светло-голубой рубашке тонкого трикотажа. На шее у него был бледно-лиловый скромный платочек. Довольно потирая кисти рук, он подошел к Юре и взял альбом:

— Сейчас мы покажем это Хосе и решим, сколько штук мы будем брать.

Сердце у Юры слегка участило ритм. Пожалуй, только сейчас до него дошел глубинный смысл знаменитого выражения дедушки Крылова: "От радости в зобу дыханье сперло". Вот оно, мгновение большого бизнеса. Он помог Норману вытащить литографии из папки. В окружении черного и белого фотографий, автографов, перчаток и пр. картины выделялись таким яркими живыми пятнами, что магазин преобразился. Юра заранее разложил их так, чтобы первыми шли узнаваемые Плисецкая, Барышников, Нуриев.

— Хо-се-е, — пропел Норман, — взгляни, пожалуйста.

Из-за двери, точно из кулисы, ожидавший своего выхода появился Хосе. Он оказался белым латинос, среднего роста с немногими совиными глазами на широком лице и слегка вьющимися черными прилизанными волосами. На нем была свободная шелковая рубашка нежно-персикового цвета и черные брюки, плотно облегающие слегка отставленный зад. Выглядел друг Хосе точно как э-э-э... завсегдатай ресторана "Голубой дра-

кон" в Гринич-виллидже. Он нежным взглядом обласкал Нормана, и тот растаял. Потом он с любопытством оглядел Юру и, надо же, изобразил на лице пантомиму в духе замечательной Людмилы Гурченко.

Юра слегка обалдел, но с другой стороны, что такого: в столице мира чего не увидишь. Поэтому он улыбнулся Хосе и радостно, что очень важно при знакомстве с американцем, произнес:

— Рад, очень рад вас видеть, Хосе.

Тот слегка прикрыл глаза, а потом широко открыл, опять точно как Гурченко. Норман, несколько озабоченный его мимикой, предложил посмотреть литографии. Юра радостно согласился, так как Норман избавлял его от кокетничавшего Хосе. Да иди знай, не так моргнешь, гляди и обиделся друг Хосе, а ведь решающее слово за ним.

Первая же литография с Плисецкой-лебедью в серо-голубых пастельных тонах вызвала бурю восторга.

— О, Майя: прелесть, волшебница, — и еще десяток восторженных эпитетов, при этом Хосе легким движением чуть прогнутой кисти дотронулся до бумаги, — о, я знаю Майю, — он стрельнул в Юру глазами.

Норман подтвердил, да, он знает Майю. Хосе протянул руку к полке и взял небольшой альбом. Не листая, он открыл его... и точно: Плисецкая и он, Хосе, сидят на диване перед маленьким столиком с кофе.

Следующая литография была то ли с Колпаковой, то ли еще с кем, но тоже была принята милостиво. Дело было на мази. Точно возьмут, успокоился Юра. Вот только есть ли у метра достаточное количество? Последовали еще две картины. На одной в невероятном баллоне летел узнаваемый Барышников, на другой — менее знакомый Юре Нуриев.

— О, Миша, — Хосе ворковал, как голубь, — я знаю Мишу.

Опять был открыт альбом — Хосе и Барышников в Опере. Норман горделиво улыбнулся и пододвинул Нуриева.

— О, Рудольф, — Хосе даже подпрыгнул. — О, Нуриев, я знаю Рудольфа очень хорошо, — при этом он чуть склонил голову к плечу и даже задвигал задом слегка.

Мать твою, подумал Юра, да никак он любовник Нуриева, бывший, понятно. Норман грустно кивнул, да, увы, Хосе знает Нуриева, да, увы, очень хорошо. Юра изобразил понятливое выражение и сочувственно кивнул. Душа его ликовала — возьмет, точно возьмет. Как удачно, что здесь Нуриев.

Хосе тем временем любовно вертел литографию. Он приближал ее к лицу, отодвигал, опять придвигал. Как теперь принято говорить — тор-

чал, в натуре. Желая несколько ускорить затянувшийся процесс, Юра, изящно согнув руку в локте, не так, конечно, изящно, как Хосе, спросил:

— Так что, Норман, сколько альбомов вы возьмете?

Тот, ласкающим взглядов смотревший на Хосе, открыл было рот для ответа, но в этот момент друг Нуриева спросил с надрывом в голосе:

— А почему у Рудольфа Мишины бедра?

— Что, что? — не понял Юра.

— Бедра Барышникова у Нуриева, да, да, я знаю бедра Нуриева.

Норман совсем загрустил, но кивнул: да, этот знает бедра Рудольфа. Юра собрался было объяснить, что перед ними не портреты, что все нарисовано по эскизам и наброскам обобщенно. Что сами картины давно распроданы в Италии не как портреты. Да и вообще, чепуха все это. Но английский язык Юры был хоть и лучше, чем русский Хосе, тем не менее, не настолько, чтобы вступать в анатомо-сексуально-искусствоведческую полемику. Да и не дошло до этого. Хосе взял литографию с Барышниковым и плачущим голосом сообщил, что у Миши бедра Нуриева. Это ужасно, ужасно. Он покачивал головой, глаза его подозрительно влажнели. Норман подавленно молчал, укоризненно глядя на Юру. Хосе опять открыл альбом и показал: он и Нуриев перед магазином, обнявшись за плечи:

— Вот бедра Нуриева, — грустно и гордо пояснил он, — а здесь все неправильно.

Он положил литографию, повернулся и удалился в подсобку. Голова его была опущена, а руки свисали, как неживые.

Юра с удивлением ощутил неловкость за свое недостойное поведение, как будто именно он по ошибке трансплантировал не те бедра великим танцовщикам. Норман молча складывал альбом, и, когда Юра попытался прояснить ситуацию, лишь замотал головой: нет, нет, не сегодня, звони позже, недели через две.

Альбом был сложен и вручен Юре. Норман ушел утешать своего бедного Хосе, а Юра покинул магазин. Да-а-а, номер, вот она, партия Хосе, спел, гадюка, кто бы мог подумать. Но какие высокие отношения. Так, кажется, говорят. Мысли у Юры порхали, точно великие танцовщики и балерины. Он никак не мог сообщить, что делать в этой ситуации. Постоял, снял замок с велосипеда и оглянулся по сторонам. Куда ехать? Взгляд его упал на телефон-автомат. Надо позвонить в грузовую компанию и отказаться... нет, нет, нет. Ни в коем случае. Слава Богу, что не позвонил до встречи, т. е. завтра он зарабатывает свои 75-80 долларов. Это, конечно, не 2500, как за литографии, но если учесть сэкономленные 25 центов за телефон, тоже будет неплохо...

ПОЭЗИЯ

Рита БАЛЬМИНА
Ночь на Бродвее 120

Олег ШКОЛЬНИК
Сцена — вот эшафот любви 127

Игорь ПОТОЦКИЙ
Стихи Николаю Дронникову в Париж 132

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ
Падают в землю каштаны... 135

Елена ИЛЮШИНА
Видишь, я вовсе не плачу... 140

Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК
Я снова доверяю случаю... 142

Владимир ЕФИМЕНКО
То и се 145

Александр МАРДАНЬ
Объявление на столбе 148

Ночь на Бродвее

Марку Полякову

1

Творцу новейшего завета
Компьютер, как родные мама
И папа, но стара программа
Семейного авторитета.
Прямолинейно и упрямо
Мужало племя Интернета,
Ведь виртуальная дискета
Объемнее, чем голограмма.
DELETE — и начинай с нуля:
Дисплей — квадратная земля,
Мир, как под линзу ювелира,
Вошел в экранные края...
Ты — в эмиграцию, а я —
В изгнание внутреннего мира.

2

В изгнание внутреннего мира
Мы постигаем суть азов
Вселенной, где пещерный зов
Прямей отказа из ОВИРа
От пращуров, — прямей эфира
От ящеров или от Сов-
Информбюро. Ты философ?
Алхимик вечного сапфира?
Тебе где LIBERTÉ — там PATRIA,
Ты брат мой, ты из нашей фратрии
Покуда жизнь стремится VIRA.
Твоя отчаянная ария
Заглушит вопли абортария
И певчей дочери Эфира...

3

И певчей дочери эфира
Оглохшей, голос потерявшей,
В гортань немой язык вобравшей,
И опьяневшей от кефира.
А в юности была задира —
Теперь праматерью уставшей —
Манхэттен-Бич, своя квартира,
Застывший взгляд, седые парши.
Изыдь, пророчество, исчезни.
Мне не нужны твои болезни
И костыли до туалета.
Остаток жизни бесполезней
И невостребованней песни,
Зависшей в тралах Интернета.

4

Зависшей в тралах Интернета
Идее равенства решений
Не нужно ярких украшений
И сложных па у турникета.
Все имиджи равны — а это
Намек для текстовых свершений:
Дерзай поэт — для неглиже их
Хватило стилю этикета.
Зачем изыскивать, слагать?
Чтоб рифмовать "кровать" и "спать"? —
От каламбура тексту сиро.
Из первых и последних рать
Готова форы средним дать
И всем, кто высекал кумира.

5

И всем, кто высекал кумира
На площади среди толпы,
Кумира этой же толпы...
Кликуш лохмотья, нищих дыры,
Палач да капюшоны клира,

Сырых соломинок снопы,
Святая простота тупых
И дальний шум Гвадалквивира...
Ты слышал треск костра и крик,
Смахнул слезу, надел парик,
Взбежал на палубу корвета
И пересек шторма, старик,
Чтоб высечь новый материк
Из глыбы каменного вето.

6

Из глыбы каменного вето
Мы высекали карм кристаллики.
И наши судьбы — злые карлики —
На вражеской груди согреты.
Мы в душах заперли запреты,
Но их сирены замигали так,
Что мы в домах-акромегаликах
Стреляем только сигареты.
Тебе до "жо" такая "жи"...
Кругом лакеи да пажи —
Пусть принесут еще креветок.
У стойки пива закажи
И юной смене покажи
Изнанки позднего совета...

7

Изнанки позднего совета:
"Ты не прокормишься стишками,
Ведь шиты белыми стежками
Изжившие себя сонеты.
Живешь в полубредовом сне ты.
Очнись, спидометр зашкален
Под конкурентными движениями
В твоём русскоязычном гетто.
Опасней, круче виражи —
Успех и славу заслужи,
Как Тарантино и Де Ниро.

Себе и людям докажи,
Что прежней жизни миражи
Нужны, как программисту лира"...

8

Нужны, как программисту лира
Твои бывшие достижения,
Ты раб на рынке униженья,
Седок уютного сортира.
Целебным чаем из Кашмира,
С экстрактом цедры и женьшеня,
Чтоб снять дневное напряжение
Запьешь глобальный мусор мира,
Аукционы на панели,
Их окончательные мели,
Их запредельный беспросвет...
Куда же ты спешишь без цели?
Ты видишь свет в конце тоннеля?
Нас поглощает новый свет...

9

Нас поглощает Новый Свет.
Закону поглощения света
Подвластны звезды в час рассвета.
Он мне знаком со школьных лет.
И меркнет Ориона "бета",
И гаснет яркий свет планет.
Дрожит люминесцентный бред
Над сном Бродвея-Лафайета.
Пришелец из других систем
Ничем становится, кто всем
Успел побыть под звон монет,
Или литавр... но насовсем
Тускнеем в зычном свете сем,
А в Старый Свет возврата нет.

10

А в Старый Свет возврата нет...
Нас разметало по планете.
Кивнем друг другу в Интернете.
Наш виртуальный тет-а-тет,
Где весь вопрос в прямом ответе,
Но на вопрос ответа нет —
На вэбах конкурсных "Тенет"
Прочтут, лукаво щурясь, дети.
Мой давний, но далекий друг —
От поруганья до порук
Я в ожидании ответа
Руки не выпущу из рук
Того, кто рядом. Круг упруг
И непрерывна эстафета...

11

И непрерывна эстафета
Усталых эмигрантских жил.
Но пот седьмой не отложил
На сейвинг-счет ценитель Фета.
А умудренный старожил
Мне подсластил, что та конфета
Противную пилюлю эту:
Он и похлеще пережил.
Всего на миг забыв о деле,
Он здесь глядел, как все глядели
На бюст Монро или Бриджит.
Но их обновки надоели.
На современные модели
Глянь, эмиграций вечный жид!

12

Глянь, эмиграций вечный жид,
На торго грациозный праздник,
Который и манит, и дразнит.
Знай, он тобой не дорожит.
Жизнь дорожает и першит

В гортани вирусом заразным.
К террору имиджа и фразы
Ты приколотен и пришит.
Из окон "Мариотта" вместе
Глядим, как не стоит на месте
Прогресс, чей двигатель крушит
Слогана текст — в слоеном тесте
Рекламных вспышек. В их контексте
Бродвей ночную жизнь кружит.

13

Бродвей ночную жизнь кружит
В неоновой рекламной пляске:
Все — от Майами до Аляски —
Дешевый и попсовый "шит" —
Тебе, мигая, строит глазки.
Пульсирующий свет дрожит
И правосудие вершит
Давлением — по-югославски.
Он инвалиду на коляске
Предложит купленные ласки, —
Задорого по всем приметам.
С витрин моргают лица-маски
Тысяча первой ночи-сказки
В пророчествах дневного света.

14

В пророчествах дневного света
Ночь умирает багровея.
Спускаемся в нутро сабвея,
Попутчик гасит сигарету
И говорит мне по секрету:
"Привольней по фривею, фея,
Нахально на обгон левея.
Карету, что ли, мне, карету..."
Но, взявшись за руки вдвоем,
На эскалаторе плывем —
В Аид ли в Ад? Вергилий, где ты?

Глубокой лужи водоем
Как Стикс подмерзший отдаем
Творцу новейшего завета.

15

Творцу новейшего завета,
В изгнание внутреннего мира,
И певчей дочери эфира,
Зависшей в тралях Интернета,
И всем, кто высекал кумира
Из глыбы каменного вето, —
Изнанки позднего совета
Нужны, как программисту лира.
Нас поглощает Новый Свет,
А в Старый Свет возврата нет
И непрерывна эстафета.
Глянь, эмиграций вечный жид,
Бродвей ночную жизнь кружит
В пророчествах дневного света...



Сцена — вот эшафот любви!

Я живу в незнакомом городе,
Все шатаюсь по улицам чуждым...
Лист упал, вспоминая молодость,
Лег, и стал никому не нужным.

...Или, сидя в каморке убранной,
Я на "вы" говорю с бутылкою,
И картошкой давлюсь обутленной,
А внутри кто-то шарит вилкою...

А, когда лягу спать, как будто бы,
Пустота в кровати щемящая...
Встану, гляну в окно под утро я,
А в домах мирно спят трудящиеся.

Ну, а утром, в туман закутавшись,
Я иду заниматься творчеством...
Судьбы чьи-нибудь там распутывать,
Обращаться ко всем по отчеству...

Так живу в незнакомом городе,
Все шатаюсь по улицам чуждым...
Лист упал, вспоминая молодость,
Лег, и стал никому не нужным.

* * *

Я не хотел, но так сложилось,
Кому-то надо исполнять,
Мне это на руки свалилось,
Родных из дома провожать.

Кто их заставил сделать это,
Покинуть свой родимый дом,
Искать приют за морем где-то,
В краю далеком и чужом?

Глубокой лужи водоем
Как Стикс подмерзший отдаем
Творцу новейшего завета.

15

Творцу новейшего завета,
В изгнание внутреннего мира,
И певчей дочери эфира,
Зависшей в тралях Интернета,
И всем, кто высекал кумира
Из глыбы каменного вето, —
Изнанки позднего совета
Нужны, как программисту лира.
Нас поглощает Новый Свет,
А в Старый Свет возврата нет
И непрерывна эстафета.
Глянь, эмиграций вечный жид,
Бродвей ночную жизнь кружит
В пророчествах дневного света...



Сцена — вот эшафот любви!

Я живу в незнакомом городе,
Все шатаюсь по улицам чуждым...
Лист упал, вспоминая молодость,
Лег, и стал никому не нужным.

...Или, сидя в камерке убранной,
Я на "вы" говорю с бутылкою,
И картошкой давлюсь обутленной,
А внутри кто-то шарит вилкою...

А, когда лягу спать, как будто бы,
Пустота в кровати щемящая...
Встану, гляну в окно под утро я,
А в домах мирно спят трудящиеся.

Ну, а утром, в туман закутавшись,
Я иду заниматься творчеством...
Судьбы чьи-нибудь там распутывать,
Обращаться ко всем по отчеству...

Так живу в незнакомом городе,
Все шатаюсь по улицам чуждым...
Лист упал, вспоминая молодость,
Лег, и стал никому не нужным.

* * *

Я не хотел, но так сложилось,
Кому-то надо исполнять,
Мне это на руки свалилось,
Родных из дома провожать.

Кто их заставил сделать это,
Покинуть свой родимый дом,
Искать приют за морем где-то,
В краю далеком и чужом?

И никогда я не забуду,
Как в даль уходят поезда,
Тогда не верили мы в чудо,
Тогда прощались навсегда.

Великий Боже, как же случилось?
Что нам, не вечным, сделать так,
Чтоб близкие не разлучались
И не бросали свой очаг?

Ты отпустил нам так не много,
Что будет, знаешь ты один.
Взгляд упирается в дорогу,
В шеренгу уходящих спин.

Но дома остается кто-то
Таков уж вечности закон.
Я занят новою работой,
Встречать и ждать приговорен.

* * *

Удивительная профессия,
Очень сложная и простая,
Занимательная процессия,
Что позволит вам жить мечтая.

Каждый день над собой мучение,
Сам себя ты толкаешь в пропасть,
Вот летишь, и в это мгновение
Видишь путь — как к мечте протопать.

Надо быть постоянно разным,
Лицедейство у всех в крови,
Сцена, словно микроб, — заразна.
Сцена — вот эшафот любви.

Бабель

В шляпе абажура
Лампы лысый череп
Матово и хмуро
Смотрит диким зверем.

Перебиты пальцы,
Сломана ключица,
В близоруком вальсе
Лист сухой кружится.

Тишина, как в склепе,
Тихо ветка стонет,
А в широкой степи
Женщины и кони.

Все в мешок совали
Весело, азартно,
Словно точно знали,
Что не будет завтра.

Матово и хмуро
Смотрит диким зверем
В шляпе абажура
Лампы лысый череп.

* * *

На краю сыровяленой степи,
Там, где воздух над морем дрожит,
Там, где солнце ласкает и слепит,
Ты родился на свет, одессит.

Пусть кому-то мила Йокогама,
А кому-то Варшава, как знать.
Нам Одесса любимая мама,
А не грозная родина-мать.

Мы пропитаны духом акаций,
К сердцу каждого доступ открыт,
Ведь Одесса для нас Лига наций,
И поэтому ты одессит.

Пусть кому-то мила Йокогама,
А кому-то Варшава, как знать.
Нам Одесса любимая мама,
А не грозная родина-мать.

Ты обрызган соленой волною,
Рыжим солнцем жарою облит,
Где бы мы ни встречались с тобою,
Каждый знает, что ты одессит.

Пусть кому-то мила Йокогама,
А кому-то Варшава, как знать.
Нам Одесса любимая мама,
А не грозная родина-мать.

* * *

Я с тобой живу и удивляюсь,
Что такого ты во мне нашла.
Засыпая, я не укрываюсь,
А под утро я ищу тепла.

И вообще со мною нет покоя,
Столько лет тебе мешаю спать.
То храплю, то кашляю, то ною,
Не даю спокойно полежать.

Или вдруг, вскочивши среди ночи,
Места не могу себе найти.
Эта ночь мне голову морочит
И не хочет от меня уйти.

Вот слоняюсь, как умалишенный,
С темнотою опасаясь встреч,
Только за окном фонарь зажженный
Хочет что-то для меня сберечь.

И зачем ему мои все боли,
Будто он сценический софит.
Здесь не театр! Я не играю роли,
Просто благодарен, что горит.

Темень нас изрядно измотала.
Умница, ты продолжаешь спать.
Я тебе поправлю одеяло
И фонарь не стану выключать.

* * *

Когда в Арабских Эмиратах
В неимоверную жару
Индус песок копал лопатой,
Я знал — копну и здесь умру.

Но на родном песке Бугаза,
Что выстиран волной морской,
Копченный и соленый — сразу
Ты вдруг становишься другой.

Куда уходит напряженность
И будничная суета!
Да здравствует раскрепощенность
И простота, и красота.

И только вечером на пляже
Тобой владеют облака,
И сквозь воздушные плюмажи
Видна Всевышнего рука.

Стихи Николаю Дронникову в Париж



КОЛОКОЛА ЦЕРКВЕЙ ВСЕХ ОТЗВЕНЕЛИ

И глух собор готический к мольбе.
Твоя печаль слезою вдоль недели
Течет, вновь замкнут ты в самом себе.
Кругом Париж в привычном ликованье.
Являет дерзко вымысел и спесь.
А ты устал от множества страданий,
Их невозможно записать и счесть.
И вороны парят над площадями,
Глаза у них тоскливы и пусты.
И выстроились черными рядами
Над Сеною старинные мосты.
Не выбирая место для прогулок,
Ступаешь гулко ты в ночную тьму,
Но каждый твой загадочный рисунок
В себя вдохну, потом его пойму.

КАК ПУТНИК, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЬ НЕБЛИЗКИЙ,

Обозреваешь отчие места,
Чтобы вдоль улиц праздничных парижских
Полет услышать не шмеля — листа
Кленового, и Волгой станет Сена,
И зашумит внезапно березняк
Легко, азартно, просто, вдохновенно —
Не где-то далеко, а в двух шагах.
И сосны зашумят над головою,
Как будто снова с ними говоришь.
Услышишь ты, как псы сердито воют,
Но этот вой прощает им Париж.
Тот вой похож на русские метели,
Что по тайге проносятся стремглав,
Где белые застыли акварели,
Все остальные краски вмиг поправ.

КАК ХЛЕБНИКОВ ПИСАЛ, СОБОР ГРАЧЕЙ ОСЕННИЙ

На холст осядет твой, на снег настроив путь.
Уже в который раз ты обретишь спасенье,
И легкая печаль твою заменит грусть.
Любой творец — клошар, изгнанник из уюта,
Из самого себя задумчивый изгой.
Ты был самим собой — ты не менял маршрута,
Ты изводил себя обидой и тоской.
Правители — шуты, правительства нелепы.
Когда поет душа, и в такт карандаша
На чистый лист души ложится птичий лепет,
Как зимняя метель, преграды все круша.
Ты инеем писал и дождевой струею,
Ты Сене расписал и Волгу сохранил.
Ты до сих пор звенишь осеннею листвою,
Хоть снег давно твои виски запорошил.

СОВЕТОВАЛ КАМЮ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЛАДОНЬЮ

Шершавый край стены, чтоб прошлое понять.
А в памяти твоей леса рокочат болью,
Горит костер утрат и долго плачет мать.
Свободою горя, ты выбрал путь скитальца,
Не продавал талант, себя не предавал.
Ристалища судьбы в твоём мозгу теснятся,
Где угол вознесен и призрачен овал.
Твой плот несется вспять, а волны все страшнее,
Крапивою грозят шеренги прошлых лет.
А память, как петля, удавкой на шее.
Как камень тяжела, в ней никаких побед.
Твой плот несет вперед, и ты устало правишь.
Вновь на листе звучат колокола церковей.
И смотришь ты вперед, и тосковать не вправе,
И жизнь впритык к волне, и дышится вольней.

ТЫ СМЕЛО ЛИНИЮ ВЕДЕШЬ,

Надеясь на успех,
В нее уже впечатан дождь,
Уже мерцает снег.
И персонажей в ней не счесть,
Но все они светлы,
Ведь волны посылают весть
И Сены, и Невы.
О чем нам говорит платан,
О чем тоскует клен?
Айги уверен: ты — ТИТАН,
И не ошибся он.
Дубы твердят речитатив.
Ольха поет верлибр.
Но главное — рисунок жив,
Как Сена, Рейн и Тибр.

Рисунок Н.Д. Дронникова

Падают в землю каштаны...

* * *

Там, где зреют термидоры,
где текут густые реки,
где живут тореадоры
и играют солнцем греки,
Там, где реет профиль Данта,
где заря смыкает вежды,
там живут официанты,
подающие надежды.
Где сидят чужие люди
от Хусейна и Саддама,
там несут на спелом блюде
сны поэта Мальдештама...
...Там, где Родины не будет,
позовут на Страшный Суд,
и, как голову на блюде,
стих к обеду поднесут...

Вспоминание о городе

Какая бренность — жить и быть.
Выходит ночью из дворов —
и тут тебе звезда!
Там климат Персии родной
не кажется чужим,

там беспробудно спят леса,
готовые на слом.
Там ливней пенятся полки,
там летний свой полет
готовят с детства пауки
подоблачных высот.

Там ночь на улицах Москвы,
там Долгорукий князь
сидит на лошади литой
и жестом правит речь.

СОВЕТОВАЛ КАМЮ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЛАДОНЬЮ

Шершавый край стены, чтоб прошлое понять.
А в памяти твоей леса рокочат болью,
Горит костер утрат и долго плачет мать.
Свободою горя, ты выбрал путь скитальца,
Не продавал талант, себя не предавал.
Ристалища судьбы в твоём мозгу теснятся,
Где угол вознесен и призрачен овал.
Твой плот несется вспять, а волны все страшнее,
Крапивою грозят шеренги прошлых лет.
А память, как петля, удавкой на шее.
Как камень тяжела, в ней никаких побед.
Твой плот несет вперед, и ты устало правишь.
Вновь на листе звучат колокола церковей.
И смотришь ты вперед, и тосковать не вправе,
И жизнь впрыток к волне, и дышится вольней.

ТЫ СМЕЛО ЛИНИЮ ВЕДЕШЬ,

Надеясь на успех,
В нее уже впечатан дождь,
Уже мерцает снег.
И персонажей в ней не счесть,
Но все они светлы,
Ведь волны посылают весть
И Сены, и Невы.
О чем нам говорит платан,
О чем тоскует клен?
Айги уверен: ты — ТИТАН,
И не ошибся он.
Дубы твердят речитатив.
Ольха поет верлибр.
Но главное — рисунок жив,
Как Сена, Рейн и Тибр.

Рисунок Н.Д. Дронникова

Падают в землю каштаны...

* * *

Там, где зреют термидоры,
где текут густые реки,
где живут тореадоры
и играют солнцем греки,
Там, где реет профиль Данта,
где заря смыкает вежды,
там живут официанты,
подающие надежды.
Где сидят чужие люди
от Хусейна и Саддама,
там несут на спелом блюде
сны поэта Мальдештама...
...Там, где Родины не будет,
позовут на Страшный Суд,
и, как голову на блюде,
стих к обеду поднесут...

Вспоминание о городе

Какая бренность — жить и быть.
Выходит ночью из дворов —
и тут тебе звезда!
Там климат Персии родной
не кажется чужим,

там беспробудно спят леса,
готовые на слом.
Там ливней пенятся полки,
там летний свой полет
готовят с детства пауки
подоблачных высот.

Там ночь на улицах Москвы,
там Долгорукий князь
сидит на лошади литой
и жестом правит речь.

Где дождь обрызгал циферблат,
там в городе глухом
порос крапивой старый сад —
Калининский проспект.

Там сырость движется на юг,
навстречу злой зиме,
ее встречает хан Герей,
московский лютый князь.

Там под наркозом спит народ
До четырех утра,
пока побудку не пробуют
куранты с высоты.

Там дирижабли сопят во мгле,
там утренний парад
встречает маршал на броне
и объезжает полк...

Стена кремлевская хранит
венозной крови стук,
там запеклась под ногтем кровь
у Золотой Орды.

Там в Мавзолее спит Ильич,
Там лампочки горят,
в апрельских сумерках вожди
уходят с похорон.

И в Дом Союзов входит страх,
и большеусый вождь
в своих лиловых сапогах
по комнатам идет.

И он идет пока он врет,
ступая по ковру,

он ждет, пока не лопнет лед,
пока я не умру...

.....

Там на окраине дурдом,
где супом пахнет плоть,
где собирают металлолом,
Господь поможет нам...

Осенью. Утром въезжаю в город

...Утро, осень, автобус...
мокрые огоньки елозят за окнами,
в кровиночках семафорных город...
Влажная ночь поддыхает на крышах...
Сияющая звезда громоздится на горизонте,
зеленый осколок луны истекает рассветом,
бессильно лежит в деревьях...
мы пролетаем пекарни, спящие лавки,
водопроводные трубы, киоск, пустые скамейки,
асфальт без прохожих... Серый корпус роддома...
В огромном окне — ночной прием...
Обнаженные груди в сиреневых сумерках утра...
Изможденные щеки и шея, девочки-гимназистки.
Тени порока, бессонницы.
...Зуд и прыжки лошадей.
Белые ляжки девиц.
Воздух утра сбивают в сливочный полдень.
Рано еще. Сыро еще.
Падают в землю каштаны... Это октябрь.

* * *

Одесса, 1960

...Роса свежо обливала цинковые крыши...
Теплели камни, накапливая зарю...
Город ежился, отряхиваясь, обмирая
от предчувствий...

Шел рассвет, осторожно, неторопко.
Птицы неистово молчали.
Еще несколько шорохов, и они освищут
уходящую ночь...
Мокрая звезда громоздилась на горизонте.
Город сушил влажные крыши...
Кариатиды на Дерибасовской выгревали...
остывшие груди.
Сладко зевнула собака, обнажив глубокое,
теплое, розовое горло,
Чихнула и ритмично побежала
навстречу солнцу...

Дуфу с китайского

Все меняется, и я вместе со всеми...
Раньше
спертый запах толпы ударял мне в ноздри
пьянил кровью и потом,
и слабой надеждой на братство.
Гимны слагал ей,
звал всех за собой...
Нынче я огляделся:
дикая нынче толпа, страшна и безумна,
тонкой кистью моей
с ней не совладать.

СНЫ

На улицах крик — там стоят и судачат
Полиция, стужа, слова на морозе...
Соседи толкуют, толкаются, прячут
В подполы стихи, объясняются в прозе.

...Пожары! Старухи летают по крышам,
На рынках судачат, рядятся и судят.
Нет правды на свете! Но нету и выше,
И звёзды Халдеи мой лоб не остудят.

Пока на снегу не сошлись дуэлянты
И ягоды крови не выросли крупно, —
(Смеркается в три...) набегут пасквилянты,
Попрячутся в щели, в заборы и дупла...

...Как дует из времени! Так из квартиры
Выносят последнее алчные вору, —
Так мы, человечков стрелявшие в тире,
Теперь уподобились лающей своре

Собак... И не люди, а нелюди. Хватит!
Так наледи много на крышах и кровлях,
Не врезаться в утро — туман перехватит
Дыханье, и вновь торжествует торговля...



Видишь, я вовсе не плачу...

Одиноким приходит человек в этот мир,
И одиноким покидает его.
Экклезиаст

— Неправда! Вы лжете! Я знаю, я в связке!
Отец мой надежно страхует меня.
Держусь на отвесном, на скользком, на вязком
И сына страхую на нижних камнях.

Небритый шофер из соседнего дома
И старый учитель, вдовец одинокий,
Старинный приятель и новый знакомый,
Случайный прохожий и родич далекий.

Сестра, медсестра, методистка, историк,
Завскладом, заочница, зам. по науке,
Попутчик, путана, нахал, алкоголик
Я помню, однажды мне подали руку.

* * *

Кто хочет толкнуть, подтолкнуть или сбросить,
Пусть помнит: веревкой охвачены кисти,
И, связи порвав, — человечества оси —
Он сам над голодною бездной повиснет.

А если я дерну умело и сильно,
То может упасть парагваец плечистый.
Так падают нынче кроваво, обильно
В степях Украины, крутых и скалистых.

Ползет, шевелясь, человеческий невод
К слепящей вершине из черной траншеи.
Кто хочет один взгромоздиться на небо,
Пусть помнит: веревками стянуты шеи.

Эпитафия

Правнук правнуков наших, могил пилигрим.
Не хотим, чтобы текст оставался немым.
Вслух читай, чтоб казалось, сейчас говорим
Мы.

Пусть немного успели за много веков,
Но, мечты заготавливая про запас,
Мы придумали юных бессмертных богов —
Вас.

Все мы жили недолго и знали вперед,
Что в могилу детей уведем за собой,
Но мы дали им жизнь и продолжили род
Свой.

Чтоб взлетели взаправду Икар и Пегас,
Чтоб родился священный пророческий стих,
Чтоб загадки раскрылись. Пускай не для нас —
Для них.

Не кичись превосходством, прекрасный глупыш.
С дивной силой в руках и любовью в очах.
Ты на наших, поверь, миллиардных стоишь
Плечах.

В реку жизни нам дважды войти не дано.
Нас повыел, повылакал смертный недуг.
Здесь и ты, всемогущий, беспомощен. Но
А вдруг...

Киев

Я снова доверяю случаю...

Двери в небо

Кто распахнет мне двери в небо?
Подумаешь, какая небыль,
что мне навстречу только тучи,
ведь тучи, как и я, летучи.
Кто распахнет мне двери в счастье?
Скажите, в чьей же это власти?
А ты открой мне просто двери,
и я тебе тогда поверю.

Кто распахнет мне двери в небо,
чтоб смело я шагнула следом?
А то, что звезды мне навстречу,
наверно, я их не замечу.
Кто распахнет мне двери в счастье?
Скажите, в чьей же это власти?
А ты открой мне просто двери,
и я тебе тогда поверю.

Кто распахнет мне двери в небо?
Ах, мне бы высказаться, мне бы,
о том, как надоели тучи,
что тучи, как и я, летучи.
Кто распахнет мне двери в счастье?
Скажите, в чьей же это власти?
А ты открой мне просто двери,
и я тебе тогда поверю.

* * *

В длинном переходе
между облаками
кто-то тихо бродит
с сумками-веками.
Тяжела ли ноша,
мы решаем сами.
Новый век заброшен
между облаками.
Их пилот обходит,
если грозовые.
В длинном переходе
вдруг ветра завывли,
сквозняки вонзились
в частое дыханье...
Для чего возились
с сумками-веками?

Ожидание

Я пропиталась ожиданием,
я с телефоном обручилась,
не может быть, чтоб так случилось
на том единственном свидании.

Любовь моя, пока не спетая.
Мелодия пока не быстрая.
Когда же эту песню выстрадала?
Он далеко, а близко где-то я.

Не расставанье — расстояние
меня опять тревожит, мучает.
Я снова доверяю случаю,
благословляя ожидание.

Я пропиталась ожиданием,
я с телефоном обручилась,
не может быть, чтоб так случилось
на том единственном свидании.

* * *

Я нашла свои письма,
что муж сохранил для меня,
я нашла свои мысли,
я ими дышала полдня.
Я нашла пожелтевшую юность
на мятых клочках.
Я сидела над нею
в задумчивости и в очках...
Я хотела напомнить себе
о забытой себе.
Тень моя или я,
может, обе сейчас не в себе.

* * *

Облизало море языком колючим...
Захотело, видно, покусать, помучить.
Я ныряла в тучи, что застряли в море,
где опять смешались радость, жизнь и горе,
где опять смешались тишина и громы...
Я ныряла в песни, те, что не знакомы.
Я ныряла в думы. Я ныряла в души.
Только перед этим я заткнула уши.
Я ныряла в счастье, ничего не слыша,
не подозревая: это едет крыша.

Владимир ЕФИМЕНКО

То и се

ОН тихим убийцей вползает под шторы,
Крадется, касаясь развратницы Доры,
Что голая спит с захмелевшим соседом,
Который изрядно хлебнул за обедом,
А после он скользкой змеей подкольной
Ползет переходами в погреб холодный,
Где киснет капуста и плесень цветет,
А он продолжает стремиться вперед,
И пьяно петляя, пролазит в ограду,
Где шастает рынком, по рыбному ряду,
Срывая гвоздику, мяту и розу,
Хватив чебуреков летальную дозу,
Свернет за бензином в ближайший гараж,
Слегка зацепив нечистоты параш.

Бестактный, всеядный, но он не в ответе,
В углы и фасады запутанный Ветер.

* * *

А мне бы розовым фламинго
Лететь над зеркалом озер
Иль мотыльком над Сан-Доминго —
Неисправимый фантазер!

А может, гусаком на Тибре,
Заготовать мне, Рим спасая,
Иль безответственным колибри
Порхать меж листьев молочая?

А может, в дебрях Ориноко?
Не говоря уже о Крыме...
Так стало грустно, одиноко,
Подумал Мамонт, взял... и вымер.

* * *

Я нашла свои письма,
что муж сохранил для меня,
я нашла свои мысли,
я ими дышала полдня.
Я нашла пожелтевшую юность
на мятых клочках.
Я сидела над нею
в задумчивости и в очках...
Я хотела напомнить себе
о забытой себе.
Тень моя или я,
может, обе сейчас не в себе.

* * *

Облизало море языком колючим...
Захотело, видно, покусать, помучить.
Я ныряла в тучи, что застряли в море,
где опять смешались радость, жизнь и горе,
где опять смешались тишина и громы...
Я ныряла в песни, те, что не знакомы.
Я ныряла в думы. Я ныряла в души.
Только перед этим я заткнула уши.
Я ныряла в счастье, ничего не слыша,
не подозревая: это едет крыша.

То и се

ОН тихим убийцей вползает под шторы,
Крадется, касаясь развратницы Доры,
Что голая спит с захмелевшим соседом,
Который изрядно хлебнул за обедом,
А после он скользкой змеей подкольной
Ползет переходами в погреб холодный,
Где киснет капуста и плесень цветет,
А он продолжает стремиться вперед,
И пьяно петляя, пролазит в ограду,
Где шастает рынком, по рыбному ряду,
Срывая гвоздику, мяту и розу,
Хватив чебуреков летальную дозу,
Свернет за бензином в ближайший гараж,
Слегка зацепив нечистоты параш.

Бестактный, всеядный, но он не в ответе,
В углы и фасады запутанный Ветер.

* * *

А мне бы розовым фламинго
Лететь над зеркалом озер
Иль мотыльком над Сан-Доминго —
Неисправимый фантазер!

А может, гусаком на Тибре,
Заготовать мне, Рим спасая,
Иль безответственным колибри
Порхать меж листьев молочая?

А может, в дебрях Ориноко?
Не говоря уже о Крыме...
Так стало грустно, одиноко,
Подумал Мамонт, взял... и вымер.

* * *

Огни витрин, горящие стекляшки,
Я на манер ворон разинул клюв,
И я щипал француженок за ляжки,
Чтоб убедиться в том, что я не сплю.

* * *

Привет вам, дорогая мама!
Я Вам пишу в Червоный Кут.
Я был на родине Ван Дамма —
Не дохло люди там живут!

Восторг мой прежний — не уменьшен,
Был в супермаркете и рад:
Там вам не "На хрен!", а "Attention!"
Простые грузчики кричат!

* * *

В окне — отражение:
Глянул я просто,
И стал незнакомым
Родной перекресток:

Облупленный дом
Наподобие хлева,
Но он почему-то
Находится слева.

А где-то далеко
Дороги извил:
Неужто туда я
Направо ходил?

Лишь облако, мне
Незнакомое, бело,
Что даже зеркально —
И то надоело.

Какой-то мерзавец
Мне смотрит в глаза:
Стекло между нами:
Я — против, он — за.

* * *

Строкой дешевой незапятнан,
Я предан чистому перу,
Я — Гений. И ежу понятно,
Но я от скромности умру.



Объявление на столбе

"Потерялась собака, по имени "Саша".
Кто найдет, пусть накормит, согреет.
Для нее лучший завтрак — овсяная каша,
А от мяса с картошкой — болеет.

Она любит гулять, но в сухую погоду,
Если можно, то без поводка.
По утрам часто пьет охлажденную воду
До последнего в чашке глотка.

Очень редко рычит, на соседей не лает,
А скулит, когда возле нее — никого,
Когда хочется выть — вспоминает,
Что бывает и хуже того.

У нее нет болезней серьезных собачьих,
Благодарность и ревность — не в счет.
Только лгать ей не нужно, иначе
Она снова куда-то уйдет.

"Потерялась собака по имени "Саша".
Кто найдет, пусть накормит, согреет..."
Подпись смыло дождем, только "Искренне Ваша"
На листочке тетрадном синеет.

Размножение личности

Мне так хотелось вечно жить,
Что я жил сразу много жизней.
Жаль только, не дадут попить
Вина на их совместной тризне.

Странности...

...монетаризма

На новых банкнотах появится подпись: "Минздрав предупреждает: занятие бизнесом в нашей стране может нанести неограниченный ущерб вашему здоровью".

...топонимики

В честь Коньяка, Шампанского, Текилы — уже давно названы города. Даже в честь минералки называют. Когда же до водки очередь дойдет?

...хорошего тона

Заходя в незнакомый ресторан, не стесняйтесь смотреть в тарелки посетителей. Учитесь на чужих ошибках.

...скромности

Каждому, кто говорит Жванецкому, что он живой классик, Михаил Михайлович дарит ощущение первооткрывателя.

...кинематографа

Посмотрев десяток криминальных сериалов, иностранец понял, что в стране есть две милиции. Одна — героическая, добрая и отзывчивая, вторая — трусливая, продажная и подлая. Он только не мог понять, почему обе одинаково одеты?

...эволюции

Все рыбы харасии, обитающие на коралловых рифах, рождаются женского пола. С возрастом или под влиянием стресса часть из них становится — мужского. Нечто подобное случается у некоторых видов ящериц и людей...

...фондового рынка

В Москве, в центре, в десяти шагах от Таганского переулка, на склоне стоят полуразвалившиеся дома, покинутые людьми. Возле них кучи бытового мусора. На стене одного из них яркой краской выведено: "Билл Гейтс — мудака".

На следующий после появления этой надписи день курс акций "Microsoft" растерянно остановился, постоял два дня, ничего не понял и продолжил подъем.

ЖИЗНЬ — ИСКУССТВО — ЖИЗНЬ

...трудоголизма

"Найди себе занятие по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в жизни", — цитировал Конфуция на пресс-конференции известный порноактер.

...любви

Честные люди не любят нечестных, а нечестные, наоборот, любят честных. Ну не себя же им любить.

...рынка

Выбор мал — тот, кто не торгует телом, продает душу.

...воображения

...Многолетняя работа над романом "Вождь и вошь" принесла автору хронический педикулез и постоянное путание в употреблении местоимений "я" и "мы".

...физиологии

Разуму, как и желудку, для освобождения от мыслей необходимо уединение...

...профессии

Побывав на экскурсии в Фермопилах, сексопатолог записал в дневнике: "Один удачно расположенный клитор может изменить ход мировой истории..."

...селекции

Есть женщины, которым не нравятся самоуверенные мужчины. Есть мужчины, которым не нравятся незащитные женщины. Образовав семью, эти два вида меняют воззрения на противоположные и, как правило, живут долго и счастливо.

...досуга

Криминалисты любят составлять автофотороботы.

А.Н. Стилиануди. "Воспоминания об одном
очаге культуры в старой Одессе"
Публикация Виталия АБРАМОВА 152

Ольга БАРКОВСКАЯ
Общество независимых художников
в Одессе 166

Олег ГУБАРЬ
"И откроется море..." 174

Валентин МАКСИМЕНКО
"Живая связь времен" 176

Сергей ЛУЩИК
Обнаружена неизвестная картина
Леонида Пастернака 182

К 60-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОДЕССЫ
Роман БРОДАВКО
Три года с мечтой об Одессе 187

Наталья ПОЛИЩУК
"Во мне болит все человеческое" 195

Елена КОЛТУНОВА
Кредо, сконцентрированное
в творчестве 206

Белла ВЕРНИКОВА
Из нового "Разговора с автоответчиком" ...214

А.Н. Стилиануди "Воспоминания об одном очаге культуры в старой Одессе"

Предлагаемые вниманию читателей "Воспоминания об одном очаге культуры в старой Одессе" принадлежат перу одесского художника-пейзажиста и педагога Александра Николаевича Стилиануди (1868-1948). Исключая многочисленные упоминания о нем в справочной искусствоведческой литературе, до последнего времени не было попыток обстоятельного исследования его биографии и особенностей творчества. В значительной мере этот пробел был восполнен в статье о Стилиануди, опубликованной О. Барковской в недавно вышедшей книге "Кириак Костанди и художники-греки в Одессе".

"Воспоминания" посвящены периоду обучения молодого художника в Одесской рисовальной школе,

куда он поступил в 1885 г. после окончания греческого коммерческого училища. Многие, ставшие впоследствии известными мастерами, выпускники школы в разное время оставили о ней свои, неизменно теплые воспоминания. Из опубликованных назовем хотя бы воспоминания Л.О. Пастернака, П.М. Дульского, В.И. Полякова, И.И. Бродского. Список легко можно продолжить. Собранные вместе, они могли бы составить своеобразную эмоциональную, живую историю этого известного всей России учебного заведения. "Воспоминания А. Стилиануди", таким образом, совершенно естественно вписываются в историко-хронологическую канву, дополняя ее многими интересными фактами.

К середине 1880-х гг. школа имела уже определенные традиции и успехи в подготовке профессиональных художников. Один показательный факт — согласно Отчету школы за 1883 г. ряд ее воспитанников (только одного выпуска!) продолжили свое образование в Петербургской Академии художеств (шесть учеников, в их числе известный



А.Н. Стилиануди

впоследствии пейзажист Г.С. Головков); в Московском училище; в академиях художеств Вены, Флоренции, Милана, Парижа, Мюнхена (три ученика, в том числе художники Л.О. Пастернак и С.Я. Кишиневский). Вместе с тем время учебы А. Стилиануди совпало со стремительным реформированием школы. Инициаторами преобразований были профессор Новороссийского университета Н.П. Кондаков (в начале 1885 г. временно исполнял обязанности директора школы, а затем, до 1888 г. руководил общеобразовательными классами) и выпускник Академии художеств Г.А. Ладыженский, приглашенный в 1884 г. преподавать в гипсово-фигурном классе. В результате школа была приравнена к среднему учебному заведению и начала систематически финансироваться Академией, обучение стало системным и велось по новым программам, а с 1886 г. ученики школы получили право поступать в Академию без экзаменов. Многие из бывших педагогов старшего поколения были уволены. Сейчас трудно оценить все плюсы и минусы этих новшеств, но, к примеру, Л.О. Пастернак, учившийся в школе до реформ, в своих воспоминаниях "Записи разных лет" отмечал, что с реформами в школе установились "мертвящая рутина и казенщина".

Рукопись имеет два варианта — разрозненные черновые листы и окончательный текст, что свидетельствует об ответственности, с которой автор подходил к задаче. Рукопись не датирована, но время ее написания легко устанавливается по строке текста: "58 лет тому назад... я поступил в художественное училище...". Таким образом, воспоминания были написаны в 1943 г. в оккупированной Одессе. Как и многие другие художники, оставшиеся в городе, Стилиануди в 1942 и 1943 годах участвовал своими произведениями на двух организованных румынскими властями выставках "Salonul Oficial" и в эти же годы преподавал в Академии изящных искусств.

Основная часть рукописи предварена коротким вступлением, из которого видно, что это доклад А. Стилиануди для небольшого круга художников и любителей искусства. Там же отмечено, что автор хотел поделиться с аудиторией своими воспоминаниями о деятельности ТЮРХ, однако началом такого доклада должна быть глава об Одесской рисовальной школе. Это наталкивает на мысль, что, возможно, существовала и вторая часть рукописи — именно о деятельности ТЮРХ, — которая, к сожалению, пока не обнаружена. Маленький фрагмент из воспоминаний Стилиануди опубликован в книге А. Шистера "Кириак Константинович Костанди". Там же отмечено, что рукопись Стилиануди находилась у дочери К.К. Костанди, С.К. Костанди. Таким образом, текст рукописи публикуется впервые.

Приносим благодарность дирекции Национального художественного музея Украины и сотруднику музея Л. Амелиной за возможность ознакомления с материалами фонда А.Н. Стилиануди.

Виталий АБРАМОВ

* * *

Как известно, основателем Одесского общества изящных искусств и рисовальной школы при нем в 1865 году был архитектор-итальянец Франц Осипович Моранди¹, приехавший в Одессу в 40-х годах. Вот что говорит о нем Александр Де-Рибас² в фельетоне Одесского листка 13 июня 1915 года: "Это был удивительный по натуре человек. Весь огонь, фантазия, увлечения и... наивность. Вечно суетившийся, обо всем и о всех беспокоившийся... благодаря своей живости, добродушию и неиссякаемому оптимизму был искренне любим всеми. Это... дало ему возможность совершить чудо — объединить в одном кружке почти все разрозненные силы Одессы в области искусства. Когда открылась эта школа, первыми преподавателями были Мальман³, Хойнацкий⁴, братья Бони⁵, Плис⁶ и др., первый директор Мальман сказал Моранди в ответ на его поздравления с началом дела: "Школа-то у нас есть. А будут ли в ней ученики?". Де-Рибас говорит далее, что все эти учителя сами создавали себе учеников, открывая таланты совершенно не подозревавших о том одесситов и привлекали их в свои рисовальные классы. Известно, что были учреждены даже особые воскресные классы для бесплатного обучения детей членов Общества.

Моранди умел создавать для своей школы не только учеников, но и учителей. Он привлек к преподаванию знаменитого впоследствии Вилье де Лиль Адана⁷, служившего тогда в одесском жандармском управлении и занимавшегося в часы досуга писанием картин акварелью. "Помилуйте, — сопротивлялся Вилье уговариваниям Моранди, — как я буду обучать других, когда я сам никогда не учился?" — "Ничего, — отвечал Моранди. — Вы будете учиться, обучая".

Рассказывают, что когда в восьмидесятых годах привезли из Италии в Одессу тело усопшего Моранди, первого вице-президента Одесского общества изящных искусств, то ученики рисовальной школы, успевшие по-



Ф.О. Моранди

забыть о ее первом строителе, не особенно охотно собирались идти на пристань для встречи усопшего. Это глубоко возмутило друга Моранди, преподавателя школы, старика итальянца, скульптора Иорини⁸, который, придя в класс, закричал на своем ломаном русском языке на учеников: "Бестии! Не буль Моранди, не буль ты. Ступай на пароход!". Вот это "Не буль Моранди, не буль ты" следовало бы (говорит Де-Рибас) начертать золотыми буквами на фронтоне здания нынешнего художественного училища, преобразованного из скромной рисовальной школы...

Мои воспоминания

58 лет тому назад я 17-летним юношей поступил в 1885 году в художественное училище Общества изящных искусств, вернее, еще тогда Рисовальную школу. Весной я по окончании средней школы отправился наводить справки о поступлении туда в старое здание, находящееся на Нежинской или Коблевской улице, а осенью я был принят в новое помещение, построенное по проекту Моранди. Там я вступил в реформированную школу, куда были приглашены новые преподаватели: Костанди⁹, Попов¹⁰, Ладыженский¹¹, и из старых остался Иорини. Застал я в школе два поколения учеников. О стариках, поступивших в нее до преобразования, следует особо поговорить. Это были Гарманин¹², Дзерковский¹³, Прохоров¹⁴, Остроменский¹⁵, Бендель¹⁶, Вальтух¹⁷, Бортникер¹⁸ и другие.

Гарманин поражал нас, юношей, своими шедеврами. Он ходил в плаще и широкополой шляпе, носил эспаньолку и у него был перебитый нос, как у Микельанджело. Он свободно писал целые картины-отсебятины и поражал нас, неискушенных юношей, своими шедеврами. Один из них я как сейчас помню. Покойник в гробу, и над ним склонилась женская фигура. Все это было трогательно, но, как я постиг только впоследствии, было дешево и халтурно. Он, между прочим, с друзьями-любителями выпивал по секрету фиксатив на спирту, который заготавливал Иорини для фиксирования рисунков своих учеников и хранил на шкафу в классе.

Другой интересный тип был такой же великовозрастный, но благородный бедняк-народник Дзерковский. Он не носил нижнего белья и часто сквозь прорванную одежду сквозило до неприличия его грешное тело... Но он не унывал: много философствовал, был мучеником искусства, и хотя любил его до самозабвения, но не пользовался никакой взаимностью.

Самым успевающим в школе до периода реформы ее был Адольф Остроменский. Но то, что он делал, было так же ловко, как и неубедительно, и его поздно, да и невозможно было перечислять. Он уехал скоро в Акаде-

мию и там тоже успел нахватать медалей. Он быстро писал огромных натурщиков. Был красив, общителен, много говорил и прибавлял небылиц в своих рассказах, как и отсебятины в своей живописи. Он был добродушным безвредным вралем, каким бывают часто охотники, но он никогда не клеветал. Мы часто заводили его, и он рассказывал неиссякаемые эпизоды своей жизни. Мы, тогда уже созревшие в понимании искусства, подтрунивали над ним.

Я помню, какую злую проделку совершили наши проказники: уезжая на каникулы из Академии, он оставил свертки своих холстов с натурщиками на хранение товарищам. Один из его товарищей, проделавший в холсте отверстие, где находился рот натурщика, ходил по вечеринкам к приятелям академистам и, между другими шутками, показывал живые картины. Двое держали по бокам огромный холст с изображением нагого натурщика, а третий, становясь за холстом, просовывал сквозь отверстие свой язык и вертел им в разные стороны. Первый дебют, помню, произошел на квартире одного из наших проказников, где во дворе против его окон находилось окно кухни другой квартиры. И вот одна дородная мамка оттуда частенько поглядывала на окно академистов и переговаривалась с ними знаками. Ей-то и показали впервые эту картину.

Кроме Остроменского к старшему поколению относились действительно талантливые юноши — Бортникер, Вальтух и Бендель. В особенности первый. Он у Костанди выделялся и написал несколько колоритных голов. Но все эти юноши не проявили себя впоследствии и исчезли из поля зрения, не оставив следа.

Среди моих коллег в школе были перезрелые девицы: Фревиль¹⁹, Виноградова²⁰, Болеславская²¹. Эту последнюю наши повесы изводили своими проказами. Женщины в натюрмортном классе занимались отдельно от нас, так как их там было много, но при переходе на рисунок с женской натуры они работали с нами. И вот наши оболтусы, под предлогом, что жарко, начинали сбрасывать свои пиджаки и перекидывались двусмысленными анекдотами. Конечно, это все происходило в отсутствие преподавателя. Шумные были вечера при возвращении домой. Был один затейник (Сарпани): он вдруг, как бы споткнувшись, падал под ноги гуляющим на Дерибасовской девам и производил в их рядах переполох. Более степенные из нас друзья провожали друг друга до дома, и все это в бесконечных спорах и мечтах об искусстве. Хорошие также были дни экзаменов по работам. Мы утром расставляли свои работы на мольбертах, когда должен был проходить обход Совета для выставления номеров. У нас в натурном

классе в нише стояла большая программа Макарова²², которая теперь в музее, "Воскрешение дочери Иаира". Мы приподымали ее и пропускали за нее одного из наших товарищей, который должен был в течение нескольких часов, пока шел просмотр, выслушивать мнения членов Совета о каждом из нас. Мы же отправлялись пить пиво к Иозефу Вервагу в пивную на Полицейской улице или к Брунсу. Там я впервые постиг пикантную прелесть бенедиктина и рокфора. Оттуда мы шли в школу и заполняли лестницу в ожидании пропуска, по окончании экзамена, в классы. Это повторялось неоднократно, и только когда мы стали самостоятельными художниками, поведали об этом Кириаку Костанди. Он благодушно посмеивался сквозь свои усы, но не возмущался, сознавая, очевидно, как

нам было интересно мнение наших учителей о нас.

Незабываемым осталось для нас посещение нашей школы Николаем Николаевичем Ге²³. Будучи проездом в Одессе, он посетил нашу школу. Это было днем. Он зашел в натурный класс, ученики писали голову натурщика и никто не обратил на него внимания. Ге был другом и последователем Льва Толстого, одевался просто и скорее походил на мастерового. Костанди отсутствовал, да и директора А.А. Попова не было в школе. Ге



Н.Н. Ге

подошел к ученику Василию Домашеву²⁴ и стал его укорять, что он пишет, предварительно сделав контур головы. "Что вы, точно по канве вышиваете. Так не следует делать!" У старика руки зачесались, он взял у Домашева палитру, которую тот неохотно ему вручил, и на всякий случай спросил: "А кто вы такой?" — "Я художник Ге", — ответил Н.Н. И начал, конечно, бойко писать голову натурщика. Ученики восторженно окружили его, а практичный Васька Домашев (сын монаха) попросил Ге, чтобы он подписал этюд, быстро сообразив, что это составляет материальную ценность. Ге подписал, а мы были возмущены выходкой Васьки.

Когда Ге ушел, по всей школе разнеслось о происшедшем. Все ждали, что он придет и вечером, когда будут рисовальные классы. Так оно и случилось. Ге явился, и тут его встретили все: был и К.К. Костанди, и Попов,

и Н.П. Кондаков²⁵, и началась дискуссия. Наши стали ему доказывать, что начинающим рано писать без предварительного контура. Во всяком искусстве необходимо достижение технического успеха. Музыканты бесконечно упражняются в игре этюдов. Невозможно художнику начинать с конца, сам Ге прошел долгую упорную школу. Этого нельзя миновать. Конечно, Ге увлекался учением Толстого. Его приперли к стене и завязался жаркий спор. Мы, молодежь, конечно, были на стороне Ге из собственного нам чувства протеста. При выходе из школы толпа учеников чуть не на руках вынесла Ге и провожала его до дома, привлекая всеобщее внимание прохожих.

Младшее поколение

Одним из талантливейших младшего поколения был красавец юноша, брюнет цветущего вида, Мартос²⁶. Исключительный колорист, несомненно, благотворно влиявший на всех нас. Как рождаются музыканты с абсолютным слухом, так и художники, которые инстинктивно чувствуют тончайшие нюансы тонов. Он в бликах постигал ясно спектр. Он был с причудами и писал все одной широченной кистью и освобождал ее от предыдущего тона не тряпкой, а обволакивал в белила. У него впервые появилась огромная палитра, и он все свои скудные средства тратил на краски. Рисовал он также своеобразно. Из множества угольных штрихов и пасов постепенно выявлялись формы натурщика, как из тумана. Костанди, относящийся всегда терпимо к своеобразной манере ученика, поглядывал косо на эту манеру рисования, и когда из этого у него ничего не вышло, сделал ему строгое внушение и потребовал строгой, четкой штудировки. Бедный Мартос покончил свою жизнь в больнице для душевнобольных. На его взвинченную чувствительность повлиял случай с одной особой в Петербурге, которая жила по соседству с ним и бросилась из окна. Он стал проявлять ненормальность, вернулся в Одессу, и его отправили в больницу.

О других моих сверстниках по школе и Академии можно много порассказывать. Во-первых, о благополучно здравствующих Е.О. Буковецком, П.А. Нилусе, Б.И. Эгизе, Х.С. Чернявском²⁷ и об отошедших в лучший мир: Т.Я. Дворникове, Н.Н. Лепетиче, В.Ф. Кореневе²⁸ и других, но я отложу это до другого раза, когда буду говорить о южнорусских художниках.

Мои учителя

В 1885 г. в I классе моим преподавателем был Геннадий Александрович Ладыженский²⁹. Рисовали там геометрические тела и простые натюр-

морты. Он же вел и в старших группах, т. е. когда ученик переходил в гипсово-фигурный класс, живопись натюрморта. Личность Ладыженского



Г.А. Ладыженский

оригинальная, интересная и колоритная. Крайне нервный и всегда подозрительный, он смотрел исподлобья; но это был талантливый художник и один из лучших русских акварелистов. В Петербурге его акварели поражали своей свежестью и своеобразной техникой и сильно отличались от шаблонных, манерных и благополучных работ других художников. Сплоченная братия петербургских акварелистов загоняла его работы в верхние ряды выставки, где их нельзя было хорошо видеть, выставки эти устраивались на Б. Морской в Обществе поощрения художников. В нем видели опасного

конкурента, а торговля там шла бойкая. В первый же день открытия ее посещал государь, а за ним вся придворная аристократия, которая раскупала работы своих любимчиков — модных художников.

Какой он был своеобразный, можно заключить из следующего. Недавно я читал какого-то художника, если не ошибаюсь, Нестерова³⁰, сверстника Ладыженского, там промелькнула такая заметка о том, как студент академии Ладыженский подал своему профессору Плешанову³¹ эскиз "Христос у Марии". Этот оригинальный юноша изобразил на первом плане веранды, обвитой виноградом, двух дерущихся обезьян, а группу Христа и женщин поместил в глубине эскиза. Ну и досталось же бедному Ладыженскому! Он получил такой реприманд от академического профессора за такую трактовку сюжета, что ему не поздоровилось.

Ладыженский был страстным коллекционером старины, и его холостяцкая квартира, на дверях которой висел огромный замок на железной перекладине через всю дверь, как у какого-нибудь склада, была завалена всевозможными раритетами. Тут можно было видеть старинные Евангелия и образа, и рыцарские доспехи, и бронзу, и фарфор, и все это он пополнял, уезжая к себе на родину в Кологрив, проезжая через Москву, где на рынках выискивал диковинки. Да и у нас в Одессе, на толкучем рынке, он с чутьем фокстерьера умел находить интересные вещи.

Ладыженский был неровным в обращении с человеком, у него бывали приливы и отливы дружбы. То он зачистит к покойному К.К. Костанди, то несколько месяцев не показывается. "Вероятно, его чем-либо обидели или, вернее, ему так показалось", — говорил Костанди. Со мной у него случился такой инцидент: Встретившись с ним на одной из наших выставок южнорусских художников, я ему поклонился, а он смотрит на меня исподлобья и говорит: "Что же вы теперь мне кланяетесь, а раньше, в дру-



К.К. Костанди. Шарж М. Линского

гих залах, когда вы проходили со своими дамами, вы меня не замечали?!". Я опешил и говорю: "Да помилуйте, Г. А., я только что пришел на выставку и ни в каких других залах еще не был". Что же оказывается? Моим двойником оказался мой младший брат³², который пришел на выставку с женой, и, не будучи знаком с Ладыженским, естественно, ему не поклонился. Когда я, через несколько минут после этого, встретивши брата, догадался в чем дело, я догнал Г. А. и объяснил ему его ошибку, он виновато улыбнулся, но не извинился.

Молодого художника Бортникера, который в бытность свою в школе подавал надежды и которому благоволил Ладыженский, он пригласил к себе домой и стал ему показывать свои работы, раскрывши большую папку; Бортникер по простоте душевной, а вернее, по самоуверенности и бестактности, стал в некоторых работах указывать на недостатки. Щепетильный Г. А. посмотрел на него сверху вниз, ничего не сказал, отошел от него и стал смотреть в окно. Этим совсем недвусмысленно дано было понять, что аудиенция окончена. Бортникер постоял, постоял и ушел.

Ладыженский преподавал в I классе геометрические тела и натюрморт тушью, а в IV классе — натюрморт красками. Он имел своих любимчиков, к которым чаще подходил и даже поправлял их работы, не ограничиваясь одними указаниями. Одним из таких был племянник Николая Корнеевича Бодаревского³³, Вадим Морозов³⁴. Он удивительно передавал локальный цвет предмета, если можно так сказать, с фотографической точностью, но не чувствовал нюансов, переливов колорита. Он, между прочим,

неплохо сооружал сам яхты. Г. А. подолгу выдерживал в своем классе талантливых учеников, накапливая для ученической выставки их работы, и только когда он замечал, что ученик начинает уже давать работы сильнее, он переводил его в следующий класс, где преподавал Костанди живопись с живой натуры: сначала головы и фигуры в одеждах, а затем целой обнаженной фигуры.

Но Ладыженский не угнетал своих учеников, не навязывал им свое "я", хотя иногда, в начале своей преподавательской деятельности, говорил с возмущением, запинаясь: "Я не вижу у вас на палитре битума!". Когда-то он был приверженец этой красивой, но вредной асфальтовой краски. Впоследствии он отрекся от нее.

Помню, как-то зашел в наш натюрмортный класс профессор Никодим Павлович Кондаков — знаток византийской живописи. Он был представителем от Академии в нашей школе. Ладыженский показывал ему наши работы и особенно гордился, что каждый пишет по-своему, и это было действительно так.

Ладыженский говорил часто: "Вы мне на... пи... ши... те травинку, травинку! И я скажу, что вы художник".

Все же он не любил, когда с ним не соглашались. Помню, как-то раз мы писали довольно сложный натюрморт. На аналое стоял образ в окладе под стеклом перед лампадкой красного стекла. Отражение на нижней половине образа имело еле уловимый красноватый нюанс, а верхняя половина была залита тепловатым огоньком света. Ладыженскому что-то не понравилось в исполнении, и он стал ему [ученику] указывать, что он якобы неправильно преломляет отражение в стекле образа. Ученик был завзятый юноша. Подошел к образу, приподнял лампадку и наглядно показал, как изменилось отражение. Ладыженский скривился от неудовольствия, убедился, что был не прав, но зато долго игнорировал этого ученика и не подходил к нему.

Иногда Ладыженский отпраплялся с нами за город на этюды и сам тоже писал. Его замечания были кратки, но метки. Один ученик впадал в черноту на пленере. Ладыженский подошел к его этюду, ухмыльнулся и вымолвил одно только слово: "брюне... е... точка".

Скульптор Луиджи Иорини

Во втором классе, куда я перешел из класса геометрических тел, преподавал рисунок с гипсовых орнаментов Луиджи Иорини. Это единственный учитель, перешедший из старой дореформенной рисовальной школы

в новую, которого вызвал в Одессу преподавать скульптуру его компатриот Франц Иосифович Моранди. Это был высокий, коренастый и крепкий миланец, типа художников итальянского Возрождения. По виду он казался суровым, никогда не улыбающимся стариком, но на самом деле он был добродушным, душевным и отзывчивым человеком. Ученики его любили и уважали и нередко в трудные минуты обращались к нему по мелким денежным займам. Он никому никогда не отказывал в этом, но некоторые забывали возвращать ему долг.

Ровный в обращении как с сильными мира сего, которые его радушно принимали, так и с простыми людьми. Зимой он через весь двор шел на занятия в школу без пальто и шапки. Обедать ходил в находившийся поблизости трактир "Золотой якорь" и там требовал на ломаном русском языке.

По праздникам и по воскресеньям его звали к себе на обед богатые negociants — итальянцы Анатра³⁶ и др.

Он поощрял нас побольше работать с натуры и нередко, когда замечал, что ученикам прискучили гипсы, говорил: "Возьмите ящики и кисти и идите писать этюды".

Большой последователь реализма, в особенности в портрете (он оставил превосходные бюсты в мраморе генерал-губернатора Одессы Коцебу³⁷, городского головы Г.Г. Маразли³⁸, negocianta Федора Родоканаки³⁹. Очень жаль, что они, кажется, исчезли). В остальных своих работах он был приверженцем идеальной красоты, что видно в его фигуре "Душа" и др.

Так, когда одна из его юных учениц в школе при копировании в глине бюста Венеры Медицейской, увлекаясь, преувеличила в размере девственную грудь богини, Иорини с отеческой простотой изощренными пальцами и воскликнул: "Посмотри на себя и посмотри, как работают за границей!".

Он вообще был откровенен до наивности. После своего юбилея, он всем, почитавшим его, раздал свои фотографии с благодарственными автографа-



Л.Д. Иорини

ми. Они были двух размеров. Кабинетные и визитные. Ученикам он раздал визитные, но одной ученице, А.П. Гонзаль⁴⁰, которая при чествовании преподнесла ему букет роз, он дал большую фотографию. Ее подруга, увидев у Гонзаль кабинетную фотографию, стала просить Иорини, чтобы он и ей дал такую же. Иорини ответил ей: "Но Гонзаль ведь вручила мне цветы!..".

Во время его смерти я был в Петербурге в Академии и не видел, как его хоронили, но от товарищей впоследствии узнал, что многочисленные его настоящие и бывшие ученики и поклонники устроили торжественные похороны, и я видел, какой ему воздвигли памятник на кладбище, где была выставлена большая его фотография, на которой он был запечатлен с учениками и друзьями. К сожалению, какие-то варвары разбили фарфор фотографии.

Академик Александр Андреевич Попов

После двух месяцев моего пребывания во втором классе я за вторую мою работу был переведен в третий, головной класс, где рисовали гипсовые головы. Классом руководил А.А. Попов. Он прошел курс Академии блестяще и вышел на конкурс одновременно с Репиным и Макаровым. Писал на тему "Воскрешение дочери Иаира" и получил большую золотую медаль с поездкой на три года за границу, на что выдавалось 10 тыс. рублей. Впоследствии он получил звание академика и был Академией назначен директором Одесской рисовальной школы.

Женился он в Одессе на миловидной девице Голимбиовской и погрузился в тишину обывательских будней. Он, как уроженец центральной России, прельстился красотой нашего моря и принялся часто изображать его. Но эти его попытки не трогали нас — художников, однако средняя публика раскупала охотно эти его произведения, благо он их ценил не дорого — десятками рублей.

Многочисленная семья требовала большого бюджета, и он стал писать образа для церквей, что у него шло недурно, благодаря гладкости его письма и академической ловкости.



А.А. Попов

В общем незадачливый художник, он все же был хорошим преподавателем в гипсово-головном классе. Попов учил нас пропорциям и моделировке. Тогда голову ставили на целый месяц и рисовали по два часа ежедневно, кроме субботы, когда не было послеобеденных занятий. Он любил говорить о длине и ширине, а при тушевании требовал тщательной лепки и моделировки и, указывая на свою нервную руку, показывал на ней нюансы полутонов.

Примечания

¹ Моранди, Франческо (Франц) Иосифович (1811-1894) — архитектор, в Одессе работал с 1839 г. С 1845 г. — академик архитектуры.

² Де-Рибас, Александр Михайлович (1859-1937) — историк, литератор.

³ Мальман, Фридрих Фридрихович (1821-1879) — художник-портретист. Учился в Мюнхене.

⁴ Хойнацкий, Ромуальд (Иосиф Петрович) (1818-1885) — портретист и религиозный живописец. Учился в Варшаве.

⁵ Братья Бони — Петр и Цезарь (Чезаре) — художники из Милана, преподавали в ОРШ до 1885 г.

⁶ Плис, Семен Елизарович (1818-1879) — портретист. Учился в Петербургской и Миланской академиях художеств.

⁷ Вилье де Лиль Адан, Эмилий Степанович (Самойлович) (1843-1889) — акварелист, художник-самоучка. Получил в АХ звание классного художника. Преподавал в ОРШ в 1886-1889 гг.

⁸ Иорини, Луиджи Доминикович (1817-1911) — скульптор. Учился в Миланской АХ.

⁹ Костанди, Кириак Константинович (1852-1921) — живописец. Преподавал в ОРШ с 1885 г.

¹⁰ Попов, Александр Андреевич (1852-1919) — живописец. Директор ОРШ в 1885-1917 г.

¹¹ Ладыженский, Геннадий Александрович (1853-1916) — живописец, акварелист. Преподавал в ОРШ в 1884-1914 г.

¹² Горшанин — ученик ОРШ.

¹³ Дзерковский, Иосиф — ученик ОРШ с 1880 г.

¹⁴ Прохоров — ученик ОРШ.

¹⁵ Остроменский, Адольф Адольфович (1863-?) — живописец. Учился в ОРШ в 1880-1887 г. В 1889-1894 гг. — в АХ.

¹⁶ Бендель, Эмилий Сигизмундович (1870-1948) — живописец, окончил ОРШ в 1887 г. Учился в Мюнхене у Ш. Холлоши и в Париже у Р. Жюльена.

¹⁷ Вальтух — учился в ОРШ. В 1890 г. участвовал в первой выставке ТЮРХ.

¹⁸ Бортникер, Давид Иванович (1876-1925) — пейзажист. Учился в ОРШ в 1883-1888 гг. В 1888-1894 — в АХ.

¹⁹ Фревилль — соученица А. Стилиануди по ОРШ.

²⁰ Виноградова, Прасковья — училась в ОРШ с 1881 г.

²¹ Болеславская — соученица А. Стилиануди по ОРШ.

²² Макаров, Евгений Кириллович (1842-1884) — портретист, писал картины на религиозные темы.

²³ Ге, Николай Николаевич (1831-1894) — исторический живописец, портретист. Согласно воспоминаниям И.Е. Репина (см.: "Далекое-близкое". М.-Л., 1964) Н.Н. Ге в 1887 г. приезжал в Одессу к своей сводной сестре и посетил Одесскую рисовальную школу. И. Репин описывает этот эпизод.

²⁴ Домашов, Василий — учился в ОРШ с 1883 г.

²⁵ Кондаков, Никодим Павлович (1844-1925) — историк искусства, академик.

²⁶ Мартос, Сергей — ученик ОРШ с 1883 г.

²⁷ Буковецкий, Евгений Иосифович (1866-1948) — живописец, учился в ОРШ в 1887-1890 г.; Нилус, Петр Александрович (1869-1943) — живописец, график, литератор; Эгиз, Борис Исакович (1869-1946) — живописец.

²⁸ Чернявский, Хорлампий — учился в ОРШ с 1883 г.

²⁹ Дворников, Тит Яковлевич (1862-1922) — живописец, учился в ОРШ в 1889-1891 г.; Лепетич, Николай Николаевич (1866-1921) — акварелист, литератор. Учился в ОРШ в 1886-1890 г.; Коренев (Новороссийский), Вячеслав Федорович (1868-1928) — живописец. Учился в ОРШ в 1886-1889 г.

³⁰ В доступной нам литературе о М.В. Нестерове этот факт не обнаружен.

³¹ Плешанов, Павел Федорович (1829-1882) — исторический живописец. Профессор АХ с 1869 г.

³² Брат А. Стилиануди — Константин Николаевич Стилиануди — банковский служащий.

³³ Бодаревский, Николай Корнелиевич (1859-1921) — живописец.

³⁴ Морозов, Вадим Львович (1867-1940) — живописец, пейзажист. Учился в ОРШ в 1886-1887 г.

³⁵ Анатра — семейство одесских купцов, предпринимателей, общественных деятелей.

³⁶ Коцебу, Павел Евстафьевич (1801-1884) — граф, новороссийский генерал-губернатор.

³⁷ Маразли, Григорий Григорьевич (1831-1907) — предприниматель, общественный деятель, меценат. Городской голова Одессы с 1880 по 1895 г.

³⁸ Родоканаки, Федор Павлович (1797-1882) — банкир.

³⁹ Гонзаль, Анна Петровна — ученица ОРШ. Впоследствии музейный работник.

Публикация Виталия АБРАМОВА



Общество независимых художников в Одессе



Рис. Sigismund'a (С. Олесеви́ча) из журнала "Бомба". 1918 г.

Начало XX века — время революций не только социальных, но и культурных, время ломки устоявшихся канонов и бурного рождения в европейском искусстве всяческих измов: фовизма, кубизма, экспрессионизма, абстракционизма и т. д. Не остались в стороне от этих поисков и российские художники, прежде всего, столичные. В Москве и Петербурге шумели кубофутуристы, удивляли публику выставки с непонятными, броскими и просто нахальными названиями: "Бубновый валет", "Ослиный хвост", "Мишень", "Треугольник", "0,10", "№ 4", "Трамвай В" и т. п.

В провинции же "о новых веяниях в живописи публика узнавала почти исключительно из газетных статей и журналов"¹. Для Одессы эта ситуация оставалась почти неизменной до 1909 года. Сдвиг в эстетических вкусах публики и критики, пробуждение интереса к новому искусству произошли, прежде всего, благодаря двум Салонам скульптора В. Издебского, крупномасштабным выставкам, на которых были представлены все основные течения современной живописи. Салоны буквально перевернули представления о путях и поисках искусства, потрясли, а отчасти и возму-

¹ Золотов С. Художественная жизнь // Одес. листок. — 1916. — 14 нояб.

тили публику, на первых порах шокировали почти всех критиков — но вместе с тем продемонстрировали такие невероятные возможности, открыли столь необычный мир, что после увиденного привычные домашние выставки Товарищества южнорусских стали восприниматься как "бледные", "безжизненные", "выставки импотентов" и т. д. Парадокс ситуации состоял и в том, что оплеухи рецензентов стали все чаще доставаться художникам-традиционалистам; напротив, все молодое, экспериментаторское большей частью критиков если и не всегда одобрялось, то всячески поддерживалось и приветствовалось как ростки будущего искусства.

Еще в начале 1909 года, до открытия I Салона, в Одессе возник кружок молодых художников — первая попытка объединения новых творческих сил.

В марте 1909 года в нескольких комнатах на втором этаже частного дома на Дерибасовской кружок провел свою единственную выставку. По отзывам рецензентов можно понять, что экспозиция была весьма разнородной и, в основном, достаточно традиционной. Однако, "как она ни была бы скромна, но спокойной, замкнутой деятельности южнорусских художников и Одесскому художественному училищу был сделан первый, хотя и слабый вызов"².

Через четыре года, в 1913-м, состоялась 2-я весенняя выставка, на которой показали свои работы художники Одессы, решившие идти по пути поиска и эксперимента, те, кому оказались тесными узкие рамки выставок южнорусских. Здесь были участники "кружка молодых" — В. Дунаевский, П. Нитше, И. Штефман, выставявшиеся с южнорусскими Л. Инглези, А. Кобцев, В. Крихакский, С. Кишиневский, еще мало знакомые Одессе В. Бабаджан, А. Нюренберг, И. Малик и др. Выставка получила название "выставки объединенных".

Следующая выставка, 1914 года, которую критики называли "выстав-

² Н. П. [Павлушков Н.]. Жизнь и искусство // Волна. — О., 1910. — № 1.



Тишина
Рис. В. Дунаевского



Иза Кремер
Рис. С. Фазини

кой весенников", была организована на значительно более высоком уровне, с привлечением интересных художников из Москвы и Петербурга, мюнхенской группы во главе с В. Кандинским и др. Из одесситов участвовали художники "левого" направления, в том числе М. Гершенфельд, А. Нюренберг, С. Олесевиц, скульптор В. Загороднюк. "Отрадно, что ядро выставки составляют произведения группы местных молодых художников, по степени интереса ничуть не уступающих группе "Бубнового валета" и иностранным участникам выставки", — отметила М. Симонович³.

В 1915 году в связи с событиями Первой мировой войны весенняя выставка не состоялась. Зато осенью 1916-го открывшаяся в Городском музее выставка молодежи вновь привлекла всеобщее внимание. Часть критиков по привычке называла ее "выставкой весенников", но большинство окрестило "выставкой независимых". "Выставку можно считать безусловно удавшейся, и образование нового художественного общества — совершившимся фактом", — подвел итоги критик и художник Н. Скроцкий⁴.

Идеи, объединившие молодых художников, были продекларированы в статье М. Гершенфельда "Об искусстве и радости", которой открывался каталог выставки 1916 года. Это своего рода манифест: "Мы идем в театр, чтобы увидеть воплощенными наши затаенные желания, и если театр этого действия не производит, мы говорим, что этот театр — не искусство. (...) Мы идем на выставку картин, чтобы испытать те же эмоции, чтобы увидеть воплощение тех же заветных наших замыслов, ощутить то же преобразование нашего духа в атмосфере живописных и ритмических восприятий. И [если] эти восприятия останутся на уровне по-



Жаннета Рибо
Рис. С. Фазини

³ Симонович М. Письмо из Одессы: (Весенняя выставка картин) // Музы. — К., 1914. — № 7. — С. 14.

⁴ Скроцкий Н. Первая выставка независимых // Одес. листок. — 1916. — 23 нояб.

вседневности и нисколько не приподнимутся над нею, мы скажем, что здесь искусства нет. Здесь душа не радуется, не опьяняется чарами неизведанного. Ибо нам нужно искусство легкое, веселое, мудрое и сильное, которое зажигало бы нас восторгом радости, передавало бы самые неуловимые ощущения в форме новой и неизвестной. Ни исторические reminiscences, ни натурализм, ни слащавая романтика этим зажигательным пламенем не обладают, потому что выходят из плоскости непосредственных воздействий искусства"⁵.

Можно было бы говорить о возникновении в Одессе в 1916-м нового общества, однако документально оно оформилось только в следующем году. Осенняя выставка 1917-го уже официально называлась выставкой Общества независимых художников.

Председателем "независимых" стал М. Гершенфельд, секретарем и казначеем — В. Крихачкий. Общество (или Товарищество, как его иногда называли) просуществовало до 1920 года и успело провести еще две самостоятельные выставки в Городском музее (в конце 1918 и 1919) и одну совместную с Товариществом южнорусских — в июне 1918-го, под эгидой Одесского общества изящных искусств. Летом 1919 года, в период правления большевиков, один из активных членов общества независимых, А. Нюренберг, организовал "Народную выставку картин, плакатов и детского творчества", а весной 1920, после окончательного установления советской власти в городе, состоялась "Народная выставка картин памяти Т.Г. Шевченко". В обеих участвовали как независимые, так и южнорусские.

Состав участников выставок "независимых" 1917-1919 годов оставался довольно разнородным, здесь были и представители южнорусских, и молодежь, последователи самых разнообразных течений в живописи: от умеренного импрессионизма — до кубизма. Выставки включали в себя вполне автономные отделы. Так, осенью 1918 года у "независимых" показал работы П. Нилус, которому отвели залы первого этажа музея. В 1919-м частью годичной экспозиции стало прекрасное собрание русской живописи начала века (в том числе "мирискусников") А. Драгоева, а на 1-ой Народной выставке была представлена одна из крупнейших в Одессе коллекций покойного А. Руссова. С успехом проходили на выставках лекции о современном искусстве и музыкальные концерты.

Провозглашенная в названии общества независимость была относительной. Молодые художники искренне стремились нарушить устоявшийся,

⁵ Выставка картин. Одесса, ноябрь, 1916: [Каталог] — [О., 1916]. — С. [4-5].



Рис. С. Олесевица
из журнала "Бомба". 1918 г.

привычный уклад провинциальной художественной жизни, замкнутость которой усугубилась с началом Первой мировой войны — когда прервались связи с зарубежными художественными центрами. Революционные события в стране еще более усугубили положение: случайным и ненадежным стало сообщение с Москвой, Петроградом, даже Киевом. Нужно учитывать и тот факт, что новаторы были воспитаны в Одесском художественном училище метрами из рядов все тех же южнорусских. Отрицая опыт старших, "независимые" художники так и не смогли до конца преодолеть их влияние. Даже в разнородности нового общества, в широком спектре направлений и отсутствии единой теоретической платформы ска-

зывалось, в определенной мере, наследство южнорусских, на выставках которых передвижник Н. Кузнецов многие годы соседствовал с экспериментатором В. Кандинским.

В этих условиях в городе, где четверть века безраздельно господствовало Товарищество южнорусских художников, революция в искусстве была почти невозможна. Другое дело — стремление к обновлению, попытки молодых добиться радикальных перемен на выставках, в художественном образовании (вспомним здесь создание в сентябре 1918 г. по инициативе Общества независимых недолго просуществовавшей Свободной академии художеств). Наличие двух крупных художественных группировок — с их борьбой за влияние и лидерство, конфликтами, даже враждой — стало реальной движущей силой искусства в Одессе и объективно послужило его развитию. "Независимые" во многом изменили местную художественную жизнь уже одним фактом своего существования. "Несомненно, перегруппировка и соперничество художественных групп вполне в интересах искусства", — так видел ситуацию Н. Скроцкий⁶.

Интересно, что от одесской критики молодым художникам доставалось не столько за новации, сколько за подражание французам и московско-питерским кубистам. "До сих пор я не могу примириться с самоопределением нашего молодого об-ва художников как об-ва независимого. Я бы сказал, что об-во исключительно зависимое, оно всецело

⁶ Скроцкий Н. Художественная жизнь // Одес. листок. — 1917. — 1 янв. — Особое прил.: Итоги 1916 года. — С. 9.

зависит от западных течений искусства", — категорично и, возможно, не совсем объективно утверждал П. Нилус⁷. О вторичности одесских "независимых" писали Н. Инбер в "Одесских новостях", С. Золотов в "Одесском листке" и "Жизни", И. Златогоров в "Южной мысли". Но все критики дружно выделяли группу живописцев, которую оценивали выше остальных. Чаще всего назывались имена Г. Бострема, А. Нюренберга, Т. Фраермана, "кубистов" — С. Олесевица, С. Фазини. Именно эти художники — вместе с председателем общества М. Гершенфельдом — были ядром общества независимых, его движущей силой. Их имена повторяются не только во всех рецензиях. В сообщении о жюри выставки 1918 года названы Нюренберг, Олесевич, Гершенфельд, Фазини, Фраерман⁸. Среди преподавателей организованной независимыми Свободной академии художеств — Гершенфельд, Бострем, Олесевиц⁹ и т. д.

С конца 1919-го начался массовый "исход" из Одессы. Уехали в Эрц-Израэль, а оттуда в Париж Константиновский и Френкель, в Париже обосновались Ф. Гозиасон, Олесевич и Фазини, в Москве — Нюренберг и Мексин, в Загорске — Бострем, в Петрограде — М. Бродский и т. д. Гершенфельд отошел от активной художественной жизни и занялся преподаванием. С большим или меньшим успехом сотрудничали с новыми властями и участвовали в выставках Крихацкий и Фраерман. В 1920 году объединение прекратило свое существование.

Много лет одесское Общество независимых художников не воспринималось специалистами-искусствоведами как серьезный объект для изучения. Тому несколько причин. Прежде всего то, что общество имело авангардистскую, формалистическую ориентацию. "Долгое время об авангарде как о явлении, "противоречащем социалистическому реализму" и "объективному исследованию действительности", у нас не принято было гово-

⁷ Нилус П. Впечатления: Выставка картин об-ва независимых художников // Юж. слово. — О., 1920. — 1(14) янв.

⁸ Одес. новости. — 1918. — 12 нояб.

⁹ Театр. день. — О., 1918. — 23 сент. — С. 6.



Е. Полевицкая в "Черной пантере"
Рис. И. Мексина

прить. Произведения отечественных авангардных мастеров прятали в запасниках музеев, продавали за границу, уничтожали"¹⁰. Сложилась парадоксальная ситуация, когда русским и украинским художественным авангардом занимались по преимуществу зарубежные исследователи, часто не знакомые с архивными фондами, материалами коллекционеров, провинциальной периодикой и проч. Отсюда — изобилие фактических ошибок и специфический интерес к тем представителям отечественного авангарда, которые звучали на зарубежных выставках и приобрели известность на Западе — В. Кандинскому, К. Малевичу, М. Ларионову, Н. Гончаровой, М. Шагалу и проч. Если же в поле зрения зарубежных или отечественных исследователей попадали менее известные фигуры (в контексте Одессы назовем хотя бы Издебского, Фазини, Гозиасона) — случались анекдотические ситуации, когда, к примеру, тот же Филипп Гозиасон, известный по французским источникам как Hosiasson, при переводе с французского на русский превратился в Осиассона¹¹.

Вторая причина отсутствия исследований об Обществе независимых художников — то, что многие его члены после 1919 г. эмигрировали. Эмиграция автоматически накладывала veto на информацию о художнике (за немногими исключениями — и то с "купорами").

Третий момент — ограниченное число сохранившихся с тех лет произведений. До недавнего времени известны были буквально считанные картины и рисунки. Но летом 2002 года в художественном музее Тель-Авива состоялась большая выставка, на которой впервые за много десятилетий были показаны одесские "независимые" из коллекции Якова Перемена. Перемен был одним из тех, кто поддерживал молодых художников и систематически покупал работы с их выставок. К моменту отъезда из Одессы в декабре 1919 года у него было достаточно представительное собрание живописи и графики "независимых", насчитывающее более 200 произведений¹². Благодаря этой выставке появилась возможность соотнести сведения и отзывы о художниках, содержащиеся в прессе, с их конкретными работами.

Конечно, хотелось бы увидеть коллекцию в Одессе. Еще живы дочери Я. Перемена. В последнем письме Леся Войскун, израильский искусство-

¹⁰ Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. — М., 1993. — С. 5.

¹¹ Яворская Н.В. Современная французская живопись: Очерки. — М., 1977. — С. 194.

¹² Подробно см. статью Л. Войскун: Независимые на чужбине: Яков Перемен и его коллекция одесского художественного авангарда в Израиле // Еврейский книгоноша. — М.; Иерусалим, 2003. — № 2. — С. 46-54.

вед, очень милый человек, серьезно увлекшаяся историей коллекции Перемена, сообщает: "...вчера я пошла провести дочь Перемена — Хаву Чернов-Перемен (она родилась в Одессе в 1918 г., а в 1919 ее уже увезли. Тем не менее, она говорит по-русски и немного понимает, хотя, конечно, мы с ней все-таки говорим на иврите. Она мечтает увидеть Одессу...). О чем мечтаю я — это осуществить проект выставки картин коллекции с сопровождением архивного материала". Будем надеяться, что, на радость одесситам, эти мечты осуществляются. Кто знает, какие неожиданные открытия ждут нас в этом случае!..

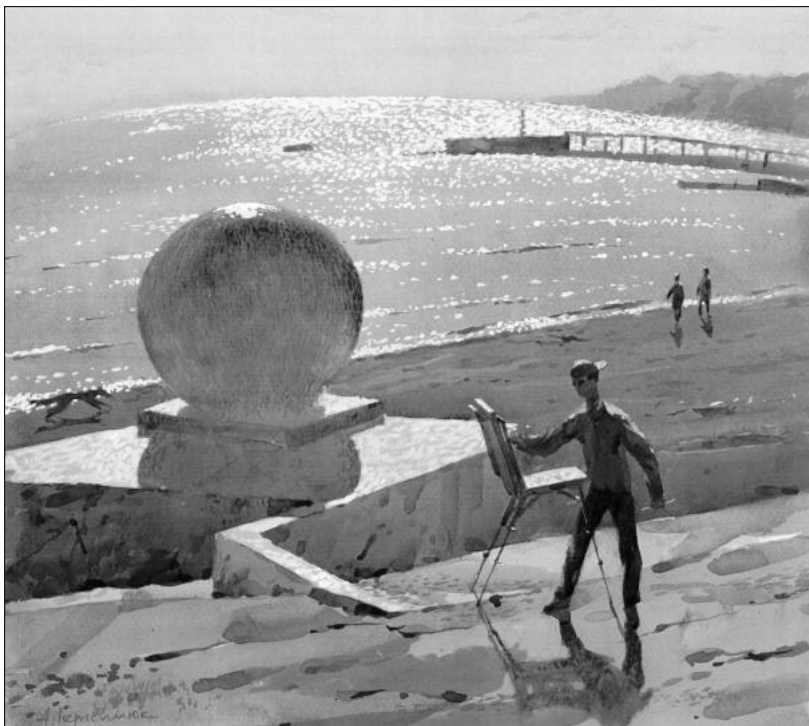
А пока в Библиотеке им. Горького готовится выпуск указателя литературы, в котором впервые будет сделана попытка восстановить хронику деятельности Общества независимых художников по материалам старой периодики. Во многом текст этой небольшой статьи взят из предисловия к будущей книжке.



"И откроется море..."

Но откуда оно откроется, предстоит нетерпеливый задыхающийся бег "мимо грядок, оградок, ларьков, пионерлагерей, мимо редких дверей в нескончаемом дачном заборе, мимо пыльных акаций на каменных плитах" (цитата из Юрия Михайлика). Так пробивается сквозь липкое знойное марево летом, сквозь обвал осенней листвы осенью — к простору, воле, гипнотизирующему горизонту, завораживающим грядам облаков, — поэт. На одном срывающемся дыхании. Так выбирается из запыленных и цепких каменных десниц художник.

В изысканных акварелях Андрея Герасимюка, впрочем, никакого вульгарного надрыва, никакого демонстративного надлома не ощущается: ему милы эти пожившие камни, на которые он ступает уважительно, бе-



режно, нежно. Приземистые замшелые домишки, печально прищурившиеся подъезды, обветшавшие дворовые галереи, выветренные известняковые стены, обрамляющие вечнозеленое, нестареющее море. Оно, море, вдоволь насмотрелось на величие здешних античных полисов, генуэзских факторий, польско-литовских замков, турецких твердынь... Пришел черед расщепления патриархальной Одессы времен полуфантастического порто-франко... И это пройдет...

В начале 1990-х заметил работы Андрея на братской выставке молодых художников. А тогда ведь как было? Оригинальничали, прямо скажем, оголтело, необузданно. Перестроечная паровозная мода эпатировать еще не улеглась. Никакой тебе цензуры. Кроме личной, частной и эксклюзивной — как вам больше понравится. А если называть вещи по именам, получится тест наличия вкуса. Или, разумеется, отсутствия его. Герасимюк этот тест прошел. Без суеты, без поспешности, без торопливости. Без изобретения новой окраски старых геометрических фигур и прочих модернизированных велосипедов. Просто делал деликатные и характерные свои акварели. Не только неизменно удачные марины. Являлось все больше безгласной, но столь трогательно информативной "уличной фурнитуры": покосившихся ворот, по-стариковски полусонных парадных, уединенных дворики, выщербленных ступеней, искрошенных стен. Всего того, что, собственно говоря, и составляет фон индивидуальной биографии и коллективной судьбы.

"Невыразимая печаль открыла два огромных глаза..." Герасимюк печалится мудро. Сострадание его не перетекает в рыдание, граничащее с истерикой. Отраженное его работами солнце в самом деле светит всем. Озаренные мягким светом руины излучают радостное смирение. Я не оговорился: смирение может быть радостным. Попытки жить вопреки законам мироздания, подгонять по своему индивидуальному размеру, подминать под себя "леса, поля и горы", печальны сами по себе. Можно любоваться распадом и даже самораспадом — всем тем, "что пришло процвести и умереть". И с этим можно жить. Можно жить счастливо, достаточно. Как живет все еще молодой художник Андрей Герасимюк. "И откроется море. Дыханье. Сиянье. Таласса".

"Живая связь времен"

Об одной театральной династии

Обычно отмечают юбилеи выдающихся деятелей культуры, науки, техники. Мне хочется вспомнить о скромном человеке — билетере Anne Петровне Игошиной, самоотверженно проработавшей в Одесском оперном около ШЕСТИ десятилетий. Поводом для этого стало СТОЛЕТИЕ со дня ее рождения. Причиной — живая связь времен. Да-да, именно так. Сейчас постараюсь объяснить.

Когда-то меня поразил рассказ Вересаева о том, какой трепет он испытывал, осознав, что пожимал руку человеку, которому довелось здороваться с тем, кто знал самого Пушкина. Однажды Анна Петровна рассказала мне о том, что пришла работать в театр, когда здесь еще служил билетер, начинавший свою работу... при открытии театрального здания в 1887 году! Я и до этого относился к Anne Петровне с почтением, ну а после и вовсе — с пиететом: мне посчастливилось общаться с человеком, знавшим того, кто присутствовал при открытии театра! До сих пор трудно это осознать.

Наверное, многие театралы среднего и старшего возраста помнят седую женщину небольшого роста, работавшую билетером в первых рядах правой стороны партера.

Первым пришел в театр ее муж Николай Андреевич Игошин. Окончив, по рассказу А. П., курсы Л.А. Винницкого, он поступил в театр, где ему привелось работать и билетером, и кассиром, и руководителем мимического ансамбля. В марте 1925 года, сразу после пожара, он привлек свою молодую жену Анну к участию в уборке театрального здания. У Анны Петровны сохранился уникальный снимок: сцена на утро после пожара — вспучившийся железный занавес, рабочие, взобравшиеся на него, а внизу снимка — человек в шинели с папирсой в зубах. Это Николай Андреевич. Впрочем, я еще вернусь к этому снимку.

Всю жизнь А. П. потом гордилась знакомством с академиком живописи А.Я. Головиным, приехавшим в Одессу буквально через несколько дней после пожара для участия в восстановительных работах. Она рассказывала, что после того, как сгорел лефлеровский занавес (а она видела его, когда впервые попала в театр на "Руслана и Людмилу"), вдова художника запросила очень большие деньги за хранившиеся у нее эскизы. Вот почему было принято решение сделать новый занавес. Это поручили Алек-

сандру Яковлевичу. Он использовал при создании одесского занавеса свои эскизы к оформлению лермонтовского "Маскарада" в Александрийском театре Петербурга. На новом занавесе (увы, он горел в прошлом году и недавно, в феврале нынешнего года, был составлен акт о невозможности восстановить занавес по сохранившейся части — нужно делать все заново) Головин оставил свой автограф: в правом нижнем углу вензель из переплетенных букв А и Г.

Постоянно работать в театре А. П. стала с 1932 года. Начинала билетером галереи. Гордилась, что застала в театре гайдука Маразли, объясняла: "Когда у него пошатнулось здоровье, будущий городской голова устроил его на работу полегче — в театр билетером". Именно он работал в театре со дня открытия здания. Кстати, этот человек проработал здесь более сорока лет. Столько же, к слову, и супруг Анны Петровны.

С годами место работы А. П. Игошиной перемещалось вниз, пока она не заняла "пост"... протеже Маразли. Вот такое совпадение.

Она была строгим блюстителем порядка. Умела удалить с занятых чужих мест самых наглых зрителей (а такие, как ни странно, всегда находятся). И делала это практически бесшумно, чтобы, "не дай Бог, не помешать исполнителям". Некоторые люди ее побаивались. Многие относились с уважением к "Аннушке", как ее прозвали в театре. Она хорошо разбиралась в искусстве. Не имея специального образования, четко отличала, "что такое хорошо и что такое плохо". Ненавидела халтуру, презирала непрофессионализм.

Я, как и многие театральные "фанаты", тоже с течением времени "опускался" с галереи, где прошли юность и молодость, вниз, заводя знакомства с билетерами лож, потом партера. А. П. устаивала расположением не многих. Мне повезло.

Получая мизерную зарплату, она не брала у меня денег (и требовала, чтобы я не рассчитывался на входе: "Говорите, что идете ко мне". Признаюсь, дорожа расположением "стражей" у входа, я нарушал ее повеление, но вскоре и эти билетеры стали отказываться от денег: они, любя театр, отличали подлинных любителей, уважали их). Мои возражения А. П. парировала примерно так: мы же оба любим искусство оперы, какие расчеты могут быть между нами?..

В случае аншлагов она часто усаживала меня на "постоянное место" доктора медицинских наук А.М. Сигала в четвертом ряду, более полувек бесплатно лечившего артистов (он был и образованным музыкантом: дирижировал оперой "Садко", симфоническими концертами, был в числе

основателей Одесского филармонического общества; поклонник Р.М. Сергиенко, он почти не пропускал спектаклей "Манон Леско" Пуччини с ее участием). Был у А. П. и запасной вариант — места сотрудников "особого назначения", которых назовут позднее "искусствооведами в штатском": им бронировали два кресла во втором ряду партера. После третьего звонка А. П. приглашала меня, ожидавшего за портьерой бокового входа в зал, сесть на свободное место.

А рядом с нею в левой части первых рядов работал высокий, стройный и тоже седой мужчина — "дядя Вася". Он был неразговорчив, строг, его побаивались. Впрочем, и "Аннушку" тоже. "Дядя Вася" более сорока лет систематически вел дневник, описывая спектакли, участников, происшествия... Когда его не стало, вдова приходила, просила взять стопки тетрадей (бесценных для истории театра!), но так никто и не собрался это сделать, а вскоре умерла и она. Дневники пропали. Очень обидно... А. П. сказала мне, что фамилия "дядя Васи" была Свириков. Хочется и его, скромного и честного труженика, вспомнить добрым словом.

Мы часто беседовали с А. П. о театре. Особенно были интересны ее рассказы о работе в годы войны, во время оккупации, о чем десятилетиями не только не писали, но даже говорить опасались.

А. П. была человеком верующим, однако просоветски настроенным. Но однажды, оглянувшись, сказала: "А при румынах был порядок: лестницу быстро восстановили в 1942-м, зарплату вовремя платили, подарки к праздникам давали". И замолчала, к этой теме мы более не возвращались. Конечно, она не желала возврата оккупации; просто хотела быть справедливой, объективной.

У нас вообще сложились доверительные отношения. А. П. не раз рассказывала мне о своих семейных проблемах. Болью отзывались в ее сердце театральные не порядки. Помню не однажды повторенные ее слова: "Как мне горько бывает, когда зрители высказывают справедливое возмущение. Если бы это слышали наши начальники". Перед начальством не лебезила, держала себя сдержанно и корректно. У нее было чувство собственного достоинства.

С особым уважением относилась к ветеранам. Мне запомнилось, как она однажды разыскала певицу А. Жуковскую, примадонну довоенных лет, которая, приехав из Киева, где доживала свой век, не могла не прийти в театр. Она скромно присела в последних рядах партера, но А. П. привела ее в "свои владения", усадила. Мне доверительно сказала: "Какая это была Аида, Тоска, Турандот! Вы таких не слышали".

После того как я опубликовал критическую статью о работе театра, администрация меня "предала анафеме". У жены директора была гениальная идея — "не пускать его в театр!". А парторг даже предлагала темпераментному певцу, избившему одного из дирижеров, применить эту "процедуру" и ко мне. Об этом рассказали два до того не знакомых сотрудника театра, которые разыскали мой адрес в справочном бюро и специально приехали к нам домой, чтобы предупредить о планировавшейся акции, которая, однако, не состоялась. А попытки же "не пускать" несколько раз предпринимались... Последняя — в середине девяностых! Смех и грех. Некоторые административные работники полагают, что пишущие о театре должны быть как парикмахеры: "Чего изволите? Вам удобно, не больно?".

Вопреки моим опасениям, А. П. не побоялась продолжать наше общение. Мою статью она одобрила и даже подарила упоминавшуюся фотографию, назвав в своем автографе меня "Защитником Оперы" (оба слова с большой буквы!). Не скрою: это было очень приятно. Горжусь ее признанием и сегодня. Храню автограф А. П. так же бережно, как и автографы с добрыми словами Фаины Раневской, Зары Долухановой, Татьяны Шмыги, Зиновия Гердта, например.

Мы часто беседовали. С особым волнением слушал ее рассказы о рытье окопов, о том, как в годы войны она носила воду из порта зенитчицам, охранявшим театр на крыше. О бомбежках, о том, как трескались стекла, отпадали детали скульптур, которые служители собирали, упаковывали, надписывая свертки, чтобы потом восстановить былую красоту... Она видела неразорвавшуюся бомбу, которая пробила в 1942 году потолок одной из "белых" лестниц.

Когда мне удалось доказать, что вопреки легенде театр не минировался (на это ушли годы: меня обвиняли в "принижении подвига советских солдат, героически разминировавших здание"), А. П. сказала: "Вы долго не могли обнаружить то, что театр не минировался в 1944-м. А сейчас я скажу Вам то, что тоже долго опубликовать не сможете: бомба-то была советская". Для меня эта информация — без преувеличения — стала "бомбой". Да только ли для меня... Конечно, наши воины не хотели уничтожить театр: бомбу потерял бомбардировщик во время боя над театром. Позднее об этом мне рассказывали и другие люди, работавшие в театре в годы оккупации. Как трудно было заставить себя им поверить!

Однажды — это было в конце восьмидесятых годов минувшего столетия — А. П. обратила внимание на группку женщин: "Они внимательно разглядывали меня, потом подошли, обняли, заплакали... Это были те са-

мые зенитчицы, которым я носила воду на крышу театра... Они приехали из разных городов, чтобы отметить в Одессе День Победы".

Позднее газета "Советская культура" назвала бывших зенитчиц именно: В. Шевченко из Баку, А. Савина из Луганска, Л. Жиганова из Астрахани. Им выдали пропуска в театр "на всю жизнь и на все спектакли".

Мне приятно, что мы с А. П. в семидесятые годы снялись в фильме об одесском оперном. Ее пригласили как старейшего работника, меня с женой — как театралов (нас, разумеется, по инициативе авторов фильма). С грустью и радостью пересматриваю его, вспоминая "Аннушку", беседы с нею.

А. П. была непростым человеком. Признаюсь, что не все ее любили, но почти все уважали как преданного делу человека. Приятно вспомнить такую деталь. Спектакли начинались в 8 вечера, кончались нередко к полуночи, когда идти домой было небезопасно. Часто "Аннушку" провожал до самых ворот заядлый театрал, рабочий-швейник Михаил Сорокин.

Я побывал у нее дома лишь однажды, когда она передала мне тетради своего мужа, где он описывал жизнь театра в середине двадцатых и в начале сороковых годов. В них важная для истории театра информация. Запомнилось, что жила А. П. очень бедно. У нее не было нарядов, но форменный костюм служителя неизменно дополнялся белым воротничком...

Я был знаком с ее сыном Александром, танцовщиком и либреттистом. В годы войны он окончил хореографическое отделение консерватории по классу П. Карсавина, поступил в одесскую балетную труппу, где танцевал до пенсии. Александр Николаевич — автор либретто балетов и опер. В 1969 году Г. Замуэль поставил в нашем театре балет Ю. Знатокова — А. Игошина "Княгиня Волконская". В Киеве этот же балет поставил известный балетмейстер, народный артист СССР В.Я. Вронский, а в Донецке постановку этого же балета осуществил сам либреттист Александр Игошин.

В 1974 году балет тех же авторов "Свечкина свадьба" поставил в Одессе талантливый танцовщик и балетмейстер И. Чернышев, тогда главный балетмейстер одесского театра. Александр Николаевич создал либретто оперы, посвященной жизни Тараса Шевченко. Эту оперу хотел поставить в Киеве известный режиссер Д.Н. Смолич, но безвременная кончина мастера оборвала его планы. Александр Игошин написал также либретто оперы по мотивам "Графа Монте-Кристо". К сожалению, опера создана не была. Не реализовался и план А. Н. создать музыкальный спектакль о любимом городе.

В честь отца Александр назвал своего сына Николаем. Коля стал художником-оформителем, работал и в оперном театре. Анна Петровна

с особым удовольствием рассказывала об участии внука в создании оформления к балету на музыку А.И. Хачатуряна "Маскарад", художник — И. Глазунов. Николай работал и в Русском театре, и в ТЮЗе. Он написал музыку к спектаклю Русского театра "Ох, уж эти домовые". А. П. трогательно любила "Сашу и Колю", гордилась ими. Такая вот театральная династия — отец, мать, сын, внук... А. П. однажды мне сказала: "Вот уже шестьдесят лет прихожу в наш театр, для меня лучший в мире. Какая красота! Никак не могу привыкнуть к ней... Кто я? Простой билетер. Наверное, могла бы достичь в жизни большего, но Театр не отпустил меня".

С годами начались болезни, недомогания, однако она стойчески приходила на работу, без которой не мыслила жизни. Ее перевели в закулисную часть (может быть, это было справедливо; тогда ей шел 88-ой год), а потом и вовсе "вывели на пенсию". Для нее это стало катастрофой, она начала быстро сдавать.

Когда Дягилевский центр организовал в помещении театра торжественный гала-спектакль с участием гастролеров, я попросил его сотрудников привезти "Аннушку". За нею поехали, но оказалось, что ей... нечего надеть! Вернулись, подыскивали что-то в театральном гардеробе — явно не по размеру, одели Анну Петровну, привезли. Она стояла в партере, возле одной из последних лож бенуара с правой стороны, и тихо плакала. Мы оба молчали — что можно сказать?... Любые слова бессильны. Более видеть мне "Аннушку" не довелось: она вскоре скончалась.

...Как-то я спросил Анну Петровну о любимых певцах. Она слышала сотни вокалистов, ей было из кого выбирать. Назвала Платона Цесевича, Николая Савченко, Юрия Кипоренко-Доманского, Ирину Воликовскую, Раису Сергиенко, Наталью Ютеш... О Наталье сказала: "Она такая музыкальная, душевная, как ее педагог и тоже замечательная певица Алиса Джамагорцян".

Анна Петровна ушла из жизни на 90-м году. И сегодня, спустя более десятилетие, ее благодарно вспоминают театралы. Для них она один из символов Одесского оперного. Пусть продлится светлая память о подлинном СЛУЖИТЕЛЕ театра. Театра, которому была ПОСВЯЩЕНА ЖИЗНЬ.

Обнаружена неизвестная картина Леонида Пастернака

Многие годы в Одессе сохраняется в частном владении (не в коллекции) портрет девочки-подростка, исполненный известным художником, уроженцем Одессы, Леонидом Пастернаком. Работа до сих пор никогда не была на выставках, не публиковалась в печати, не упоминалась в списках произведений художника или в мемуарах. Думается, следует ввести ее в научный оборот.

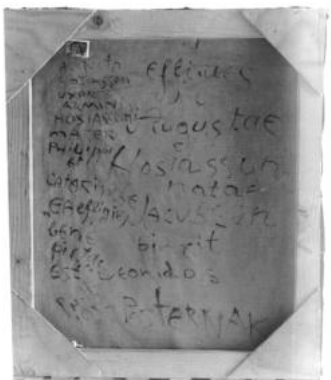
Для начала — паспортные данные: холст, масло; 62,5х52,3 см.

Внизу подпись и дата: слева — Пастерн... / 1887 г.; справа — Апрель.

На обратной стороне холста позднейшая пространная надпись чернилами, датированная 1912 годом, раскрывающая личность изображенной:

Augusta Hosiasson uxor Armini Hosiassoni mater Philipoi et Catarinae "Ea effigies bene picta est" Effigies Augustae Hosiasson natae Jacobson pinxit Leonidas Pasternak Ph. H. 1912.

Написано по-латыни сыном портретируемой, мальчиком Филиппом Гозиасоном, в подражание подобным текстам на картинах предыдущих эпох. Вольный перевод: Августа Гозиасон, жена Германа Гозиасона, мать Филиппа и Екатерины. "Так изображение стало хорошей картиной". Изображение Августы Гозиасон, дочери Яковсона. Писал Леонид Пастернак. Ф[илипп] Г[озиасон] 1912. Фрагмент в кавычках внутри текста — можно думать, латинская поговорка или цитата из аналогичной надписи.



Подпись и дата:
слева — Пастерн... / 1887 г.; справа — Апрель

Портрет случилось впервые увидеть лет тридцать тому назад. К тому времени уже была накоплена обширная информация о молодом одесском художнике Филиппе Гозиасоне. Надпись на холсте послужила трамплином к продолжению поисков. В архивных делах Одесского раввината найдена запись 1897 года о бракосочетании Августы Яковсон: "Лета женского 21, мужского 31. Апрель 20. Гольдингенский мещанин временный 2-й гильдии купец Гозиас Герман Яковлевич Гозиасон, холост, с дочерью одесского 2 гильдии купца девицею Августиною Леонтьевною Яковсон"¹. Если в момент бракосочетания возраст невесты обозначен как 21 год, время ее рождения — 1876-й. В книгах Одесского раввината за этот и несколько соседних лет записи о рождении Августины Леонтьевны Яковсон или Яковсон не обнаружилось, видимо — родилась за пределами Одессы. Знаток старой Одессы А. Розенбойм (Р. Александров) пришел к выводу, по совокупности косвенных признаков, что Августина Яковсон (Яковсон) приходилась племянницей автору портрета, художнику Леониду Пастернаку, дочерью его сестры Екатерины Осиповны, в замужестве Яковсон.

В другой книге Одесского раввината — за следующий, 1898 год, обнаружена метрическая запись о рождении сына: "Гольдингенский мещ. Гозиас Герман Яковлевич Гозиасон, жена Августина, сын Филипп род. 15, а обрез. 22 февраля"². Латинская надпись на обороте холста с портретом матери выполнена в 1912 году, мальчику-гимназисту 14 лет. Известно, что в дореволюционной России латынь входила в число обязательных предметов гимназического курса.

Итак, на исследуемом портрете Л. Пастернака изображена его племянница, Августина Яковсон, в возрасте около одиннадцати лет.

* * *

Жизнь и творчество автора портрета, Леонида Осиповича Пастернака (1862-1945), изучены досконально и у нас, и за рубежом. Его биографии можно найти во многих словарях, издавались посвященные ему монографии и каталоги выставок на разных языках, публиковались мемуары самого мастера и его детей. Произведениями Пастернака владеют крупнейшие музеи мира. Нет необходимости повторяться, отметим лишь основные моменты деятельности молодого художника в период создания интересующего нас портрета (апрель 1887), опираясь преимущественно на его собственные воспоминания.

Несколько лет Пастернак проучился в Мюнхенской королевской художественной академии, числясь одновременно на юридическом факультете Новороссийского университета в Одессе. В 1885 году пришло время сдачи в университете государственных экзаменов, весной он приехал домой для подготовки, осенью благополучно закончил университет и получил диплом. Затем пришлось провести год в артиллерийских казармах, отбывая воинскую повинность. Еще на военной службе познакомился с пианисткой Розой Кауфман, ставшей позднее его женой. Съездил ненадолго в Мюнхен, распрощался с академией, снова вернулся в Одессу, к невесте. По признанию художника, это был для него один из труднейших периодов, "в форме очень серьезного душевного испытания"³ — поиск дальнейшего жизненного и творческого пути. Продолжить ли учебу в Мюнхенской академии, или совершенствоваться в Париже, или жениться, оставив мечты о дальнейшей учебе?.. В конечном итоге была выбрана семейная жизнь в Москве, где в феврале 1889-го состоялась свадьба. Незадолго до того пришел и первый творческий успех — знаменитый П.М. Третьяков приобрел для своей галереи еще не законченную картину "Письмо с фронта", не дожидаясь ее появления на выставке.

В книге Пастернака не названы конкретные даты перечисленных событий (кроме свадьбы), можно лишь с уверенностью предположить, что работа над портретом Августины Якубсон протекала в период между последним возвращением в Одессу из Мюнхена и отъездом в Москву. Перед нами результат, итог учебы в Мюнхенской академии. Дальнейшее развитие творческого потенциала художника последовало уже в Москве, начиная с 1890-х годов.

* * *

В начале прошлого столетия семья Гозиасон была весьма уважаема в одесских деловых кругах. Справочники типа "Вся Одесса на 1914 год"

указывали, что Герман Яковлевич Гозиасон (муж Августины) владел "агентурно-комиссионной конторой" в центре города, в собственном доме по Ланжероновской улице, № 9, против городского театра, там же и проживал с женой и детьми. Дом сохранился до наших дней, но его облик и планировка искажены недавней перестройкой под псевдояпонский ресторан. Старший сын, Филипп Германович, окончил в 1916 году четвертую мужскую гимназию и стал студентом университета, сначала — естественного отделения физико-математического факультета, затем — юридического⁴. С июля 1917 по январь 1918 года прошел ускоренный курс военного времени в Сергиевском артиллерийском училище. Увлекался живописью, изучал историю искусств, участвовал в художественных выставках, публиковал статьи в местной прессе, выступал с докладами, издал брошюру об испанском живописце Эль-Греко. Примыкал к "левому" крылу одесских художников, к "Обществу независимых". В ноябре 1919 года, в предвидении прихода "красных", уехал на Запад с женой и, по всей видимости, с родителями.

Последующая долгая жизнь известного французского художника Филиппа Германовича Гозиасона (1898-1978) освещена достаточно подробно в иностранных изданиях, на русском языке самая полная его биография дана в словаре 1999 года "Художники русского зарубежья"⁵. Эмигрантские скитания начались с Италии, в 1922 оказался в Берлине, с 1924 окончательно обосновался в Париже, в 1928 получил французское гражданство. Со временем стал, по его собственному выражению, "нефигуративным" художником. В 1964 году опубликовал в парижском журнале статью о вывесках старой Одессы. В 1970-х одесские краеведы разыскали его в Париже, вступили в переписку, получили множество материалов о его творчестве. Картины Гозиасона хранятся во многих музеях и частных коллекциях Европы и Америки.

* * *

Портрет Августины, судя по надписи 1912 года, сделанной ее сыном, находился до революции во владении семьи Гозиасон. В чьи руки попал после эмиграции 1919 года и прихода советской власти, никто уже не скажет. В 1941 году работа Пастернака оказалась в коллекции местного художника А. Зусера. Известно о нем не много. Архивные документы свидетельствуют, что Александр Нафтулович Зусер, иудейского вероисповедания, родился в 1896 году, осенью 1912-го поступил в Одесское художественное училище на живописно-скульптурное отделение, аттестат об окончании получил в апреле 1918-го⁶. Ни живописцем, ни графиком

практически себя не проявил, в литературе зафиксировано его участие лишь в одной выставке 1940 года⁷. В каталоге указан адрес: ул. Короленко, 20. Довоенные одесские коллекционеры запомнили Зусера собирателем и поставщиком картин. Трагически погиб в октябре 1941 года, через несколько дней после ухода из Одессы советских частей (16 октября) и вступления румынских войск.

22 октября 1941 года произошел печально знаменитый взрыв здания бывшего управления НКВД, где только что расположилось какое-то оккупационное учреждение. Погибло большое число солдат и офицеров, среди них и высокие чины. На следующий день на город обрушилась волна массового террора, убивали без разбора тысячи мирных жителей, попадавших в тот момент. По заявлению румынских властей, казнили по двести заложников за каждого офицера и по сто за солдата. В числе жертв оказался и Зусер, его повесили неподалеку от его дома. Вскоре все еврейское население города было насильственно переселено в гетто в районе Слободки. Родные Зусера, покидая городскую квартиру, захватили рулон с несколькими холстами из коллекции погибшего, в их числе и работу Пастернака. Позднее, когда началось переселение из гетто в сельские местности, портрет вынес в город один из дальних родственников. Он сохранил его до наших дней как реликвию того страшного времени.

Примечания

¹ Гос. архив Одесской области (далее — ГАОО). — Ф. 39. Одесский раввинат. — Оп. 5. — Д. 84. Метрическая книга о браке Одесского раввината за 1897 год. — Л. 62, об. № 365. — У мужа двойное имя: Гозиас Герман Яковлевич. Так он упоминался всегда в документах, чаще — через дефис, а в быту значился упрощенно как Герман.

² ГАОО. — Ф. 39. — Оп. 5. — Д. 87. Метрическая книга о рождении Одесского раввината. 1898. — Л. 81. № 314. — Во всех официальных документах значился с двойным отчеством: "Филипп Гозиас-Германович" (в гимназическом аттестате, в университетских делах), в быту же — Филипп Германович.

³ Пастернак Л.О. Записи разных лет. — М., 1975. — С. 31.

⁴ ГАОО. — Ф. 45. — Новороссийский университет. — Оп. 5. — Д. 3319. Дело студента Гозиасона Филиппа Гозиас-Германовича. — 25 листов.

⁵ Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья. 1917-1939: Биографический словарь. — СПб, 1999. — С. 228. — Ошибка в отчестве Гозиасона.

⁶ ГАОО. — Ф. 368. Одесское художественное училище. — Оп. 1. — Д. 429. Зусер А.Н. — Л. 7.

⁷ Первая отчетная выставка творческого сектора художественно-скульптурных мастерских. 21 декабря 1939 года — 25 февраля 1940 года: [Каталог]. — Одесса, 1940. — С. 13, №№ 129-137; с. 25, № 544; с. 62.

Три года с мечтой об Одессе

Это — рассказ об одесском Украинском театре в годы Великой Отечественной войны. Он сложился из воспоминаний людей, которые много лет служили в нем, и для которых все происходившее в военное лихолетье — часть биографии, часть судьбы. Лет двадцать тому назад я записал воспоминания директора театра в годы войны Владимира Григорьевича Вольского, народного артиста Украины Александра Устиновича Луценко, режиссера-постановщика Иосифа Львовича Берковича. А толчком к написанию этой статьи стали записи одной из ведущих актрис Фени Львовны Шнейдер, многое прояснившие и дополнившие. Записи эти были любезно предоставлены дочерью Ф.Л. Шнейдер — хранителем музея Украинского театра Людмилой Александровной Коваленко.

29 мая 1941 года театр выехал на гастроли в Минск. Настроение у всех было приподнятым. Предыдущие гастроли в Белоруссии были успешными. Близость языков, близость культур обуславливала полное взаимопонимание со зрительным залом. На этот раз предстояло работать на сцене Белорусского драматического театра имени Янки Купалы, одной из центральных площадок столицы. Выхавший ранее для решения организационных вопросов заместитель директора В.Г. Вольский сообщал, что реализация билетов идет успешно, несмотря на конкуренцию со стороны МХАТа, который должен был работать параллельно с Одесским украинским театром имени Революции.

Поезд, на котором одесситы прибыли в Минск, торжественно встречали представители театральной общественности Белоруссии. На гастроли приехал весь творческий состав. Предполагалось показать шестнадцать работ театра, среди которых были спектакли по украинской и западноевропейской классике, пьесы современных драматургов. Одновременно предполагалось репетировать драму И. Франко "Украдене щастя".

Открылись 3 июня спектаклем "Богдан Хмельницкий" по пьесе А. Корнейчука. Затем пошли "Платон Кречет", "Васса Железнова", "Запорожец за Дунаем", "Коварство и любовь", "Цыганка Аза", "Мораль пани Дульской"... Когда выбирался свободный вечер, одесские актеры пробивались на спектакли МХАТа. На зависть рядовым минчанам гостям из Одессы на каждый мхатовский спектакль было зарезервировано десять билетов.

Как всегда, артисты Украинского театра наряду с "производственными спектаклями" охотно встречались с рабочими и колхозниками, вои-

практически себя не проявил, в литературе зафиксировано его участие лишь в одной выставке 1940 года⁷. В каталоге указан адрес: ул. Короленко, 20. Довоенные одесские коллекционеры запомнили Зусера собирателем и поставщиком картин. Трагически погиб в октябре 1941 года, через несколько дней после ухода из Одессы советских частей (16 октября) и вступления румынских войск.

22 октября 1941 года произошел печально знаменитый взрыв здания бывшего управления НКВД, где только что расположилось какое-то оккупационное учреждение. Погибло большое число солдат и офицеров, среди них и высокие чины. На следующий день на город обрушилась волна массового террора, убивали без разбора тысячи мирных жителей, попадавших в тот момент. По заявлению румынских властей, казнили по двести заложников за каждого офицера и по сто за солдата. В числе жертв оказался и Зусер, его повесили неподалеку от его дома. Вскоре все еврейское население города было насильственно переселено в гетто в районе Слободки. Родные Зусера, покидая городскую квартиру, захватили рулон с несколькими холстами из коллекции погибшего, в их числе и работу Пастернака. Позднее, когда началось переселение из гетто в сельские местности, портрет вынес в город один из дальних родственников. Он сохранил его до наших дней как реликвию того страшного времени.

Примечания

¹ Гос. архив Одесской области (далее — ГАОО). — Ф. 39. Одесский раввинат. — Оп. 5. — Д. 84. Метрическая книга о браке Одесского раввината за 1897 год. — Л. 62, об. № 365. — У мужа двойное имя: Гозиас Герман Яковлевич. Так он упоминался всегда в документах, чаще — через дефис, а в быту значился упрощенно как Герман.

² ГАОО. — Ф. 39. — Оп. 5. — Д. 87. Метрическая книга о рождении Одесского раввината. 1898. — Л. 81. № 314. — Во всех официальных документах значился с двойным отчеством: "Филипп Гозиас-Германович" (в гимназическом аттестате, в университетских делах), в быту же — Филипп Германович.

³ Пастернак Л.О. Записи разных лет. — М., 1975. — С. 31.

⁴ ГАОО. — Ф. 45. — Новороссийский университет. — Оп. 5. — Д. 3319. Дело студента Гозиасона Филиппа Гозиас-Германовича. — 25 листов.

⁵ Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья. 1917-1939: Биографический словарь. — СПб, 1999. — С. 228. — Ошибка в отчестве Гозиасона.

⁶ ГАОО. — Ф. 368. Одесское художественное училище. — Оп. 1. — Д. 429. Зусер А.Н. — Л. 7.

⁷ Первая отчетная выставка творческого сектора художественно-скульптурных мастерских. 21 декабря 1939 года — 25 февраля 1940 года: [Каталог]. — Одесса, 1940. — С. 13, №№ 129-137; с. 25, № 544; с. 62.

Три года с мечтой об Одессе

Это — рассказ об одесском Украинском театре в годы Великой Отечественной войны. Он сложился из воспоминаний людей, которые много лет служили в нем, и для которых все происходившее в военное лихолетье — часть биографии, часть судьбы. Лет двадцать тому назад я записал воспоминания директора театра в годы войны Владимира Григорьевича Вольского, народного артиста Украины Александра Устиновича Луценко, режиссера-постановщика Иосифа Львовича Берковича. А толчком к написанию этой статьи стали записи одной из ведущих актрис Фени Львовны Шнейдер, многое прояснившие и дополнившие. Записи эти были любезно предоставлены дочерью Ф.Л. Шнейдер — хранителем музея Украинского театра Людмилой Александровной Коваленко.

29 мая 1941 года театр выехал на гастроли в Минск. Настроение у всех было приподнятым. Предыдущие гастроли в Белоруссии были успешными. Близость языков, близость культур обуславливала полное взаимопонимание со зрительным залом. На этот раз предстояло работать на сцене Белорусского драматического театра имени Янки Купалы, одной из центральных площадок столицы. Выхавший ранее для решения организационных вопросов заместитель директора В.Г. Вольский сообщал, что реализация билетов идет успешно, несмотря на конкуренцию со стороны МХАТа, который должен был работать параллельно с Одесским украинским театром имени Революции.

Поезд, на котором одесситы прибыли в Минск, торжественно встречали представители театральной общественности Белоруссии. На гастроли приехал весь творческий состав. Предполагалось показать шестнадцать работ театра, среди которых были спектакли по украинской и западноевропейской классике, пьесы современных драматургов. Одновременно предполагалось репетировать драму И. Франко "Украдене щастя".

Открылись 3 июня спектаклем "Богдан Хмельницкий" по пьесе А. Корнейчука. Затем пошли "Платон Кречет", "Васса Железнова", "Запорожец за Дунаем", "Коварство и любовь", "Цыганка Аза", "Мораль пани Дульской"... Когда выбирался свободный вечер, одесские актеры пробивались на спектакли МХАТа. На зависть рядовым минчанам гостям из Одессы на каждый мхатовский спектакль было зарезервировано десять билетов.

Как всегда, артисты Украинского театра наряду с "производственными спектаклями" охотно встречались с рабочими и колхозниками, вои-

нами Красной Армии. Одна из таких встреч состоялась в субботу, 21 июня, в Доме офицеров. Зал был переполнен. А назавтра уже в самом Театре имени Янки Купалы в 10.00 должен был состояться шефский спектакль "В степях Украины" для солдат минского гарнизона. Актеры, как всегда, пришли в театр за час до начала, загримировались. Перед началом оказалось, что в партере сидит всего восемь солдат. Это было непонятно, непривычно... Кто-то из актеров сказал, что слышал вчера в Доме офицеров, что солдат переводят в летние лагеря, намечаются маневры — возможно, причина в этом. И вдруг, как гром среди ясного неба, выразительный громкий голос народной артистки Украины Лидии Владимировны Мациевской: "Война!".

"Это было слово, которое сломало все, что происходило в недавнем прошлом, — вспоминал И.Л. Беркович. — В этот момент мелкими, микроскопическими показались все проблемы, которые обсуждались еще сегодня утром: кому-то не дали роли в новом спектакле, кому-то не добавили десятку к зарплате, кому-то не достался билет во МХАТ на "Дни Турбиных". Спектакль отменили, но никто не уходил. Что делать? Как быть дальше?.. А на улицах уже появились машины с первыми беженцами из Западной Белоруссии. А к вечеру окна домов уже были перечеркнуты бумажными крестами, а на тротуарах были выставлены мешки с песком. Весь день объявлялась воздушная тревога, но налетов не было. Всю ночь сидели у открытых окон и философствовали: что будет завтра? На 23 июня была назначена утренняя репетиция "Украденного счастья". Репетиция не была отменена. Какое отношение может иметь война к работе? Режиссер Довбыщенко проводит репетицию так, как проводил ее 21 июня. Правда, вечерний спектакль отменили. Мы пошли во МХАТ на "Школу злословия". В зале человек сто. При движении поворотного круга на сцене все вздрагивают, прислушиваются: думают, что бомбежка. Мы тогда еще не знали, что это такое... Мы решили 24-го прийти в театр и жить там все вместе. 24 июня в 9 часов утра немцы начали бомбить город и не прекращали, пока мы не покинули Минск. Первый налет застал нас по дороге в театр. Мы бросились в какую-то подворотню, оттуда в подвал. Там набилось невероятное количество народа. Люди стояли, сидели, лежали, прижавшись друг к другу... Многие молились — на русском, белорусском, украинском, еврейском языках. Как только бомбежка затихла, мы побежали в театр. Там уже собралась вся труппа. Многие захватили с собой чемоданы. Но распоряжения об эвакуации пока не было. Настроение у всех было подавленное безысходностью и бездействием.

Вскоре все ощутили голод. Узнали, что на улице Ленина из каких-то складов раздают продукты. Объявилось несколько смельчаков. Под свист пуль, выпускаемых самолетными пулеметами, и шум падающих бомб они побежали за продуктами. К счастью, никто не пострадал. Они принесли продукты, но никто к ним не притронулся. Как раз когда они вернулись, бомба попала в задний флигель театра и разбила декорацию готовившегося спектакля "Украдене счастья". Впрочем, тогда мы все ясно осознавали, что счастье каждого из нас украдено надолго..."

24 июня актеры, подлежащие мобилизации, отправились в ближайший военкомат и больше не возвращались. В пять часов вечера пришел только директор театра Раев — он был офицером запаса — и сказал, что уходит на фронт. Свои полномочия он передал Владимиру Григорьевичу Вольскому. Актерам разрешили выбираться из пылающего пожарами города, кто как сможет. Но в одиночку выбираться никто не захотел. Свои вещи одесситы заперли в кладовке театра, ключи отдали дежурному, хотя каждый понимал, что вряд ли вернется за ними. На улице увидели горящую машину и обугленный труп водителя: для них это была первая жертва войны.

Уходить из Минска решили тремя группами. Первую возглавил В.Г. Вольский. Он нес в руках пачку афиш. Когда его спросили, зачем он это делает, Владимир Григорьевич ответил: "Пока есть афиши, мы — театр". У многих эта фраза вызвала горькую иронию. Но, как оказалось, Вольский был прав. Его не подвело чутье театрального человека.

Несколько слов о нем. Владимир Григорьевич родился в Одессе в интеллигентной семье. Однако вопреки желанию близких, которые хотели видеть его юристом или врачом, он с юных лет привязался к театру. Работал расклейщиком афиш, распространителем билетов, администратором. Когда в 1926 году в Одессу приехал в качестве главного режиссера молодой В.С. Василько, они быстро нашли общий язык, сблизились. В 1928-ом, когда Василий Степанович с группой молодых актеров уехал из Одессы в Харьков, чтобы возглавить Червонозаводский украинский театр, Вольский поехал с ним. С Василько он служил в украинском театре в Сталино (Донецк), а затем в 1939 году с Василием Степановичем возвратился в Одессу. Владимир Григорьевич прожил большую жизнь. Он пользовался огромным авторитетом среди театральных деятелей не только в Украине, но и в Москве, и в Питере, многие администраторы с гордостью называли его своим учителем.

Ночь с 24 на 25 июня одна из групп провела в лесу. Конечно, никто не

спал. Они были свидетелями дерзкого вражеского десанта, который, к счастью, был обезврежен нашими воинами. В напряженной тишине раздавались тревожные гудки эшелонов, направлявшихся на восток. Наутро стаи вражеских стервятников пролетели над лесом — и вскоре раздались взрывы: бомбили индустриальные окраины Минска. По лесу шли три дня в сторону Могилева. Лето было жарким. Хотелось пить. Но все колодцы по пути разбиты. На дне какая-то серая жижа... Но жажда была настолько острой, что пили и эту воду.

По дороге валялись чемоданы с каким-то скарбом, но на них никто не обращал внимания: в такие минуты люди осознают, насколько ничтожны все материальные ценности в сравнении с великим Божьим даром — жизнью.

Из воспоминаний И.Л. Берковича: *"За три дня мы прошли расстояние в сто пятьдесят километров в сторону Могилева. Немцы буквально наступали на пятки. По ночам они на парашютах сбрасывали фонарики, которые освещали местность, а вслед за этим с самолетов сбрасывали парашютистов. Наши красноармейцы их ловили в лесу и тут же расстреливали. К исходу третьего дня от усталости мы уже не могли двигаться... И вдруг — не верим своим глазам: машина везет в Могилев раненых. В кузове есть места. Умолили — и нас взяли. На подъезде к Могилеву неразбериха, заторы на дорогах. Немцы вот-вот войдут в город... Нам повезло: удалось попасть в товарняк, который шел на Сухиничи. Потом мы узнали, что труппа наша собирается в Сталинграде, и поехали туда..."*

Две другие группы, выйдя из Минска, встретились в лесу и дошли до станции Колодищи. Здесь Вольский проявил поистине чудеса своего административного таланта: ему удалось усадить всех в товарный поезд, отправлявшийся в Куйбышев. Оттуда по Волге добрались до Сталинграда.

Из воспоминаний Ф.Л. Шнейдер: *"В Сталинграде стало ясно, что о возвращении в Одессу мечтать не приходится. Пока решалась судьба театра, нас отправили в совхоз "Лебяжья поляна", где мы собирали урожай. Мужчины работали грузчиками. Так продолжалось до конца лета"*.

Нужно было думать, как жить дальше. В.Г. Вольский обивал пороги разных инстанций, доказывая, что Одесскому украинскому театру необходима помощь.

Из воспоминаний В.Г. Вольского: *"Я горячо убеждал партийных руководителей, что наш театр может принести неоценимую помощь армии и гражданскому населению. В Сталинграде собралось ядро нашей труппы — Мещерская, Загорянская, Крамаренко, Бабенко, Луценко,*

Шнейдер, Михалевич, Ващенко, Орловский, Музыченко, Балакин, Цыпа, Чернов, были высокопрофессиональные режиссеры, художник-постановщик, музыканты, опытейшие работники постановочной части. Правда, ни декораций, ни костюмов, ни париков... Все пропало в Минске. Тогда я обратился к коллегам, и сталинградские театры помогли, чем могли. Но этого, конечно, было недостаточно. Решили организовать концерт и весь сбор пустить на организационные расходы. Билеты продали. Аншлаги. А выходить актерам не в чем. Одна пара приличной обуви была у Мещерской, у которой тридцать четвертый размер. Женщины, выходя на сцену, менялись одеждой, чтобы "иметь вид". Помню, с какими вздохами надевали туфли Мещерской те, у кого размер обуви был большим. Но что тут поделаешь!.. На вырученные деньги купили обои, газеты, краски и сделали оформление к двум спектаклям — "Ой, не ходи Грицю..." и "Цыганка Аза".

Вот гдегодились афиши, которые Вольский пронес от Минска до Волги!

9 сентября первый "Гриць". На спектакль пришло много украинцев, которые со слезами на глазах слушали родную речь, родные мелодии. Играли спектакли в Доме офицеров, в совхозе "Красная слобода", на Тракторном заводе... Перед спектаклем директор театра Вольский вышел в зал, прошел по рядам и попросил зрителей, которые пришли в сапогах, дать их на время актерам. Взамен он раздавал туфли и галоши. Однако публику это нисколько не смущало.

В Волгограде театр оставался недолго. Его перевели в Урюпинск. Помещение тамошнего театра было в ужасном состоянии — там размещался пересылочный пункт. Весь театральный коллектив принимал участие в уборке и приведении театра в порядок. А в городе, несмотря на то, что фронт приближался, царил зрительский ажиотаж. Касса открывалась в 11 часов, а очередь за билетами образовывалась в девять. Актеры играли, не зная усталости.

Из Урюпинска В.Г. Вольский съездил в Москву и в Харьков и "узаконил" существование одесского украинского театра как эвакуированного. Это позволило обеспечить труппу хлебными карточками, выплачивать заработную плату и главное — получать средства на постановку новых спектаклей.

"7 ноября коллектив театра собрался вместе, чтобы отпраздновать годовщину Октябрьской революции. На стол высыпали ведро семечек — это было все угощение. Но праздник все равно получился. Люди вспоминали

Одессу, близких. Все верили, что победа будет скорой, и они возвратятся к родным черноморским берегам.

Поздняя осень в Урюпинске была холодной. Помещение, естественно, не отапливалось. Часто не было света, и спектакли проходили при освещении керосиновыми лампами. Но публики в зале всегда было много.

В начале ноября театр получил приказ об эвакуации в город Токмак Киргизской ССР. 7 декабря прибыли на место".

Из воспоминаний А.У. Луценко: *"Перед отъездом стали искать по карте Токмак. Увы, он даже не был там обозначен. Уже когда добрались на место, узнали, что это городок в шестидесяти километрах от столицы республики Фрунзе. Маленький городок, мягко сказать — неухоженный. Игнали в здании церкви, конечно, не приспособленном для театральной работы, с очень плохой акустикой. Но что делать? 23 декабря сыграли "Ой, не ходи Грицю...", 4 января — "Платон Кречет", затем "Наталку Полтавку", "Легенду про матір" Герасименко... Восстановили "Коварство и любовь". Сегодняшним людям, вероятно, трудно себе представить, какую роль играл театр в то время. Он был праздником для воинов, отправлявшихся на фронт, для труженников тыла, которые работали по двенадцать-четырнадцать часов, для вдов, для детей... В те годы в коллективе театра царила особая атмосфера, я бы даже сказал — идеальная атмосфера, когда каждый осознавал меру ответственности за свое дело. Мы много репетировали. Каждый спектакль игрался с максимальной отдачей. Мы дорожили каждым добрым словом, сказанным зрителями. Мы полностью принадлежали им, а в те несколько часов, что шел спектакль, они принадлежали нам. Какое счастливое единство!.."*

В Токмаке происходило то же, что и в Урюпинске. Электричество получали от "движка". Случалось, что спектакль шел... четыре дня. Свет тух, публика расходилась, а назавтра все начиналось сначала. В Музее Украинского театра хранится телеграмма, содержание которой отражает условия существования коллектива в Токмаке:

27 октября 1942 года.

Зам. председателя СНК Кирг. ССР

Тов. Реброву.

Решением СНК СССР и СНК Кирг. ССР от 15 декабря 41 года Одесский Гос. Укр. Театр Революции направлен на постоянную базу в г. Токмак. Работая там, театр, проводит большую политмассовую работу, обслуживая военные части, госпитали, строительство ВЧК, посевную и вы-

езды в колхозы. Театр с большим художественным успехом гастролировал в г. Фрунзе. К XXV-летию Великой Октябрьской революции театр должен выпустить пьесы о Великой Отечественной войне — "Партизаны в степях Украины" и "Русские люди". В связи с отсутствием света в г. Токмаке театр становится в условия срыва всей производственно-финансовой работы и вынужден ставить перед вами вопрос о дальнейшем существовании. Дирекция театра просит вас выделить на ноябрь и декабрь месяцы для существования и работы театра в гор. Токмаке 2.670 кг горючего.

Директор театра В. Вольский.

Судя по всему, организационные усилия руководства приносили желаемый успех. О творческой стороне дела свидетельствует количество спектаклей, которые были восстановлены и поставлены в Токмаке. Постановки осуществляли главный режиссер театра Б. Борин, режиссеры П. Киселевич, К. Чернядев, оформлял спектакли художник С. Кузнецов, музыкальной частью руководил Я. Вайнштейн. Украинская классика была представлена "Запорожцем за Дунаем", "Лимерівной", "Сватанням на Гончарівці", "Цыганкой Азой", "Ой, не ходи Грицю...", "Наталкой Полтавкой", "Бувальщиной". Шли пьесы Корнейчука и Симонова, возродилась "Васса Железнова".

Огромную работу проводила труппа театра по обслуживанию воинских частей и госпиталей. В организации концертов принимала участие не только администрация театра, но и актерская общественность. Здесь особо следует подчеркнуть вклад актрисы Ф.Л. Шнейдер в военно-шефскую работу: благодаря ей были организованы десятки концертов. Театр выступал перед воинами не только в тылу — группа артистов выезжала на Северный фронт. В записках Ф.Л. Шнейдер читаем: *"11 марта 1943 года. Выехала на фронт бригада в составе: Л. Мацневская, А. Крамаренко, Г. Бабенко, Ф. Шнейдер, В. Балакин, А. Чернышев, А. Иванова, Я. Вайнштейн, С. Черноморец, Е. Блох. Руководитель бригады — Б. Борин. Репертуар: "Бувальщина", "Наталка Полтавка", концерт. Маршрут: Фрунзе — Москва — Северный фронт. Вернулись в Токмак 6 июля"*.

О том успехе, который имели выступления бригад, созданных из актеров Одесского украинского театра, свидетельствует пресса времен войны. Газета "Сталинский воин" от 23 мая 1943 года: *"Одесские артисты своим искусством внушают веру в победу над ненавистным врагом. Это искусство солнечно, остроумно, в нем неиссякаемый оптимизм одесситов"*.

Фронт отодвигался на Запад. Надежда на возвращение в родную Одессу становилась все реальнее. Во второй половине марта 1944 года театр выехал на длительные гастроли в Куйбышев. Здесь коллектив узнал об освобождении родного города.

Из воспоминаний А.У. Луценко: *"Шел спектакль — и вдруг за кулисами раздался чей-то голос: "Одессу освободили!". Спектакль остановился. Актеры, стоявшие на сцене, сияли счастьем. На глазах у многих были слезы радости. Зал стоя приветствовал одесситов. Это мгновение жизни, которое никогда нельзя забыть!"*.

3 августа 1944 года коллектив Одесского украинского театра имени Октябрьской революции возвратился в Одессу. В труппу влились актеры, которые работали здесь в период оккупации. А 23 сентября 1944 года спектаклем "Партизаны в степях Украины" театр открыл новый сезон. В афише — четырнадцать названий.

Еще шла война. До великой Победы было не близко. Но в здании на Пастера, 15, шла напряженная творческая работа. Самая мирная. И совсем недавно освобожденный город с благодарностью следил за ней, ибо Украинский театр всегда был в Одессе любимым.



Наталья ПОЛИЩУК

"Во мне болит все человеческое"



Как быстро пролетело время — вот уж и 10 лет, как нет среди нас Сергея Полищука, адвоката, журналиста, поэта... и просто веселого доброго человека. Моего отца. Чем дальше от этого дня, тем больше хочется рассказать о нем, о семье, об окружении, о той атмосфере, в которой он жил и которую создавал вокруг себя. О том, каким он был — и почему был таким, а не иным. Какая кровь текла в его жилах и что его сформировало. Именно поэтому в своей статье мне захотелось обратиться к истокам — его предкам. И не в угоду времени или чтобы покрасоваться, пишу я о предках наших, а чтобы еще раз попытаться понять феномен моего отца, удивительно свободного человека (в самые несвободные времена), никогда не искавшего благ у власти, раба только своей совести и чувства собственного достоинства. А еще мне хочется напомнить о его и их следе в нашем городе.

"Я рад, в моей крови смешалось сто кровей:
Суровый славянин, насмешливый еврей,
Грек — тертый гражданин, разбойник ста морей,
Я рад, в моей крови смешалось сто кровей!"

* * *

Сергею Полищуку повезло дважды. Во-первых, он родился (это я объясню чуть позднее). Во-вторых, он родился в Одессе, в семье, которая была связана с этим городом еще до официальной регистрации в виде Одессы. В 1792 году корнет Степан и кадет Давид Флоринские получили во владение землю в Ананьевском уезде. Имение Флоринских просуществовало там до самой революции. Здесь гостили летом все дети, жившие в Одессе, Петербурге, Тифлисе и Варшаве. Отсюда в 1880-х годах была

Фронт отодвигался на Запад. Надежда на возвращение в родную Одессу становилась все реальнее. Во второй половине марта 1944 года театр выехал на длительные гастроли в Куйбышев. Здесь коллектив узнал об освобождении родного города.

Из воспоминаний А.У. Луценко: *"Шел спектакль — и вдруг за кулисами раздался чей-то голос: "Одессу освободили!". Спектакль остановился. Актеры, стоявшие на сцене, сияли счастьем. На глазах у многих были слезы радости. Зал стоя приветствовал одесситов. Это мгновение жизни, которое никогда нельзя забыть!"*.

3 августа 1944 года коллектив Одесского украинского театра имени Октябрьской революции возвратился в Одессу. В труппу влились актеры, которые работали здесь в период оккупации. А 23 сентября 1944 года спектаклем "Партизаны в степях Украины" театр открыл новый сезон. В афише — четырнадцать названий.

Еще шла война. До великой Победы было не близко. Но в здании на Пастера, 15, шла напряженная творческая работа. Самая мирная. И совсем недавно освобожденный город с благодарностью следил за ней, ибо Украинский театр всегда был в Одессе любимым.



Наталья ПОЛИЩУК

"Во мне болит все человеческое"



Как быстро пролетело время — вот уж и 10 лет, как нет среди нас Сергея Полищука, адвоката, журналиста, поэта... и просто веселого доброго человека. Моего отца. Чем дальше от этого дня, тем больше хочется рассказать о нем, о семье, об окружении, о той атмосфере, в которой он жил и которую создавал вокруг себя. О том, каким он был — и почему был таким, а не иным. Какая кровь текла в его жилах и что его сформировало. Именно поэтому в своей статье мне захотелось обратиться к истокам — его предкам. И не в угоду времени или чтобы покрасоваться, пишу я о предках наших, а чтобы еще раз попытаться понять феномен моего отца, удивительно свободного человека (в самые несвободные времена), никогда не искавшего благ у власти, раба только своей совести и чувства собственного достоинства. А еще мне хочется напомнить о его и их следе в нашем городе.

"Я рад, в моей крови смешалось сто кровей:
Суровый славянин, насмешливый еврей,
Грек — тертый гражданин, разбойник ста морей,
Я рад, в моей крови смешалось сто кровей!"

* * *

Сергею Полищуку повезло дважды. Во-первых, он родился (это я объясню чуть позднее). Во-вторых, он родился в Одессе, в семье, которая была связана с этим городом еще до официальной регистрации в виде Одессы. В 1792 году корнет Степан и кадет Давид Флоринские получили во владение землю в Ананьевском уезде. Имение Флоринских просуществовало там до самой революции. Здесь гостили летом все дети, жившие в Одессе, Петербурге, Тифлисе и Варшаве. Отсюда в 1880-х годах была

отправлена в Одессу в Институт благородных девиц (таковой существовал и в нашем городе) старшая дочь Нина Флоринская. В Одессе девочку поселили у тетки (где же, как не у родственников?), генеральши Кич, тогда — близкого друга, а затем — жены Г.Г. Маразли. В доме Кич девочка прожила практически до самого своего замужества с одесским прокурором Александром Скопинским. Родственники что-то ворчали о мезальянсе — Флоринские из старых дворян, Скопинские — дворяне жалованные за собственные заслуги, — но вскоре утихли. Тем более, что карьера прокурора складывалась удачно, вскоре он уехал с повышением в Тифлис, затем стал Товарищем прокурора Российской империи (сегодня соответствует заместителю Генерального прокурора). Семья уже жила в Петербурге, в ней было 2 детей, родившихся кто в Одессе, кто в Тифлисе.

В 1911 году А. Скопинского не стало, он был убит в поезде то ли бандитами (официальная версия), то ли террористами-революционерами. После долгих мытарств и обращения к высокопоставленным родственникам жена получила генеральскую пенсию, а дети определены — сын в Училище правоведения, дочь — в Смольный Институт благородных девиц. И в те времена это было очень непросто.

Затем — революция, бегство из Петербурга к маме в имение, но и тут неспокойно — глаза крестьян не предвещали ничего хорошего. Одесса. Сын — в Добровольческой армии, дочь подрабатывает ведением хозяйства у более богатых родственников. Тиф в 16 лет. Выжила Маруся чудом — сосед-чекист отнес девочку на руках в больницу и обещал перестрелять всех врачей, если она не выживет. Выжила. А сосед погиб через неделю.

И вот теперь собственно о чуде появления С. Полищука на свет. Когда Маруся получила предложение поработать секретарем у молодого адвоката-еврея Петра Матвеевича Полищука в Тирасполе, все родственники встали на дыбы: "Ни в коем случае! Она же дворянка, а он — еврей!" (семья отнеслась бы спокойно к любому пьянице и картежнику, каких, кстати, было довольно и среди родственников, но к своему, дворянину, русскому).

Здесь Маруся впервые в жизни — в 17 лет! — проявила твердость характера, надела платье, сшитое из мешка АРА, потребовала у родственников свою зарплату и уехала в Тирасполь. Так, благодаря революции, смешавшей все сословия, они встретились. Через год молодая семья вернулась в Одессу, и Петр Матвеевич вступил в коллегия адвокатов. А в 1929 родился сын Сергей.

О П.М. Полищуке — адвокате — рассказывали много хорошего, осо-

бенно о его участии в защите людей по политическим статьям в 37-38 годах. Коллеги говорили, что многим он смог спасти жизнь, переведя их "злодеяния" из разряда политических в разряд уголовных, а за уголовные преступления наказания были гораздо мягче.

Однажды в середине 80-х на улице ко мне подошла очень пожилая женщина. Она спросила, не имею ли я отношения к адвокату Полищуку. Я ответила, что я — его дочь. Она улыбнулась: "Внучка, наверное. Я работала секретарем у Петра Матвеевича до войны... Вы так на него похожи... А я не знала, что его сын — тоже адвокат...". Вспоминала она не много — все больше плакала...

Думаю, именно Петр Матвеевич, судя по тому, как описывал его отец, заложил в него этот дух внутренней свободы при очень обостренной совестливости, который отмечали все его друзья. Петр Матвеевич был человеком веселым, остроумным, изумительным рассказчиком. Об этой их довоенной, почти безмятежной жизни лучше читать не у меня, а у Сергея Полищука в романе "Купель на площади" (Одесса, 1995). Вообще, роман этот, который писался почти всю жизнь, это — дань любви, обожания отцу, которого Сергей потерял в 12 лет в гетто. И об этом тоже — в романе. И об оккупации правду глазами очевидца — там же. Сегодня иные легко-весно заявляют: "При румынах в Одессе было хорошо: работали рестораны, магазины. А евреев можно было у румын выкупать за деньги". Мне грустно и страшно: подмена лжи не несет правды. Хорошо, если кому-то повезло выкупить близких. Моей бабушке — не повезло.

Но сына она сохранила.

Мария Александровна Полищук не была ни героем, ни особенно отважным человеком, побаивалась дворника, да и вообще любого хама. Но несколько раз в жизни проявляла восхитительное мужество. Во время оккупации, борясь за жизнь мужа, затем — спасая сына, сделав ему поддельные документы и срочно поменяв место жительства. А то, что она еще до войны переборола протесты семьи и наветы "подруг" ("Как можно отпускать ее в институт? Там же мужчины! И вообще, зачем жене адвоката высшее образование?") и поступила учиться в Институт иностранных языков? Она закончила институт после войны и потом всю жизнь преподавала французский язык.

Она пережила сына и умерла в абсолютно здравом уме в 92 года, много читала, в основном по-французски, а незадолго до смерти вспомнила еще и немецкий язык, который не использовала лет эдак 50, и довольно свободно общалась с моими немецкими приятелями.

Закончив после войны юрфак, Сергей поехал по назначению в прокуратуру Днепропетровска, где проработал всего несколько месяцев, до того момента, когда кадровик нашел время прочесть его анкету, в которой честный юноша указал: "был в оккупации". По поводу этого увольнения С. Полищук написал свою первую ерническую поэму-пародию, которая еще долго ходила по рукам в коридорах Днепропетровской прокуратуры.

Вернулся в Одессу, помыкался без работы, стал пописывать в газеты. И получил "комсомольскую путевку" на работу в газету в Черкассы. Здесь он встретил свою Нину, здесь они прожили несколько веселых лет и поехали в Минск, к Нине на родину. О белорусских годах жизни отец рассказал в повести "Старые Дороги" (Одесса, 1995) — он написал ее одним духом, как любил рассказывать эти истории друзьям...

В начале 60-х годов стало ясно, что те перспективы, на которые рассчитывали в Белоруссии молодой адвокат-журналист и его супруга, сильно преувеличены их наивной фантазией и сильно затруднены порывистым и жаждающим справедливости характером Сергея. Его все больше тянуло в Одессу, к друзьям, тем более, что те уже и работу ему присмотрели — редактором на киностудии. В 1962 г. наконец произошло: квартира обменена, работа есть, вокруг друзья, море и солнце.

В 60-70-е годы в доме у нас бывали художники Олег Соколов, Владимир Криштопенко, Ким Литвак с неизменной гитарой и первыми песнями Высоцкого и Окуджавы. Бесконечной вереницей проходили обмывающие новые книги писатели и поэты, но чаще других бывали В. Домрин, Б. Нечерда, А. Зорич, С. Стриженюк и А. Львов, под тяжестью которого ломались хрупкие трехногие табуретки. Однажды, придя из школы, я увидела за столом незнакомого молодого мужчину. Он оказался автором "Мясоедовской" — полузабытым сейчас поэтом Морисом Бенимовичем. Часто приходили журналисты В. Нечипорук, Е. Голубовский, Ф. Кохрихт, Б. Езерская и многие-многие другие. Постоянно бывали юристы Л. Ямпольская и Я. Борисов, и актрисы И. Черкасская и Е. Куклова, и врачи С. Гешелин, Л. Авербух, Б. Куклов — они дружили с папой еще с довоенных и военных времен. О каждом из этих людей есть что рассказать особенного, неповторимого. Бог даст, когда-нибудь я это сделаю. Но все они, общаясь с родителями и друг с другом, создавали особую ауру — ауру нашего дома.

Со времен работы отца на киностудии я помню замечательного человека, известного сценариста Григория Колтунова, а после съемок у К. Му-

ратовой в "Перемене участи" в доме появились новые друзья — режиссер Н. Попова и любимый актер Муратовой, "не от мира сего" В. Карасев. И никто никогда не ушел ненакормленным, трезвым или злым. Яркая личность отца, его искренний интерес к другим людям, его доброжелательная раскованность, оттененная неизменной добротой и хлебосольностью, умом и обаянием мамы, привлекали к нам всех, знаменитых и неизвестных, очень разных людей — приехавшего из Бразилии репатрианта Тиму Чеботаева с женой Броней, мамину коллегу — экономиста Стеллу Едемскую (ее муж до сих пор ревнует ее к папе!), которые стали ближайшими друзьями на всю жизнь.

Помню, почти каждый вечер: полный дом гостей, песни В. Высоцкого, А. Галича, А. Вертинского, П. Лещенко, шутки, смех, стихи до утра, танцы, розыгрыши, шум — и вечное ворчание бабушки, что бюджета ни на что не хватает, что надо экономить... А завтра все сначала... А потом появился еще один звук, который до сих пор вспоминают с улыбкой многие соседи: стук пишущей машинки по ночам. Сергей начал серьезно писать. В 1967 г. опубликована повесть "Ищу человека", обобщение адвокатского и журналистского опыта. Полудетектив, она была раскуплена в первую неделю, и в доме осталось всего несколько книг, а сейчас — вообще одна, на вес золота.

Он сразу сел за "Купель на площади", но в 1969 году, когда роман был закончен, все обстоятельства были против Сергея. Он успел серьезно поссориться с директором издательства "Маяк", где работал редактором (как это уже случалось и в Белоруссии, он защищал "обиженного", который тут же от его защиты и отрекся). И директор отомстил самым доступным ему способом: заказал уничтожающую рецензию, после которой не то что издавать роман нельзя, но лучше бы посадить автора... Слава Богу, это был уже (или еще?) 69 год, и ругали в одной статье в "Знамени коммунизма" — его, который посмел говорить об оккупации Одессы без "руководящей роли партии и подполья", и Киру Муратову, которая тоже... (ее за фильм "Дети подземелья").

Действительно, кому же в 69 году нужна была правда об оккупации? Сталинские лозунги о том, что все люди, которые оставались на оккупированной территории и вели свою маленькую борьбу за выживание в нечеловеческих условиях, включая грудных младенцев, — изменники и пособники фашистов — эти лозунги не только не были отменены, на них строилась идеология. (Помните, уважаемые соотечественники, до какого времени в анкетах была графа "Не был(а) ли (или

родственники) на оккупированных фашистами территориях"? — год отмены чуть ли не 1986!).

Несправедливая, откровенно хамская критика ввергла Сергея в глубочайшую депрессию, а тут еще и потеря работы в издательстве, куда он, естественно, и не хотел возвращаться.

Прошла его угнетенность, когда в 1973 г. удалось снова заняться любимым делом — защищать людей, стать членом Одесской коллегии адвокатов. Снова по вечерам — гости, рассказы о курьезных делах, смех...

Среди друзей 70-80-х годов хорошо помню Никиту Брыгина, как раз тогда создававшего Одесский литературный музей. С ним связана такая история: Никиту Алексеевича решили посадить в тюрьму (не то купил что-то для музея, да не так заплатил... в общем, характерная для конца 70-х история). Он был вызван в прокуратуру, но попал в обеденный перерыв. Сидел в коридоре, ждал. Ему сказали: "Идите, поешьте, вернетесь после обеда, мы вас сажать будем". Он и пошел поесть, к счастью, к нам — рядом, да и с адвокатом Полищуком посоветоваться. Ни в какую прокуратуру после обеда отец его не пустил, уложил в больницу (где через 3 дня Никиту Алексеевича догнал инфаркт), оттянул явку в суд, выделил дело в отдельное производство и добился условного наказания. Так что, то, что легендарная в Одессе личность Никита Брыгин умер в своей постели — заслуга адвоката Сергея Полищука.

И снова стук машинки по ночам: пошли циклы очерков в газеты о следователях, об оперативниках. И — стихи. Сначала — юмористические пародии на коллег и клиентов, на будни юридической консультации (ЮК) и т. д.

"В ЮК, где проживал Романцев,
Где он творил и управлял,
Каких чудовищ и поганцев
Любой из нас не наблюдал!
Там на заре выносят волны
На брег печальный и пустой
Ханыгу, двух придурков полных,
Русалку с рваною губой...
Там полудьявол, полуптица
Разбойник, некто Соловей
Желает пенсии добиться
И машет грамотой своей,

В которой, кстати, говорится,
Что он — отъявленный злодей,
Но что злодейства делу предан,
Сомненья никогда не ведал
И убивал, Господь спаси,
Еще с Крещения Руси..."

Эти милые пародии потянули за собой гораздо более серьезные стихи — и вот уже в 76 г. появляется на свет "Иродиада" и "Ешуа", за ними и другие, составившие затем сборник "Песни рыжего клоуна" (Одесса, 1989).

Писать в стол — сложно. Почти невозможно. Отсутствие реакции для писателя, особенно для такого экстраверта, каким был Сергей Петрович Полищук, это как состояние заключенного в одиночной камере. Стихи — это та отдушина, через которую он задышал: стихи читаются друзьям, есть их реакция, улыбка или сопереживание, и это — подпитка для автора. Это — эмоциональный выход, и он найден. Теперь Сергей, всегда вдохновенно читавший друзьям Г. Гейне и Ф. Вийона, читает свои стихи — и друзьям они нравятся. И он создает новые — грустные, злые, философские, добрые, ироничные, откровенно шутовские. Хотя веселых среди них не много.

"Стихи мои — враги мои,
Мои друзья и братья,
Мой праздник, мой счастливый миг
И вечное проклятье".

"Во мне болит все человеческое" — определил их автор словами из К. Чапека. Боль за несправедливость и гнусность мира, за несбыточность мечты, за невозможность что-либо изменить...

"Главное что в жизни?
Главное — найти жилу.
Сделаться одержимым,
Радоваться, скорбя.
Главное — боль и жжение,
Главное в постижение,
Главное — встретить Бога,
Истину и себя".

эзия жизнеутверждающая, помогающая обрести равновесие в мыслях и чувствах. При кажущейся внешней простоте она возвеличивает человека, делает его несокрушимым в борьбе с невзгодами.

"Но кто есть, Боже, человек,
Что Ты вознес его над миром,
Вручил орало, меч и лиру,
Святой Свой даровал завет?..
Кто он: горсть праха, пепел, тлен
Или Твоей наследник славы?"

Два с половиной года, на которые только и пережил свою Нину Сергей Полищук, оказались самыми продуктивными в его творческой жизни. Был подготовлен к изданию, набран и оформлен рисунками С. Ильина и В. Хвостанцева сборник стихов "Библейские напевы" (Одесса, 1994), написано несколько рассказов и повесть "Старые Дороги", составившие затем сборник "Записки адвоката" (Одесса, 1995). Видимо, так было легче переживать потерю, вспоминая и воссоздавая свою романтическую молодость в Белоруссии.

* * *

Отец успел подержать в своих руках всего две из своих книг — "Ищу человека" и "Песни рыжего клоуна". Остальные я доделала и издала уже после его смерти. Доделала — потому что вскоре исчез издатель "Библейских напевов" (уехал в Германию, и почему-то очень срочно), оставив меня с отпечатанными, но не вычитанными страницами книги, частично потерянными рисунками, не разобранными листами.

Но и после смерти проявляется поразительная притягательность личности поэта Сергея Полищука. Прочитав его стихи — "Песни рыжего клоуна", в дом с предложением помощи пришел новый человек — Михаил Грайжевский. Он помог собрать "Библейские напевы" с наименьшими потерями, он помог мне затем и с изданием "Купели на площади" и "Записок адвоката". Носился, переживал, устраивал подешевле — ведь издание было осуществлено за мой счет. И стал нашим с папой искренним другом.

Наверное, удивительнее всего, что отец предвидел, знал, что его книги буду издавать я. Он готовил меня к этому с детства, рассказывая, что тот или иной писатель не увидел бы света, если бы не дети и жены (любимый пример — Д. Кедрин).

И еще о восхитительном притяжении личности Полищука и его стихов. Год назад игуменья Серафима, большой друг отца и поклонница его таланта, привела ко мне композитора Валентину Ульяш. Я подарила ей книгу — "Библейские напевы", а спустя совсем немного времени В.В. Ульяш пригласила послушать, что у нее получилось. В некоторых псалмах попадание музыки было настолько точным, что мороз пробежал по коже. С Божьей и нашей с матушкой Серафимой помощью вокальный цикл Валентины Ульяш "Библейские напевы" на стихи Сергея Полищука вышел в свет (Одесса, 2003 г.). А это означает, что и сегодня эти стихи волнуют, радуют, зовут к сотворчеству!

* * *

Думая о судьбе отца, я понимаю, что этот удивительный человек жил, стараясь ежедневно подняться на какую-то нравственную, творческую высоту, вложить что-то хорошее в этот мир — и иметь возможности радоваться результату. Эта атмосфера подъема распространялась на близких, на друзей, на знакомых. Наверное, поэтому и через 10 лет после смерти его помнят, любят, говорят о нем с улыбкой, с блеском в глазах, который был зажжен его вдохновением. Да, вероятно, вдохновение — именно то слово, которым и можно определить его жизнь. Он вдохновенно творил, кому-то помогал, защищал, читал стихи, слушал чужие, радовался чужой радости, страдал, падал в пропасти, расширялся и взмывал из них ввысь.

"...Я счастлив жить на Земле,
Где Слово — громов сильней,
Оседланы хлябь и твердь,
Где Смех попирает смерть...

Я счастлив жить на Земле,
На тонущем корабле,
Средь воплей, метаний, бурь,
Я верую — я гребу!"

Кредо, сконцентрированное в творчестве

Я хочу рассказать о своем отце — старейшем кинодраматурге, режиссере, писателе, музыканте Григорий Колтунове.

За свою жизнь (1907-1999 гг.) отец создал около 80 произведений: сценарии, пьесы, повести, рассказы, два романа. По его сценариям было поставлено около 40 фильмов, многие из которых нередко и сегодня с удовольствием смотрят телезрители. Это "В дальнем плавании", "Максимка", "Сорок первый", за сценарий к которому отец был отмечен специальной премией жюри Каннского фестиваля. Это "ЧП", после выхода которого на экран все мальчишки скрещивали пальцы, подражая одному из героев фильма — одесситу Райскому (В. Тихонов). Это "Тадюка", "Неотправленное письмо", "Искушение Дон Жуана", "Зеленый фургон" — тот односерийный, черно-белый, с непревзойденным Тарапунькой-Тимошенко в роли милиционера Грищенко. В новый 2001 г. московское телевидение показывало фильм, в котором отец выступил и как сценарист, и как режиссер. Он назывался "Черная чайка". В 60-е годы фильм пользовался большим успехом, но затем был положен на полку из политических соображений.

Но мне хотелось бы рассказать о другой работе отца — о трех лентах, за которые он получил звание заслуженного деятеля искусств Таджикистана (за 20 лет до присвоения аналогичного звания в Украине). Кстати, Колтунов — коренной одессит — был единственным, кому было присуждено звание к 60-й годовщине провозглашения Таджикской Советской Социалистической республики — вот такой парадокс!

Но дело не в присуждении звания за фильмы, и даже не в том, что эта трилогия по "Шах наме" Фирдоуси заняла первое место на кинофестивалях стран Азии в Ташкенте и Баку. Дело в другом. В трилогии нашли отражения взгляды отца, его философия, его понимание жизни и места творца в ней.

Фильмы, вошедшие в трилогию, назывались: "Сказание о Рустаме", "Рустам и Сухраб" и "Сказание о Сиявуше". Сценарии к ним были написаны в стихах-бейтах (так назывались ирано-персидские двустишья, которыми писал Фирдоуси). Почти 70% бейтов — это стихи отца.

Дело в том, что кино требует развернутого сюжета, который сопро-

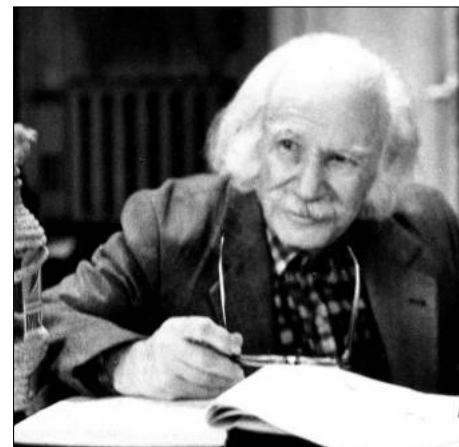
вождается монологами, диалогами, которых нет у Фирдоуси. У великого поэта в одном-двух бейтах мог быть заключен целый эпизод, который в фильме занимал значительное экранное время. Поэтому отцу пришлось много дописывать. По мнению востоковедов, занимающихся творчеством Фирдоуси, бейты отца достойно соседствуют с бейтами самого поэта.

Для меня эти бейты, эти стихи дороги потому, что они стали выразителями философии Григория Колтунова, моего отца. О них и пойдет речь.

Но сначала о том, почему вот уже два десятилетия, как трилогия исчезла с экранов.

С ней так же, как с "Черной чайкой", злую шутку сыграла политика. В случае с "Черной чайкой" роковую роль сыграло снятие напряженности в отношении с Америкой. Показалось неудобным демонстрировать фильм, в котором в злоключениях героев был виноват американский шпион-диверсант, действовавший под личиной циркового артиста, работающего номер Вильгельма Теля. Его здорово играл Сергей Юрский. (Года два назад я на встрече с Сергеем Юрьевичем напомнила ему о картине. Реакция Юрского, который перед этим довольно небрежно отозвался о своей работе в ленте "Место встречи изменить нельзя", была восторженно-ностальгическая: "Это была очень тщательная работа. Так, как Колтунов работал с нами — актерами, сейчас не работают. А как он выстраивал эпизоды, кадры. Интересно, что "Черная чайка" каким-то фатальным образом связала нас — тех, кто снимался в фильме. У нас у всех оказались интересные судьбы, мы до сих пор все знаем друг о друге...")

С трилогией о Рустаме роковую роль сыграл Афганистан. В 1989 г. родители гостили у меня в Ленинграде. В один прекрасный день — телефонный звонок. Снимаю трубку. Слышу: "Вам звонят из канцелярии (или приемной — не помню) Михаила Сергеевича Горбачева. Михаил Сергеевич хочет поговорить с Григорием Яковлевичем Колтуновым". Честно го-



вора, я слегка обалдела. Горбачев звонит к отцу? И откуда он знает, что отец у меня, в Ленинграде? Все объяснилось просто. Отец написал письмо Горбачеву, сетуя, что с экранов снята его трилогия, которая пользовалась успехом у зрителей. Писал он из Ленинграда и обратный адрес поставил мой.

Михаил Сергеевич лестно отозвался о папином творчестве, в частности сказал, что ему и Раисе Максимовне очень нравятся фильмы о Рустаме, но пока идет война в Афганистане, политически неверно было бы показывать фильм, где театр военных действий разворачивается практически в той же стране. Да и те строки, что посвящены осуждению войн, сейчас озвучивать неуместно.

Когда вы прочитаете эти строки, вы поймете, что имел в виду генсек.

Монолог Рустама:

Потомки, здесь пало сто тысяч бойцов,
А значит, здесь пало сто тысяч отцов.
Сто тысяч лежат здесь, и больше в сто крат
Потомков, от них нерожденных, лежат —
Незримые миру ряды! Знает Бог
Один этой битвы печальный итог
И, может быть, тот, кто лежит здесь, — был глуп!
И, может быть, тот, кто лежит здесь, — был туп!
Но в семени том, что здесь умерло в нем,
Таился, быть может, мудрец. Он огнем
Им найденных истин согрел бы весь свет.
И, может быть, раньше на множество лет
Он людям открыл бы все тайны планет
И звезд! Может быть, величайший поэт
Здесь умер, еще не родившись? Певец,
Ни разу не певший, нашел здесь конец?
А может быть, витязь могучий, герой
Врагу на пути поднялся бы горой,
И силой своей сокрушил бы врага,
Драконам любым обломал бы рога,
И в будущий грозный и бедственный час
Он мощью своею отчизну бы спас.
Но факел победы, так нужной для нас,
Зажечься еще не успел... и погас.
И тут, в этой битве ненужной, пустой

Еще не родившийся — умер герой.
Вот сколько несет эта битва нам бед!
Зачем же случилась она? Кто ответ
За это нам даст?

Да, нежелательно было задумываться над тем, кто даст ответ...

А вот еще стихи о войне:

Что есть война? Не взнузданный уздой
Понесший всадника безумный конь!
Что есть война? Палящий зной! Огонь,
Сжигающий садовника и сад!
Что есть война? Поток, не знающий преград,
Несущий к гибели пловца!
Что есть война? Барс, убивающий ловца!

Это уже стихи-предупреждение. Они тоже были ох, как нежелательны для тех, кто развязал войну в Афганистане...

Вот так отец пообщался с правителем. Вообще-то с правителями меньшего масштаба, но, пожалуй, более властными, отцу приходилось встречаться. Чего стоило приглашение к хозяину Азербайджана Багирову! Но это рассказ отдельный.

А сейчас мне хотелось бы показать, что пишет отец о ПОЭТЕ, о его месте в жизни и взаимоотношениях с царем, с властью.

Вот, к примеру, диалог героя Рустама и дьявола Пулада, обернувшегося странствующим поэтом. Оправдываясь перед Рустамом, Пулад говорит о сути творчества:

...Я — Поэт! Каждый раз
Я тем становлюся, о ком мой рассказ!
О диве — я див! О герое — герой!
О Боге — Я Бог! Об осле — пред тобою
Осел!.. Я — комар!.. И, поверь, иногда
Я — камень дремучий! Я — воздух, вода!
Я — сладость и горечь! Я — правда и ложь!
Я — гряда сокровищ! Я — ломаный грош!
Я — все!.. Все, на что бы душой не взглянул!
(истугано) Но лишнее, видно, я что-то сболтнул?
Самой уж природой устроено так,
Что каждый поэт — и умен, и дурак!
Умен — проникая всю сущность вещей,
Дурак — потому что болтает о ней...

В диалогах Рустама с Пуладом отец пытается раскрыть всю противоречивость положения творца, зависящего от сильных мира сего:

Рустам: Сначала скажи мне: ты лживым бывал
Хоть раз?

Поэт, он же Пулад: Я солгу, коль скажу, что не лгал, —
Поэт я, и сказки мое ремесло!..

Рустам: Э, старец, тебя не туда понесло!
Мудрец иль хитришь?! Сказок смысл святой
Бывает правдивее правды самой.

Поэт, он же Пулад (горько):

Ну что ж! Правда — кость, от которой навар
Не густ в казанке у поэта. Пожар —
Правдивое слово. Сгорает поэт
В том пламени сам. Лжи приятной шербет
Не проще ль варить? Сладкий жир лстивых слов
Сам густо ложится поэту на плов!
(*поспешино*) Но я не таков!

Рустам (насмешливо): В самом деле?

Поэт, он же Пулад: Я лгал!
Для пользы чужой, не своей. Я искал
Для Правды полегче путей. Собирал
Я вместе толпу праздных слов. Наряжал
В красивых и лстивых сравнений убор,
Чтоб с этой толпою смешавшись, как ВОР
Проникло к царю слово Правды!

Рустам (задумчиво): Позор
Не твой здесь, поэт...

Сам отец больше всего любил монолог царя (шаха), считал его своей поэтической удачей. Он удивительно читал этот монолог, произнося слова, как плевки ненависти.

ПОЭТЫ! Проклятое племя! Поют
Царям они славу, и тут же плюют
Им в самую душу! Поэты несут
Волнения и смуту! Тревожат сердца
Виденьем строптивой свободы! Венца
Державного тягот не зная, суют
Советы, как править! Отдашь их под суд
За то, что колеблют они царский трон,

Глядишь — уже всеми ты сам осужден!
И будут все помнить, хоть тысячу лет,
Что будто царем был обижен поэт!
А царь — сам обижен! И ныне, как встарь,
Поэты не любят само слово — "ЦАРЬ".
А вот, посади-ка поэта царем,
Он тотчас размахивать станет бичом!
А то и мечом...
По-прежнему кровь будет литься ручьем!
Ведь истину древняя мудрость гласит:
Иль царь убивает, иль сам он убит!

В споры Рустама с Пуладом Григорий Колтунов вкладывал свои раздумья, свое философское осмысление реалий жизни, свое кредо.

В этом отношении интересен еще один спор Рустама с Пуладом. Спор о СМЕХЕ. Многие мысли из этого диспута отец повторил потом в эссе о своем близком друге Аркадии Райкине. Даже название эссе — "Смех — молния разума" взяты из этого отрывка.

Пулад: Что есть *смех*?

А *смех* — это мех! Тот, что шут надевает,
Когда он козу иль осла представляет!
Смех пятки щекочет, владыка хохочет
И *смеха* другого совсем он не хочет.
Что *смех* !.. Бубенцы, многоцветный колпак!
Дурак? Но зато безопаснее так!
И быть дураком — это вовсе не грех,
И вовсе не глупо! Скажи, что есть *смех*?

Рустам: Да, *смех* — то мехи, что огонь раздувают,
Тот самый, в котором бесследно сгорает
Все то, что ничтожно! И все, что надуту
Величием ложным и вечным как будто!
Смешное сумел ты подметить — и в миг,
Ты сущность явления глубже постиг!
Смех — молния разума! — вдруг освещает,
Что глупость во мраке веками скрывает.
И глупость нагая, являя свой стыд,
Под громом грохочущий хохот — бежит!
Смех — банщик и врач! Он совок и метла!
Следит, чтобы жизнь наша чище была.

Пулад: За что ж иногда *смех* ведут на убой?

Рустам: А грязь ведь всегда недовольна метлой.

Но кто благороден, умен, тот из всех

Лекарств предпочтет очистительный *смех*!

Отец был человек принципиальный. В годы советской власти, особенно с конца 30-х по начало 50-х годов, принципиальность граничила с бесстрашием. Впрочем, принципиальность всегда обходилась дорого. Но отец был храбрым и в обычном понимании этого слова. Будучи достаточно старым человеком, где-то лет под 80, он один, вооруженный лишь зонтиком, бросился ночью на бандитов, насилующих и убивающих одну-рукую женщину-калеку за забором нашей дачи, где росли густые кусты, в которые бандиты и затащили несчастную.

А вот чего отец боялся, так это самого СТРАХА.

Он считал, что, если страх овладеет человеком, то человек погиб. Бот как об этом он писал в трилогии:

...Может ночь

Тебе бесконечной покажется? Прочь

Как будто она никогда не уйдет...

И тут уже *страх* в твое сердце войдет!

Не сразу... Сначала во мраке ночном

Он рядом повеет мохнатым крылом

И скользко коснется тебя. А потом

По коже твоей пробежит холодком

И вдруг острым когтем царапнет! Потом

К царапине свежей прильнет вялым ртом,

Прильнет, присосется, прилипнет... Потом

Царапину сразу расширит в пролом

И с воплем ужасным пойдет напролом!

И в сердце ворвется! И сердце падет!

В коленях забьется... и в землю вползет!

А волосы к небу подымут шелом

От *страха*. И ты, извиваясь ужом,

Умрешь в мерзком прахе под дерзким врагом.

Отрывки из трилогии можно цитировать еще и еще. Они вошли и в роман Григория Колтунова "Кинжал" — это авторизованная биография Фирдоуси, о котором в сущности почти ничего не известно, хотя известно самое главное — он автор Книги Царей — "Шах наме". Но в самой "Шах наме" кое-где в бейтах прорываются автобиографические строки.

"Кинжал" был напечатан в журнале "Радуга" в 1996 г. (№№ 1-4), естественно, в сокращенном журнальном варианте. Издать роман достойным образом в полном виде — пока остается мечтой.

В романе и в кинотрилогии (главным образом в "Сказании о Сиявущем") рассыпаны афоризмы, высказанные отцом в 70-е годы, но когда их читаешь — просто трудно поверить, что они написаны в XX веке, а не взяты из какого-нибудь "Ожерелья голубки". Впрочем, эти афоризмы, как ни печально, приложимы и к нашему времени.

На свете много зла и очень мало

Людей, кого бы это удивляло.

Мысль говорящих слишком далека

От слова, что слетает с языка.

Пришла на смену правде осторожность.

На смену верности — благонадежность.

Не приложу ума, что с миром стало!

Благонадежных тьма, надежных мало!

Я на себе узнал, как это скверно:

Усердные затмили милосердных.

Доверие теперь — пустое слово,

А недоверие — первооснова.

Но кто поможет старикам и вдовам,

Коль слово "старость" стало бранным словом.

В конце я хотела бы рассказать одну давнюю историю, которая дает представление о том, что отец считал самым важным в жизни, своим жизненным кредо.

Мне около пяти лет. Я ненадолго оставлена одна в квартире. Открываю на стук дверь, за ней старуха-нищенка просит копеечку. Мое сердце щемит от жалости. Я вынимаю из кармана папиного пиджака 5 копеек и отдаю их старухе.

Вечером я рыдаю у папы на плече. Он носит меня на руках по комнате и объясняет, в чем моя вина. И на всю жизнь я запоминаю его слова: "Даже ради благородной цели нельзя совершать неблагородные поступки".

Став старше, я начинаю понимать, что кредо имеет только единственное число и может быть у человека только одно. Кредо моего отца, Григория Яковлевича КОЛТУНОВА, — определялось словом БЛАГОРОДСТВО.

Из нового "Разговора с автоответчиком"

Фрагмент из нового "Разговора с автоответчиком" содержит отклик автора книги стихов "Звук и слово" на печатную и сетевую публикацию эссе Феликса Гойхмана "Поэзия Беллы Верниковой глазами мужчины" в журнале "22", № 129 и на сайте журнала. (Первый "Разговор с автоответчиком" см.: Одесский альманах "Дерибасовская — Ришельевская" № 12, 2003, и в сетевой публикации на сайте альманаха www.odessitclub.org).

* * *

Дорогой наш предполагаемый читатель-автоответчик! Прочти, пожалуйста, мое стихотворение из книги стихов "Звук и слово" (Иерусалим, 1999, с. 25):

* * *

Обычай жить не торопясь
и в чувствах не спешить
нам позволяет утвердить
судеб взаимосвязь.
Есть мужество на то, чтоб ждать,
и смелость на порыв,
и ощущаешь благодать,
себе не изменив.
Я женщина, мне доверять
и, руки опустив, пока окликнут,
путь избрать,
спешащего простив.

Трудно представить себе, какие мрачные фантазии позволили поэту Феликсу Гойхману увидеть в этом сдержанном лирическом высказывании сходство с брачным объявлением (см. его эссе по поводу моих стихов, журнал "22", № 129). Что касается рассуждений эссеиста о наименовании *поэтесса*, стоит отметить, что слова *поэт* и *поэтесса* в наши дни в основном утратили оценочную окраску, но память о том, что она существовала, еще живет в русском языке и диктует выбор самоназвания и правомерность словоупотребления. Большинство женщин, работающих в русской поэзии, считают себя поэтами, но определение *поэтесса*

не вызывает сегодня той резкой негативной реакции, какую оно, как известно, вызывало у Ахматовой.

Кстати. Существительные *автор* и *классик* не имеют в русском языке аналогов женского рода (авторша — употребление разговорное, а у *классика* и такого нет), что вовсе не означает, что они не применимы к женщинам.

Я определяю себя словом *поэт*, но соглашаюсь и с определением *поэтесса*, как, например, в статье Юрия Виноградова, помещенной на сайте журнала "ODESSA" (№ 7-8, 1999) — "...тут мне на память приходят строки пребывающей ныне в дальнем зарубежье одесской поэтессы Беллы Верниковой: "...им взрослым без нас на земле оставаться".

Здесь уместно сказать, что к писателям, начинающим литературную работу в одной стране и продолжающим ее в другой, применимо несколько локально-культурных определений. Мы с Феликсом Гойхманом, являясь израильскими писателями, работающими на русском языке, или, в глазах одесских читателей, одесскими поэтами, пребывающими в дальнем зарубежье, остаемся русскими поэтами по языку и культурной традиции. Это означает, что базовые культурные модели и направляющие образцы получены нами из русской поэзии, а не из германоязычной немецкой и английской или романоязычной итальянской и французской поэзии, где подобные модели также присутствуют.

Мы с Феликсом знакомы с 1980-х гг., когда у человека, жившего в СССР и писавшего стихи без "паровозов", не было реальной возможности издать книжку своих стихотворений. За давностью знакомства, если бы мне удалось оторвать женщину от поэта, что не получилось даже у эссеиста, то "как мать и как женщина" я могла бы сказать: "Феликс, эта бодяга, которую ты развел о брачных объявлениях и о своей жене, — в огороде бузина, а в Киеве умица-жена, относится не к моим стихам, а к твоим собственным проблемам". Но неприятие риторики коммунальной кухни, унижающей достоинство отдельно взятой личности, не исчезает с выездом из коммуны, "где чуждые люди с утра и до ночи до жизни твоей в разговорах охочи" (см. "Звук и слово", с. 39-40).

Кстати. Существительное *личность* в русском языке женского рода и не имеет аналога мужского рода, что вовсе не означает, что мужчина не может быть личностью.

Я написала Феликсу Гойхману письмо, которое отправила почтой, а теперь привожу в этом тексте, поскольку оно содержит только отзыв на публикацию и может быть прочитано каждым заинтересованным читателем-автоответчиком.

"Здравствуй, Феликс!

Пишу это письмо в дополнение к нашему телефонному разговору о твоём эссе в присланном тобой журнале "22". Затеянное тобой составление мозаики о русской поэзии, изданной в последние годы в Израиле, дело очень нужное. После распада Союза русское литературное зарубежье значительно расширилось — и те, кто остались в Одессе, и мы, уехавшие в Израиль, как и все, пишущие стихи по-русски в десятках стран ближнего и дальнего зарубежья, остаются русскими поэтами, и публикации, представляющие спектр русской поэзии того или иного региона в таком необязательном (в смысле — свободном от обязательств), но интересном для читателя жанре как эссеистика, заслуживают искренней похвалы.

Теперь о самой публикации. Необязательность эссеистики и то, что ты озаглавил эссе по поводу моих стихов "Поэзия Беллы Верниковой глазами мужчины" кое-как оправдывает сужение твоей трактовки этой поэзии до гендерной проблематики, укладывающейся в придуманную тобой броскую аналогию с брачными объявлениями. Но не надо забывать, что живущие в Израиле русские поэты пишут и о своём еврействе, и об отношении к Израилю — так, моя книга "Звук и слово" открывается разделом "Выжить на выжженном теле земли". Если в Союзе после сталинской репрессивной "борьбы с космополитами" любое упоминание о еврейском происхождении людей, работающих в русской культуре, приобретало негативную окраску, а в критике и литературоведении анализ национальной самоидентификации русского писателя-еврея (или татарина) не пропускаться в печать, не стоит следовать этому канону здесь и сегодня.

Меня порадовала та связь между названием, зрением и слухом, которую ты нашёл в моих стихах "Слепнувший электрик", "Все кажется, что счет утрат" и "Старые названия старых улиц", и которая закреплена самим названием книги "Звук и слово". Ещё ярче эта связь выражена в моём стихотворении (с. 99-100):

Как он знает, какими красками куст
прошуршит вослед человеку,
как мазок добавляет к мазку,
безязыко знание растворив,
как в пейзаж влетает вселенский мотив
тот художник, ведающий тоску
по гармонии и разрыв миров.
Он асоциален, терпим, здоров.

.....

Иногда костюм,
пока не вышел из моды,
изливает на нас избыточный свет,
взятый мастерами у придорожной природы,
где дороги рискованный цвет
и блестящий свежими красками куст
передают человеку от Бога привет
из первых уст.

Советую тебе в следующих публикациях заканчивать своё эссе подборкой стихов — по 2-3 ярких стихотворения каждого из представленных поэтов, чтобы читатель мог убедиться не только в том, что эссеист умный и остроумный человек, и какая у него чудесная жена, но и в том, какие замечательные стихи написаны теми поэтами, о ком шла речь, — без стихов, которые говорят сами за себя, любая их интерпретация не даёт представления о самой поэзии.

Привет Сусанне, будьте здоровы,

24 ноября 2003 г.
Иерусалим".

Конечно, это письмо написано поэтом, оценившим проницательность критика там, где она проявлена, и пропустившим мимо ушей придуманный эссеистом "завлекательный ход" про брачные объявления.

Пушкин упомянул о романтизме, когда тот ещё не воспринимался как эпоха в литературе: "Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовём". Мы знаем, что романтизм не сводится к вялому письму. Как и постмодерн не сводится к стратегии текста, а во многом определяет авторское самочувствие. В эпоху постмодерна нам не грозит печатный донос, а печатное хамство воспринимается как литературные игры и почти не задевает. Поэтому можно спокойно не обращать внимания на то, что твоего внимания не заслуживает, и радоваться тому, что критику удалось сказать что-то новое и существенное о твоих стихах.

Иерусалим

ПУБЛИКАЦИИ

Большие пожары
Роман 25 писателей 219

Публикация Евгения ГОЛУБОВСКОГО

Большие пожары

Роман 25 писателей

Романист(ка) пишет роман. Это естественно. Ильф и Петров — два романиста в четыре руки написали два романа. В конце концов, и это возможно, ведь играют же пианисты в четыре руки. Но я знаю только один случай, когда бы роман написали 25 писателей. Очень разных, талантливых, веселых, бесноватых — они играли в сложную игру, которой нет названия и продолжали сюжет, начатый их коллегами. Так в 1927 году, в "Огоньке" появился роман "Большие пожары" (созвучный нашему времени), начатый Александром Грином, законченный редактором "Огонька" Михаилом Кольцовым.

Девять глав, девять новелл из этого романа мы предлагаем прочитать современнику и встретиться с совсем не знакомыми текстами И. Бабеля и Е. Зозули, В. Инбер и В. Каверина. Познать забытое.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Глава I. Странный вечер



А. Грин

Делопроизводитель губернского суда Варвий Мигунов, возвратясь со службы, прошел на кухню, чего никогда не делал, и остановился перед плитой, где старая Ефросинья, женщина мышинового типа, с острым носиком и бойко играющими лопатками узкой сутулой спины, прижав локти, размешивала соус с капорцами и красным перцем.

Сорок лет назад она готовила для Мигунова молочную кашу. Поэтому Мигунов несколько не удивился, услышав:

— Вам что здесь нужно, Варвий?

Это был голос занятого человека, с оттенком досады. Ефросинья даже не обернулась. Крылатку с кашошоном, зонтик, очки и яркие щеки Варвия она отлично видела в безукоризненном блеске медной кастрюльной выпуклости.

— Как устроено... а... — застенчиво сказал Мигунов, — устроено тут с плитой? Как она топится? Не выпадают ли на пол угли? Вот это я хотел посмотреть.

— Угли? — спросила старуха, с неодобрением игранув своими выразительными лопатками. — А что вам угли?

— Вы живете в своем мире, — кротко продолжал Мигунов. — Вы це-

ликом ушли в хозяйство, кухню и тому подобное. Я не осуждаю. Но я, пользуясь вашими хлопотами, имею свободное время, в течение которого читаю газеты. А читать газеты — значит жить общественной жизнью. Вот почему мне стало известно, что сегодня ночью произошло еще три пожара. Во-первых, сгорел только что отстроенный дом в три этажа, милая Ефросиния. Это — кое-что; во-вторых, истреблены огнем восемь товарных складов. И, в-третьих, — от театра "Спартак", на Лунном бульваре, остались дымящиеся развалины. Таково действие огня. Я мнителен, Ефросиния. Сознаю, это мой недостаток. И я зашел посмотреть — зашел мысленно представить, не выпадают ли из плиты угли, и, если выпадают, то не могут ли они произвести пожар. Вот все. Я совсем не хотел вмешиваться в ваши дела.

— Бывает, что угли и выпадают, — сказала, смирясь, старушка, — но как вы знаете, — здесь каменный пол. С этой стороны вам нечего бояться, Варвий.

— Я тоже думаю, — подхватил Мигунов, — и я очень вам благодарен, что пол... гм... каменный. Я хотел только взглянуть, на всякий случай, конечно, — так, ради... не знаю ради чего, — нет ли среди каменных плит пола какой-нибудь щели... гм... обнаженности, так сказать, деревянных частей...

Здесь незамужнее сердце Ефросинии перебило Мигунова со строгостью самого революционного закона, которому он служил:

— Вы удивительно неприличны сегодня, Варвий! Что вы хотите сказать этими словесными выкрутасами?

— Какими выкрутасами?

— Можно притворяться, что не понимаешь, но вам любой ответит, что слово, которое вы употребили в отношении деревянных частей, — слово неприличное, ужасно грубое слово.

— Я ошибся, — встрепенулся Мигунов. — Я хотел сказать: — не попадет ли уголь на дерево. Кроме того, — продолжал он, со страхом наблюдая усиленную деятельность лопаток, но решаясь уже выговорить все сразу. — Когда вы ходите со свечой в кладовую, не грозит ли опасность с этой стороны, в виде могущей вспыхнуть паутины, бумаги и подобных вещей, легко охватываемых огнем? Быть может, какой-нибудь предохранитель...

Неизвестно, что подумала при последнем слове старая кухонная фея, но она фыркнула. Мы не хотим сказать этим ничего плохого о ее нравственности. Она фыркнула от презрения к умственным способностям Варвия Мигунова.

— Так вы думаете, что это случайность? — спросила она, оборачива-

ясь к Мигунову с раскрасневшимся от огня, язвительно играющим лицом. Тут она заглянула в ложку, которой мешала соус, и вкусно облизала ее. — Я не читаю газет, но мне кошка на хвосте приносит. И ворона. Да-с! Они тоже живут "общ-ще-ст-т-веной жизнью". Златогорск горит две недели. В городе сгорело восемнадцать зданий. А вы твердите о какой-то неосторожности! — Ефросиния обвела взглядом кухню, точно следя, не летает ли где эта смехотворная неосторожность. — Я говорю, что не вижу неосторожности! Я вижу злодеяние. Упорное, систематическое злодеяние черных злодеев! Ваша обязанность, как судьи — схватить и казнить этих злодеев немедленно, иначе вы тоже преступник!

Хотя Мигунов был только делопроизводитель или, вернее, архивариус, Ефросиния не сомневалась, что служить в здании Златогорского суда значит быть судьей.

— Преступник?! — вскричал Варвий. — Повторите это еще раз, прошу вас! Но, — прибавил он поспешно, так как старуха из упорства могла повторить что угодно, сколько угодно раз, — известно ли вам?..

— Схватить и казнить, — перебила старушка, энергично поджимая губы. — Не давая пощады! Немедленно!

— ..известно ли вам? — сказал Мигунов, воровски вкладывая эти слова в перерыв дыхания Ефросинии, но его остановил, остановив также боевое движение острых лопаток Ефросинии, громкий, как град, звонок.

Колоколец, висевший у черной двери па лестницу, затрепетал с силой необычайной; Ефросиния открыла дверь, и в кухню вошел человек с портфелем, худой, в черной огромной кепке и обвисшем пальто, коричневым с синей клеткой. Он был рыж, веснушчат и нервен. В его движениях не было ничего положительного. Он не вошел, а как бы быстро вернулся боком, перевернувшись на месте, и стал без нужды рыться в карманах пальто, затем поздоровался, уронив кепку.

— Дождь, — быстро сказал он голосом сморкающегося, — проливной дождь. Добрый вечер, талантливая и суровая Ефросиния! Здравствуй, Варвий! Хотя я долго звонил с улицы и мог бы уже давно поздороваться с вами.

— Прости, Берлога, — сказал Варвий, беря от старого друга шляпу и портфель, — но я только что вернулся со службы и имел хозяйственный разговор. Ты кстати, так как сейчас подадут ужин.

— Я не хочу есть, — сказал Берлога. — Мы — газетная хроника — обедаем только в моменты добродетельного состояния общества. Убийство, растрата, хулиганство — мгновенно вырывают ложку из наших рук. Мы

не доели еще и одной тарелки со времени Каина! Теперь — эти пожары или, как будет правильнее назвать их, — поджоги. Варвий, дай материал...

— Он должен поужинать, — решительно вступилась Ефросиния, разрезая своим чепцом пространство меж Мигуновым и Берлогой. — Потрудитесь ужинать с нами.

— Варвий, — нетерпеливо продолжал Берлога, рассеянно взглянув на экономку и бессознательно отстраняя ее, — я скажу кратко, так как спешу. Старожилы сообщили нам в редакции, что двадцать лет назад, в, так сказать, мрачные времена царизма, Златогорск пережил подобную же серию пожаров, и поручили мне открыть это для трудящихся читателей. Статья должна стать одной ногой в прошлое, другой — в развалины театра "Спартак". Работать я буду ночью. Дай материал, — процесс, дело, документы. Ведь у тебя сохранились старые архивы здешнего суда?

— Хорошо, — начал с задумчивостью Мигунов, смотря в пар кипящего соуса, — но... Хотя я могу поехать с тобой сейчас. Однако, если ты имеешь час времени, мы могли бы поужинать. Это необходимо, и в этом доме никакое самое ужасное событие не вырвет у тебя ложку из рук.

— Нет! — с гневом подтвердила старуха. — Нет, пока я жива!

Берлога взглянул на часы.

— Хорошо, — сказал он, — скрепя сердце. Я устал. Правда, я хочу есть.

Съев очень немного и ежеминутно порываясь уйти, чем кровно оскорбил Ефросинию, смотревшую на него с жадной похвал, Берлога увлек, наконец, как ветер бумажку, пищеварительно настроенного Мигунова к выходу и нанял в виде редкого исключения извозчика. Отъехав несколько, извозчик направился было ближайшим путем, по Берлога вдруг сказал:

— Стой! Узнаешь ты прежний пустырь?

Хотя Мигунов следовал от дома к архиву и обратно единственным, раз навсегда определенным путем, почему город был ему знаком односторонне, но он счел нужным покачать головой.

— Да, совершенно не узнать пустыря, — сказал Мигунов, — строительство советское развивается.

— О, кроткое существо! — вскричал Берлога. — Знаешь ли ты, что такое эта махина?

Действительно, постройку можно было определить слонем "машина". Она напоминала белый застывший взрыв чудовищного снаряда, поднявшегося на воде взлет пены выше высоких мачт. Между тем, дома, прилегающие к этой постройке, были плоски, как кирпичи. Ночь мешала рассмот-

реть здание. Кое-где остались еще леса, но так мало, что, по-видимому, в доме со дня на день должна была зазвучать жизнь.

— Что это? — спросил Мигунов. — Не музей ли это? А, может быть, клуб?

— Просто чудовищный особняк, — ответил Берлога. — Коммунальному хозяйству были бы не по средствам такие причуды. Довольно сказать, что дом выстроен в два с половиной месяца. Вчера доставлены тысяча пятьсот ящиков с предметами обстановки, выписанной из Парижа и Лондона. Рабочих рук занято было две тысячи. Все, как видишь, почти окончено. За одни чертежи уплачено архитектору двести пятьдесят тысяч — он специально приехал в Златогорск. Внутри никого не пускают, но ходит слух, что недра дома достойны вздоха.

— Где же ты был, Мигунов?

— Ты знаешь, что я живу уединенно: не интересуюсь чужими делами.

— Уединенно! — сказал Берлога, давая знак извозчику ехать далее. — Это все равно что к твоему дому подъехал бы автомобиль, а ты не услышал бы его грохота. Еще более удивлю тебя. Дом строит частное лицо. Хозяин дома — некто Струк, поляк старик; ему восемьдесят пять лет. Он концессионер. Концессии в Закавказье, здесь, затем на Алтае и еще какой-то клочок за полярным кругом. Он приезжий и, как говорят, нищий.

— Нищий? Как это понять?

— Нищий, потому что он за границей мгновенно выиграл огромное состояние, начав с медяков. Но он был нищим. Следовательно, его богатство случайно, и его душа — душа нищего.

— У тебя был с ним разговор?

— Нет. Его история развернулась так быстро, что я среди других дел не имел еще возможности гоняться за Струком. Сегодня узнал я, что он приехал. Мне заказана беседа с ним для газеты "Красное Златогорье". Я советую тебе поехать со мной, посмотреть на это чудовище. Я выдам тебя хотя бы за фотографа. Кстати, ты увлекаешься фотографией. Ты же фотографируешь документы в твоём архиве. Восьмидесятипятилетний старик — в некотором роде архивная редкость.



— Что же, — сказал Мигунов, — раз я в твоей власти, вези, куда хочешь.

В это время мрачное здание архива суда показалось на набережной. Возле ворот маленькая дверь, ключ от которой делопроизводитель всегда носил при себе, вела и царство Мигунова, Приятели, отпустив извозчика, прошли по озаренному коридору в дальний конец здания, под низкий потолок, к пыльной неподвижности старых шкафов красного дерева, окутанной безлюдной тишиной, скрывающей от мира память его дел.

Мигунов остановился около конторки с реестрами и, взяв от Берлога справку, принялся хлопать томами. Тень переворачиваемых листов металась по помещению. Репортер, сцепив на спине руки, бродил около шкафов, заглядывая в их бумажные толщи.

Вдруг увидел он желтую бабочку, приняв ее сначала за моль. Она порхала среди шкафов, иногда так приближаясь к Берлогу, что он сделал попытку ее схватить.

— Эй! — вскричал он. — Смотри, кто летает у тебя по архиву!

Мигунов обернулся в то время как бабочка начала кружиться около его лампы, и потому увидел ее не сразу.

— Бабочка?! — спросил он с недоумением.

— Ну да! Хватай ее. Вот она! Там! — Берлога бросился к лампе.

Теперь увидел насекомое и Мигунов. Бабочка была резкого желтого цвета, с синей каймой, и бархатиста, как те тропические создания, которые мы видим в музеях. Лениво трепеща крыльями, она казалась странным цветком, получившим таинственное движение.

— Никогда не видел таких! — кричал Берлога, хлопая шляпой по воздуху, в то время как Мигунов старался ударить насекомое папкой. Но бабочка прошла невредимо между их рук и, поднявшись выше, запорхала под потолком, куда еще раз швырнул шляпой восхищенный Берлога. Приятели побежали вокруг шкафов, заглянули в самые отдаленные углы архива, но более не увидели пламенной сильфиды: она исчезла. Села ли она и замерла где-нибудь наверху шкафа или забилась в щель — установить не удалось.

— Она вылетела! — сказал Мигунов. — Видишь, это окно открыто. Но зачем тебе бабочка? Пусть летит.

— Зачем? — повторил Берлога. — Не знаю; только мне смертельно хотелось ее поймать. Это было так красиво в твоём склепе. Нашел ты дело, о чем я просил?

— Здесь ничего не теряется, — ответил Мигунов с забавной сухостью

специалиста, самолюбие которого задето пустым вопросом. — Вот документы. Шкаф шестой, полка вторая, дело 1057. Но...

Он протянул ключ к шкафу и остановился.

— Что случилось, Мигунов?

— Берлога, странное чувство останавливает меня. Действительно ли нужны тебе эти бумаги?

— Однако?!..

— Мне кажется, что лучше бы их не трогать.

— Но почему?

— А черт меня знает, откровенно скажу тебе! Что-то останавливает меня.

— Соус, — возразил, смеясь, Берлога. — Большое количество соуса. Однообразное питание, и отсюда консерватизм. Архивная душа! Оставь свою мистику и подавай бумаги.

— Вот они, — Мигунов, перепластав часть слежавшихся кип, извлек рыжую по краям от ветхости синюю папку... — Спрячь, не потеряй... но... да, это чувство не оставляет меня. Мы кладем начало странному делу...

— Начало или конец — все равно мне, — сказал Берлога, — но знаешь, хорошо иногда сказать так, как сказал ты сейчас, — в неурочное время, в потаенном месте. Идем!

Берлога вложил папку в портфель; тем временем Мигунов запер шкаф. Сделав это, старик направился к раскрытому с решеткой окну и повернул скобу.

— Окно должно быть закрыто, — сказал он.

— Верно, — ответил Берлога. — Будь сам собой до конца. Порядок прежде всего.

— Если хочешь, я опять открою его, — обидчиво заметил Мигунов, — хотя мне кажется, что так лучше. Однако, идем.

Он потушил электричество, кроме лампы в коридоре. Пройдя коридор, он потушил и этот огонь. Затем тщательно запер входную дверь.

Приятели удалились. Архив погрузился в оцепенение. Некоторое время тишина и тьма стояли здесь в дружном объятии.

И вдруг огонь, озарив низы шкафов, стал сначала медленно, а потом все быстрее расплываться в кипах газет, начав дымить, как печная труба. Пламя, перелистая бумагу, поползло вверх и забушевало ненасытным костром...

Рисунок художника С.П. Ладыгина

Глава II. Больная жемчужина



Л. Никулин

— Пожалуйста сюда, — сказал молодой человек в бархатных штанах и пропустил Берлогу вперед.

Английский замок, как пружинка мышеловки, щелкнул за спиною Берлоги. Молодой человек пошел к полированному желтого дерева бюро и отпер его ключом. Крышка откинулась с грохотом, похожим на выстрел пугача.

— Ну-с, — сказал молодой человек, указывая Берлоге на стул. — Вы курите?

— Прежде всего я должен... — начал Берлога.

— Прежде всего, — ласково прервал его молодой человек, — вы должны отвечать только на вопросы.

Серые глаза молодого человека прищурились и как бы закрылись. Загорелое лицо и широкие плечи показались Берлоге бесстрастным бронзовым бюстом, поднимающимся из-за бюро.

— Имя, фамилия, возраст и происхождение?

Точные вопросы требовали точных ответов, и Берлога, как мог, подробно ответил.

— Ваше мнение о гражданине Мигунове.

— Превосходное мнение, — сказал Берлога, — такое же, как у всех, близко знающих Варвия. Учреждение, например, почитает в нем исключительного специалиста, единственного в Златогорске ученого архивариуса. Разве не он разобрал, классифицировал и привел в порядок хаос уголовных дел, оставшихся от старого режима?

— Все это известно, — сказал сероглазый молодой человек, — и, однако...

— Пожар — стихийное бедствие! Надо знать, с каким ужасом Варвий относился к огню, особенно после этой эпидемии пожаров или, вернее, поджогов.

— В день пожара вы находились с ним вместе в архиве?

— Точнее, это был не день, а вечер.

— И вы не заметили ничего такого?

— Абсолютно ничего. Впрочем...

Желтая бархатистая бабочка, с резкой синей каймой, бабочка, похожая на странный тропический цветок, затрепетала перед глазами Берлоги. Но вот, не говорить же об этом пустяке следователю.

— Впрочем?.. — повторил тоном Берлоги следователь.

— Ну, скажем, бабочка.

— Бабочка? — небрежно переспросил следователь.

— Бабочка довольно странного вида.

— Моль?

— Что вы!.. — и Берлога показал приблизительную величину бабочки.

Следователь пожал плечами, поднял глаза к потолку и записал.

— Что вы имеете добавить?.

Берлога посмотрел на часы.

— Позвольте заметить, — сказал он, — во-первых, я намерен сегодня посетить моего несчастного друга в лечебнице для душевнобольных, во-вторых, у меня имеется ответственное поручение от редакции, так что я бы просил...

— Распишитесь.

И Берлога подписал показания.

Вертя в руках маленькую розовую бумажку, он шел по длинным, полутемным коридорам уголовного розыска. В темных коридорах слабо светящиеся электрические лампочки казались пунктиром из светлых точек, намечавшихся далеко впереди. В воротах Берлога отдал розовую бумажку-пропуск часовому. Но уже в переулке под неожиданно жарким сентябрьским солнцем, он повернулся на каблуках, щелкнул языком и схватился за голову.

— А дело?.. Дело № 1057! Шкаф № 6, полка 2! Об этом я и забыл сказать...

И он побежал назад к воротам.

— Взять пропуск в комендатуре, — коротко сказал часовой.

Берлога посмотрел на часы. Без 25 два. В два часа конец приема в лечебнице.

— Ладно, — сказал он вслух, — успеется завтра, — и бросился по переулку.

Громыхающий трамвай в восемнадцать минут домчал его до зеленых палисадников больницы. Пока его пропустили к больному, прошло еще две минуты. Таким образом, до конца приема посетителей оставалось пять минут.

Солнце отражалось во всех четырех стенах выкрашенной масляной краской комнаты. Прямо перед собой, почти в дверях, Берлога увидел согнутую узкую спину и острые выходящие лопатки Ефросинии. Острые лопатки колебались, вздрагивали и сотрясали худую спину. Носовые хрипящие звуки и всхлипывания дали понять Берлоге, что Ефросиния плачет.

В голубовато-серых мешковатых штанах и такой же куртке сидел на

полу Варвий Мигунов. Яркие щечки подернулись восковой желтой бледностью. Очки Варвия Мигунова сползли на кончик носа, и белый пух клочками прорастал на щеках и подбородке.

— Вот, — всхлипнула Ефросиния, — вот...

Варвий Мигунов сидел на полу. Гора мелко нарезанной газетной бумаги вырастала перед ним. Маленькими тупыми ножницами он вырезал похожие на елочные украшения спирали из газетной бумаги.

— Варвий, — скорбно произнес Берлога. — Бедный Варвий!

Шуршала бумага и скрипели ножницы, и росла гора мелко нарезанной газетной бумаги.

— Два часа! — бодро выкликнул звонкий голос за спиной у Берлога. — Граждане, будьте любезны!

Доктор и ассистентка в белых халатах стояли в дверях комнаты.

— Доктор, — грустно спросил Берлога, — в чем же дело? — и он сделал жест в сторону Варвия.

— Шок! — весело сказал доктор. — Сильнейшее потрясение, как результат стихийного бедствия. Интереснейший случай. Комбинация из мании преследования и навязчивых идей. Я в восторге.

— Прощай, Варвий! — печально вымолвил Берлога.

— Прощай, Варвий! — как эхо вздохнула Ефросиния.

Варвий не поднял глаз. Маленькими скрипящими ножницами он вырезывал из половины газетного листа огромную острокрылую бабочку.

* * *

Чудовищный, нелепый гребень белого особняка поднимался над одинаковыми крышами одинаковых домов переулка. Берлога потратил несколько минут на то, чтобы отыскать что-либо похожее на калитку. Он находился в совершенном недоумении до тех пор, пока не услышал неизвестно откуда исходивший неопределенно-глуховатый голос:

— Что вам угодно?

Берлога дважды повернулся на каблуках. Ни души за оградой особняка, ни души поблизости в переулке.

— Не валяйте дурака! — произнес тот же голос из трубки, похожей на телефонную, привешенную к ограде: — Отвечайте, что вам угодно?

— Мне назначен в половине третьего прием у Струка, я из "Красного Златогорья".

Металлические стебли ограды зашевелились и раздвинулись. Открылось нечто вроде прохода — аллеи, ведущей прямо к дому. Двери автома-

тически открывались перед Берлогой. Высоко вверх уходила металлическая, сияющая медью лестница. Затем он очутился в круглом, пахнущем свежей краской зале. Зал был не более трех сажен в поперечнике, и в центре зала пенился, шипел и прихотливо играл струями маленький фонтан.

— Пожалуйста сюда, — опять произнес глуховатый голос.

Ореховые двери, стоявшие до сих пор без всяких признаков ручек, раздвинулись и открыли вход. Далее был стеклянный зал, напоминающий ателье кинематографической фабрики. Стены и потолок зала были стеклянные. Большие стеклянные ящики стояли в два ряда в центре зала, образуя проход. Эти ящики были как бы витринами необыкновенного музея и, вместе с тем, походили на отдельные маленькие оранжереи, разбитые под огромными стеклянными колпаками. Здесь росли разнообразные, разноцветные, разнолистые цветы и растения. Громоздились широколистые папоротники, переплетались ползучие стебли, взмывали вверх колючие остролистые пальмы, зеленые шапки японских карликовых деревьев теснились за стеклом витрин, и всеми цветами радуги переливались невиданные тропические цветы.

— Что вам угодно? — спросил звонкий, совершенно непохожий на первый, голос.

Берлога обернулся. В нише окна, против света, стояла женщина. Короткое, до колен, платье можно было без риска назвать рубашкой или туникой. Очень стройные ноги, открытые до колен, достаточно отчетливо рисовались на матовом стекле. За стеклом было солнце. Женщина рисовалась силуэтом на стекле. Но когда она спрыгнула с подоконника и пошла навстречу Берлоге, он уронил на пол сначала кепи, потом блокнот, потом свою гордость — американское самопишущее перо.

Волосы молодой женщины были рыжие или, вернее, золотые. Особенно хороши были губы, изогнутые, как лук, и тонкие, явно подрисованные брови и глаза, расширенные, сияющие и вместе с тем насмешливые глаза.

На ней было подчеркнуто простое платье, но цвет платья менялся вместе с ее движениями и играл всеми цветами спектра.

— Фокус, — подумал Берлога, потупил глаза и увидел отсвечивающие туфли из металла, и с грохотом опять уронил все, что держал в руках: кепи, блокнот и американское перо.

— Что вам угодно? — опять повторила она. — Однако, вы заставили себя ждать, господин журналист.

Она говорила по-русски с легким, еле слышным, приятным Берлоге польским акцентом.

— Виноват, — сказал, приходя в себя, Берлога, — у нас выражаются "гражданин", а не "господин".

— Мы здесь три дня, — мелодическим и насмешливым голосом продолжала она и жестом велела ему следовать за собой.

— В Европе и Америке нас атаковали на вокзалах, на пристанях, на аэродромах репортеры. Вы же здесь, в Златогорске, удосужились появиться на третий день.

— У нас были более важные темы, — сухо ответил Берлога. — Открытие колонии для беспризорных, изобретение монтера Фокина, семидесятилетний юбилей прима-балерины.

Она шла впереди, и Берлога опять утратил самообладание. Теперь это происходило от близости прекрасной, соблазнительной линии плеч, шеи и затылка.

— Я желал бы видеть гражданина Струка, — грубовато сказал он, стараясь прийти в себя.

Они находились в гостиной. Ничего замечательного не было в обстановке этой комнаты, похожей на салон первойклассной гостиницы. Молодая женщина села на диван, Берлога сел против нее в кресло. Теперь он ее видел совсем близко и рассмотрел то, чего сначала не замечал, — на шее женщины была нитка жемчужин. Их нельзя было назвать жемчужинами, слишком велика была каждая из них.

— Стоит ли вам говорить с больным старикашкой! — сказала женщина. — Я его внучка — Элита Струк. Все, что нужно, вы узнаете от меня, — и, оттянув пальцем нитку жемчуга, она вдруг сказала: — Вас интересует ожерелье? Это жемчуг герцогини Беррийской. Ему много лет. Посмотрите.

Она наклонилась к Берлоге, и Берлога увидел чуть не вплотную шею и плечи. Легкий пот выступил у него на висках, и рыжие волосы зашевелились на голове.

— Бедный жемчуг, — сказала Элита Струк. — Бедный, больной жемчуг. Здесь тридцать две единственных в мире розовых жемчужины. Одна из них больна. Вы видите свинцовое пятнышко. Жемчуг болеет. Я ношу его для того, чтобы вылечить жемчужину. Моя кожа хорошо действует на нее. Впрочем, если бы найти подходящую кожу, пожалуй, можно бы совсем вылечить жемчужину.

— Послушайте, сударыня, — свирепо сказал Берлога. — Редакция "Красного Златогорья" интересуется не вашим больным, черт бы его драл, жемчугом, а концессиями Струка.

Она покраснела и отодвинулась. Краска бросилась ей в лицо, и брови сдвинулись, образуя одну прямую линию. И вдруг она рассмеялась.

— Хорошо. Кстати, о концессиях.

Как настоящий делец, с подробностями и цифрами, достойными специалиста и знатока, она рассказала Берлоге о концессиях. Репортер еле успевал записывать. Он оживился и повеселел.

Берлога уходил. Она проводила его до стеклянного зала. Любопытство и непонятная Берлоге усмешка были в ее глазах.

— Погодите, — вдруг okazала она. И, отодвинув раму первой справа стеклянной витрины, сорвала желто-синий цветок.

— Если хотите, возьмите себе этот цветок... Или нет...

Маленькие белые руки с гранеными ноготками воткнули цветок в петлицу Берлоги.

— До свиданья!

На улице Берлога снял кепи и долго ерошил волосы. Сквозь запах улицы, сквозь дым асфальтовых котлов и бензин редких автомобилей он чувствовал острый и слегка дурманящий запах желто-синего цветка. И, почесав указательным пальцем бровь, Берлога задумчиво произнес:

— Оказывается, некоторые женщины представляют некоторый интерес.

Вечером, прямо из редакции, Берлога отправился домой. Он жил в общежитии сотрудников "Красного Златогорья" и сотрудников треста "Госстекло" — бывшей гостинице "Сан-Себастьяно".

В узенькой двенадцатиаршинной комнатке помещались стол и кровать, стул и умывальник. Берлога снял пиджак и повесил его на стену. Слабый сладковатый запах чуть прорывался через ароматы общежития, где вечно в коридорах и на кухне что-нибудь жирно шипело на восьми примусах.

— Да! — воскликнул Берлога, — а дело, а пожар? — За работу, товарищ Берлога!

Он повернулся к столу и вскрикнул.

Дела в синей обложке, дела № 1057, не было на столе.

— Глаша! — завопил на весь коридор Берлога.

— Чево! — неторопливо ответил из-за перегородки в коридоре голос.

— Вы убирали здесь?.. На столе дело в синей обложке.

— Чудак-человек, — сказала Глаша, — да вы ж сами за ним присылали из редакции.

— Я?!

— Вы! Вот и ваша записка.

Широкая, сильная женская рука просовывает Берлоге в щель двери записку.

Берлога держит в руках листик из блокнота. Бланк газеты "Красного Златогорья". Чей-то чужой, но уверенный, размашистый почерк:

"Даша, подателю сего дайте дело в синей обложке. С тов. приветом Берлога".

— Кто принес?

— Так, один... Штаны очень рваные, и из себя так шатен, а может, брюнет... За всеми не углядишь.

— Черт!.. — вдруг завопил Берлога, накинул на плечи рыжее в синюю клетку пальто и выбежал на улицу.

На улице он остановился у трамвайной остановки. Трамвай заставил себя ждать. Десять или двенадцать человек стали в хвост позади Берлоги.

— Гляди, гляди! — вдруг закричали в хвосте.

Берлога обернулся.

Пламя желтыми острыми дымящими языками било из окон общежития сотрудников "Красного Златогорья" и треста "Госстекло". Резал темноту детский плач и встревоженный вой собаки.

Содержание глав I-VIII

В городе Златогорске приезжий концессионер-иностранец Струк воздвигает странный огромный особняк. Но городу не до того. В Златогорске — эпидемия пожаров, может быть, поджогов. Делопроизводитель Варвий Мигунов и репортер Берлога отыскивают в архиве гбусуда старое дело № 1057 о таких же событиях, происходивших в Златогорске двадцать лет назад. В ту же ночь сгорает и здание суда. После пожара Мигунов, как потерявший рассудок, помещен в психиатрическую больницу. Уголовник Петька-Козырь похищает по заданию неизвестных лиц дело № 1057. К бездомному Берлоге на улице присоединяется полусумасшедший нэпач Иван Кулаков, младший владелец купеческой фирмы "Братья Кулаковы". Берлогу заманивают в психиатрическую больницу, где преступно лишают свободы и переводят на положение душевнобольного. После митинга на заводе комсомолец Ванька Фомичев, старый рабочий Клим и лихой заводский парень Андрей Варнавин решают сообща взяться за поиски поджигателей. Варнавин отправляется к уголовникам и после очередного пожара попадает вместе с Петькой-Козырем в тюрьму по обвинению в поджоге. В город приезжает некто, называющий себя инженером Куковеровым и останавливается в гостинице "Белью". К нему привозят Берлогу из психиатрической клиники. Куковеров обещает освободить Берлогу и сделать его своим помощником в деле розыска поджигателей.

Глава IX. На биржу труда!



И. Бабель

Куковеров приехал в Златогорск двадцать второго августа. Двадцать пятого, в восемь часов вечера, он стучался у ограды особняка Струка. Ограда эта, как известно, напоминала сплетение лиан в тропическом лесу или сцепившихся хвостами окаменевших загипнотизированных змей. При ближайшем рассмотрении она оказалась решеткой из деревянных прутьев, окрашенных серебристой краской. Куковеров со страхом ждал мгновения, когда стебли ограды — лианы и змеи — зашевелились и раздвинутся. После этого, т. е. после того, как загипнотизированные змеи раздвинутся, в ограде должен, как известно, образоваться проход или, вернее, аллея, заканчивающаяся автоматической дверью без всяких дверных ручек, но из орехового дерева. Дверь эта в свою очередь заканчивалась в пылком представлении Берлоги ущельем, облицованным никому не известным синим камнем с красными прожилками. Но вместо облицованного ущелья перед Куковеровым вырос затейливо расчесанный парень в бумазейной рубашке навыпуск и в больших, скрипучих, казенного образца сапогах. На протянутой руке парня болтался, как на штанге, пиджак. В другой руке он держал пузырек с бензином. Парень, очевидно, выводил бензином пятна на пиджаке. В этом не могло быть никакого сомнения.

— Что надо? — сказал парень.

— Гражданин, — торжественно произнес Куковеров, — сегодня в 6 ч.

9 минут я отправил мистеру Струку телеграммолнию. В этой молнии содержался вопрос — может ли мистер Струк принять меня в восемь часов?

— Они, кажись, в кухмистерскую выходили, — сказал парень, плюнул па пиджак и затер плевков тряпочкой, смоченной в бензине, — а, может, и дома... Заскочите на лестницу, повернетесь вправо, потом возьметесь прямо, все прямо...

Дверь открылась, и Куковеров вступил в вестибюль. Здесь, как известно, высоко вверх уходила металлическая, сияющая медью, лестница.

— Голубчик, да ведь она сама едет... — сказал инженер со страхом.

Но парень вместо ответа с жадностью посмотрел на папиросу, которую закурил Куковеров.

— А не накажу ли я вас на одну папиросочку, гражданин, — пробормотал он, и, получив папиросу, пустил дым изо рта, из ноздрей и вроде как бы из глаз...

— Еще третьего дня ездила, — сказал он, увенчиваясь дымом где-то возле ушей, — да вчера сдохла... Полотер в нее упал, она и прикончилась... Теперь не ездит, да и хозяин приказывал, чтобы стояла. Пускай, говорит, самосильно стоит, я теперь, говорит, жене полотера обязан соцстрах платить, и союз меня по судам затаскает, я, говорит, в свои года взошел, мне обидно полотерке платить, меня, говорит, таким манером из денег враз вытрясут...

Парень оказался отменным словоохотливым курильщиком. Куковеров едва спасся от него, взбежал по лестнице, неутомимо сиявшей медными частями, пробежал коридор, уставленный разбитыми кадками из-под субтропических растений, и влетел в круглый зал, имевший, как известно, три сажени в поперечнике. Это был тот самый зал, в центре которого пенился некогда и прихотливо играл струями маленький фонтан. На этот раз он был безмолвен, не хуже любого фонтана, пережившего гражданскую войну. Неподалеку за ломберным столиком сидела морщинистая старуха в пышном бархатном облачении. Морщины ее были запудрены лиловой пудрой, а волосы выкрашены фиолетовой краской.

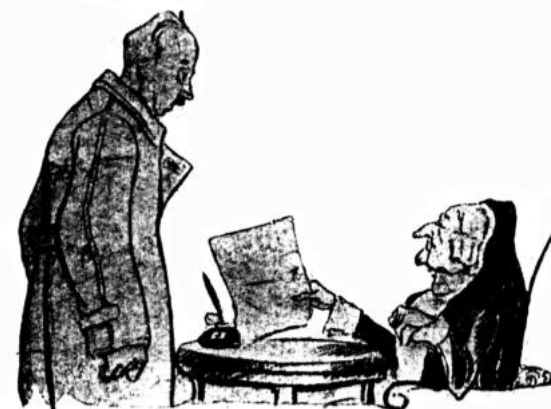
— Могу ли я, сударыня, — с достоинством начал Куковеров, но старуха прервала его и с улыбкой, полной величия и покоя, протянула ему анкету, написанную по-французски.



...затейливо
расчесанный парень в
бумажной рубашке
навыпуск...

— Сначала заполните анкету, — сказала она тоже по-французски, — цель прихода, подписку о неимении фотографического аппарата и о неразглашении тайны...

— Ко всем свиньям, — раздался тогда за спиной Куковерова мелкий неразборчивый обиженный



...Старуха протянула ему анкету, написанную по-французски...
тенорок, — вы опять крутите людям голову с этими анкетами?..

Инженер обернулся. Перед ним стоял бритый старик в хорошем костюме, с рыхлым животом и большим носом.

— Меня здесь черти хватают, — закричал старик с укоризной, собрал рот в горькие детские складки и едва не заплакал, — а вы торчите с Доннером целый месяц в Москве... Меня здесь черти хватают, — прокричал старик и опять едва не заплакал.

— Мистер Доннер задержался, — сказал озадаченный Куковеров и поклонился, — он все хлопочет в Главконцесскоме.

— Главконцесском, Главконцесском... — пробормотал Струк, проследил и погрозил вдруг кулаком фиолетовой старухе, — ко всем свиньям, княгиня, — прохрипел он плачущим своим тенором, — вы мне жизнь сократили, — и побежал в свою комнату. Он семенил большими старыми своими ногами, и живот его вяло раскачивался на ходу, как флаг в безветренный день.

Три часа длилась беседа Куковерова с миллионером. Через три часа он вышел из кабинета — секретарем мистера Струка. Дело в том, что инженер привез с собою рекомендацию от Доннера, председателя русско-американской торговой палаты. За эти три часа Куковеров узнал, что Струк происходит из мещан г. Белостока, Гродненской губ., состояние свое нажил в Америке на военных поставках и получил в концессию пока только

пуговичную фабрику в Москве. Что же касается Алтая, то он ничего об Алтае не знает и интересуется исключительно тракторным заводом в средней полосе Союза. Тракторы — это вам не пуговицы! Смеется советская власть над людьми или не смеется? Пуговицы — это вам не тракторы! Еще узнал Куковеров, что Бахметьев, бывший царский посол в Америке, составил несчастье жизни мистера Струка. Старик имел неосторожность перед отъездом в СССР рассказать Бахметьеву о своих планах. Бывший посол посоветовал ему взять в управляющие бывшего барона Менгдена, в секретарши — бывшую княгиню Абамелек-Лазареву и в архитекторы — бывшего военного инженера генерала Духовского. И вот, бывший военный инженер, который, оказывается, был безработным с октября 1917 года по май 1925 г. и за это время не видел в глаза монеты крупнее десяти рублей, получив на постройку двести пятьдесят тысяч рублей, быстро выстроил на эти деньги фонтан с загипнотизированными змеями и самодвижущуюся лестницу, — что "меня черти хватают, когда я вижу этот особняк, я поседел от него"... Бывшая же княгиня Абамелек-Лазарева, почувствовав себя обладательницей ломберного столика и те-



...объявила себя невинной и стала убеждать старика в том, что ему следует терзаться высшим сладострастием...

лефона, немедленно облачилась в старинный бархат, выкрасилась в лиловый и фиолетовый цвета и заказала анкеты на французском языке. Что же касается управителя, бывшего барона, то он с возложенными на него поручениями справился следующим образом: в качестве "личной секретарши" он привел к Струку из киностудии Дину Каменецкую. Девушка эта, получив на первое обзаведение 25 червонцев, прозвала себя Элитой, купила туфли металлического цвета и шоферский костюм, вытравив себе персидской какой-то мазью волосы на всем теле, за исключением головы, объявила себя невинной и стала убеждать старика в том, что ему следует терзаться высшим сладострастием — сладострастием неуголения... "В мои годы,

в мои больные годы!" Внезапно Дина уехала в Армавир сниматься в драме-утопии, действие которой происходит в 2000 году в стране чудовищно индустриализованной. Таков был первый шаг бывшего барона, второй же его шаг был связан с пустяковой одной историей о пустяковой одной бумажке... В Америке такая бумажка стоит 25 рублей — и концы в воду, но бывший барон... — о, горе, о, горе!..

И поэтому, "my dear Куковеров, наймите мне людей на Бирже труда, людей, которые, начиная с октября 1917 г., ни одной минуты не были безработными, ни одной минуты"...

—

Восемь да три будет одиннадцать. Это скучно, конечно, что не двенадцать, но и число одиннадцать удовлетворяет совершенно. Поэтому ровно в одиннадцать Куковеров распрощался со Струком и быстро зашагал по направлению к гостинице. По дороге он вознамерился купить себе персиков в фруктовой лавке, потому что Златогорск, как известно, в осенние благодатные дни бывает полон густого тепла и персикового дыхания, фруктовые же его лавки завешаны всегда виноградом и дышат диким волнующим запахом овощей. Но, увы, в фруктовой лавке ничего, кроме сушеного чернослива, не оказалось. Ничего, ровно ничего.

Рисунки Бор. Ефимова

Содержание глав I-XVI

В городе Златогорске приезжий концессионер-иностранец Струк воздвигает странный огромный особняк. Но городу не до того. В Златогорске — эпидемия пожаров, может быть, поджогов. Делопроизводитель Варвий Мигунов и репортер Берлога отыскивают в архиве губсуда старое дело № 1057 о таких же событиях, происходивших в Златогорске двадцать лет назад. После пожара в здании суда Мигунов, как потерявший рассудок, помещен в психиатрическую больницу. Уголовник Петька-Козырь похищает по заданию неизвестных лиц дело № 1057. Берлогу заманивают в психиатрическую больницу, где преступно лишают свободы и переводят на положение душевнобольного. После митинга на заводе комсомолец Ванька Фомичев, старый рабочий Клим и лихой заводской парень Андрей Варнавин решают сообща взяться за поиски поджигателей. Варнавин отправляется к уголовникам и после очередного пожара попадает вместе с Петькой-Козырем в тюрьму, по обвинению в поджоге. В город приезжает некто, называющий себя инженером Кукуверовым, и останавливается в гостинице "Белью". Далее Кукуверов устраивается секретарем мистера Струка. Последний окружен в своем особняке бывшими "сиятельными" людьми царской России. При нем же авантюристка Дина Каменецкая, именующая себя "Элитой Струк". Появляется двойник Кукуверова и в автомобиле похищает Берлогу из больницы. Подруга Петьки-Козыря, проститутка Ленка-Вздох, приносит в порт странный пакет, от которого в порту начинается страшный пожар. Пораженная этим несчастьем, Ленка приходит с повинной в уголовный розыск. По ее указанию начальник милиции Корт производит обыск в квартире некоего учителя Горбачева и арестовывает его. В загородном доме Берлоге удается убить двойника Кукуверова и бежать. В своем двойнике, убитом Берлогой, Кукуверов узнает швейцара из Струковского особняка. Элита Струк арестована. Сарочка Мебель, дочь владельца трех лавок, безуспешно заигрывает с комсомольцем Фомичевым.

Глава XVII. Бабочки



Алексей Толстой

Боже ты мой, чего только не наворотили шестнадцать авторов! У читателя голова кругом идет. "Сбились! — думает он, — завязли, засыпались, сами уж не знают, как распутать сумасшедшую историю с пожарами, бабочками, переодеваниями, двойниками, убийствами, прыжками в окно..." и так далее.

Например: при чем в этой истории Пантелеймон Иванович Куликов? Или — кто такой на самом деле Струк? Для каких адских замыслов привлечена к делу несчастная актриса Дина Каменецкая, она же Элита, она же...? Много, очень много неясного. Что знает паралитик Иван Иванович Кулаков, попавший за свое знание в сумасшедший дом? Какие его отношения были к погибшей Ленке-Вздох? О чем совещались за коньячком Пантелеймон Кулаков и Струк? О чем говорили они с Ленкой?

Кто такой Кукуверов (настоящий), выдвинувшийся как будто на первый план в романе? Или что это за таинственная неуловимая личность (в прорезиненном пальто) со рваным ухом и зверским подбородком? Уж не в нем ли главный центр романа? Не он ли говорил с Элитой Струк по телефону из редакции "Красного Златогорья"? Не он ли, намяв бока Бер-

логе и лишив его самого дорогого на свете — самопишущего пера, — засадил его посредством какой-то еще не вскрытой интриги в сумасшедший дом к Ивану Кулакову и несчастному Варвию?

А самое главное, — бабочки? Пожары? Цель их?..

Фу, ты, черт! Тысячи неразрешенных вопросов. Иного читателя возмечет сомнение (и ничего с ним не поделаешь)... "Постойте, голубчики (то есть, авторы романа), уж не дурачите ли вы попросту друг друга и меня в том числе?.."

Нет, читатель, успокойся и отложи сомнения. Верь, — ни одна мелочь в этом романе не сказана зря или брошена и не поднята. Все будет приведено в порядок, все события и лица разовьются в великолепную закономерность. Все тайны будут разрешены, узлы развязаны.

— Вот, тов. Мишин, телеграмма, — сказал Кукуверов, подавая начальнику ЗУРа шифр, — в Москве чрезвычайно серьезно смотрят на златогорские пожары. Поворот к этому делу произошел недавно — причиной была одна заметочка в нью-йоркской газете.

— Что именно?

— Покуда я принужден молчать. Так вот, следствие по этому делу поручено мне, и вы и весь следственный аппарат передаетесь в мое распоряжение.

Собрав складки лба, Мишин прочел шифр. Холодные глаза его скользнули на секунду по лицу Кукуверова. Он коротко кивнул головой:

— Хорошо. Ваши распоряжения?

Кукуверов вынул блокнот:

— Приняты меры к розысканию Петьки-Козыря и Андрея Варнавина?

— Приняты. Их ищут на Стругалевке. Посланы телеграммы на все железнодорожные узлы.

— Был обыск в трактире "Венеция"?

— Был. Обыскана сверху до низу комната, которую занимала Ленка-Вздох. Есть данные, что за час до обыска туда проник кто-то через подполье, отодрав половицу. Ни белья, ни дела № 1057 не обнаружено.

— Слежка за домом Пантелеймона Кулакова продолжается, я надеюсь?

— Да. Ничего нового. В вечер, когда была подожжена баржа, Кулаков скрылся. Домашние его, видимо, не посвящены в дело. Передачи между ними и Кулаковым нет. Мы допросили цыган из табора, где, по нашим сведениям, кутил Кулаков, допрошены официанты в ресторанах и заго-

родных садах. Обнаружилось, что никаких кутежей у Кулакова не было. Правда, он занимал кабинеты, спрашивал вино, иногда звал хор... Но все это были ширмы. Кутежей не было. Под видом гостей приходили люди, с которыми он совещался.

— Очень ценные данные, — сказал Куковеров задумчиво, — очень ценные. Я так и предполагал, что кутежей не было. Был страх, вечный страх у этого человека, доходящий до паники. Хорошо. Что Варвий Мигунов?

— Выпущен из больницы под домашнее наблюдение. Все попытки пробудить в нем память ни к чему не привели.

— Иван Кулаков?

— Безнадежен. Он содержался в отдельной палате, и, видимо, по ночам с ним что-то делали. Служители рассказывают, что каждый раз под утро на него приходилось надевать смиренную рубашку, — так он кричал и бился. Его мозг совершенно помрачен. Когда мы допрашивали больничного персонал, выяснилось, что кроме старшего врача, сообщника поджигателей, была еще приходящая сестра. Она три раза в неделю оставалась на ночь с Кулаковым. В день убийства врача она скрылась.

— Старуха, с большим носом?

— О носе сведений нет, — Мишин улыбнулся, — но старая, 63 года, Марья Митрофановна Брыкина по документам.

— Превосходно, превосходно, — Куковеров шибко потер руки, — Брыкина, она же...

Мишин, как кот на мышь, устался на Куковерова, готовый проглотить это "она же". Но Куковеров захлопнул блокнот, куда записывал сведения. Закурил. Взял телефонную трубку. Жуя папироску, нетерпеливо сморщился:

— Пожалуйста (номер). Благодарю... Княгиня? Это я, Куковеров. Прошу извиниться за меня перед Струком, — я опоздаю на час. По его же делу. Кстати, передайте, что, вышла неприятность. Мне сообщили в "Бельвию", что внезапно арестована мисс Элита... Что? Барышня, нас разъединили...

Усмехаясь, он положил трубку. Встал.

— Еду в Допр к мисс Элите. Попробуем поговорить. Но я начинаю опасаться, что поторопился с ее арестом. Этого именно им было и нужно, чтобы Элита раскалась и наивно откровенничала со следователем.

В высокое окошечко тюремной камеры бил солнечный луч. Элита, лежа на койке, на животе, подперев кулачками щеки, глядела на луч, где плясали пылинки.

Когда загремел дверной засов и в камеру вошел Куковеров, приятно улыбаясь, Элита не пошевелилась, покосилась. Он сел на табурет и тоже принялся разглядывать пылинки. После долгого молчания Элита спросила настороженно:

— Ну?

— Мисс Элита, я пришел за двумя-тремя сведениями, чисто техническими... Вы не откажетесь... Хотя...

Элита сказала:

— Вы подозреваете меня черт знает в чем, я знаю. Я Берлоге, чудному моему Берлоге, сказала и вам повторяю: конечно, виновата, не скрываю... Сама в руки далась... Втянули в какую-то кошмарную историю... Обещали миллионы, удочерили... И всякая на моем бы месте на это пошла: старому черту жить недолго. Конечно, я не дура, понимаю, — хорош отец, сладострастник слюнявый... Ну, тем лучше, скорее ноги протянет... И вот, пожалуйста, тюрьма... Не забывайте, все-таки, я — американская подданная... Чем я, в самом деле, виновата... что я о многом догадывалась...

Элита чуточку перевела дыхание, словно ожидая, что Куковеров сейчас же подхватит: "А о чем, мол, вы догадывались?". Но он продолжал глядеть на пылинки в луче. Тогда она сердито вытащила откуда-то из-под себя носовой платок, притампонила им хорошенький носик.

— Зарезать меня хотели, как овцу, — не удалось. Я знаю, у меня здесь один есть друг... душечка моя, Берлога, — она хныкнула и опять покосилась. — А махинации старого черта очень просто открываются. Он хочет взять в Москве концессию на постройку небоскребов — первым делом в Златогорске... И к нему обратилась шайка — Петька-Козырь, Ленка-Вздых, ну, словом, компания из Стругалевки. И они стали грозиться, что сожгут его особняк, потому что они отчаянные хулиганы... И он дал им денег, чтобы они не жгли. А они так поняли, что можно кругом все жечь и грабить, и за это их наградят...

"Ох, ловка девчонка, — думал Куковеров, и сердце его прыгало от радости, — притворяется душой, и как осторожно топит Струка, красота!.. Ну-ка, теперь — вопросик"...

— Мисс Струк, а все же не могу поверить, чтобы мистер Струк сознательно поддерживал эту шайку... Такой почтенный господин...

— А что вы думали, — конечно, мошенник, но на редкость осторожный...

"Топит, топит, значит, старик, видимо, не виновен", — отмечал Куковеров.

— Скажите, мисс Струк, насколько известно, американские предприятия мистера Струка ликвидированы, превращены в капитал и находятся в одном из американских банков. В Россию переведена сравнительно небольшая наличность? (Элита посмотрела на него темными глазами, не ответила, пожала плечом...) Скажем проще: вам желательно как можно скорее вступить в наследство капиталом приемного отца?..

— Да... (настороженно, затем простодушно). А что вы думали, я какая-нибудь идеалистка?..

— Скажите, мисс, — когда у вас в особняке был Берлога, вы, кажется, воткнули ему в петлицу лиловый цветок с очень сильным запахом. Был такой факт?

— Не помню... Мало ли я кому дарю цветы...

— Не вспомните название этого цветка? Не была ли это тропическая орхидея, так называемая "Ночная смерть", не знаю, как по-латыни... Не удивляйтесь, что я спрашиваю. Я сам большой любитель...

— Слушайте, — сказала Элита, — что вы дурака валяете!.. Ведь все равно — ничего не скажу. Ни на одном вопросе меня не собьете.

— Если бы даже, — Куковеров встал и сейчас же раскаялся: слишком дешевый прием, — если бы даже я спросил вас о гражданине со рваным ухом...

Но это само вылетело. И, разумеется, Элита, не задерживаясь, легко, как по маслу, ответила:

— У меня у самой резаная спина, очень меня интересуют ваши рваные уши...

—

Когда внутри человека работает мотор в сто двадцать лошадиных сил, — трудно сидеть в продолжение двух с половиной часов неподвижно в тишине лаборатории, на стуле у окошка, держа на коленях портфель, блокнот, чернильный карандаш (ах, хорошо было самопишущее перо!) и шапку.

Берлога рассматривал гербарии в стеклянных ящиках на столах, препараты в банках, где в лиловом спирту лежали чудовищные пауки, кольца змей, какие-то зародыши, порожденные, казалось, бредовой фантазией. Прозрачные, как мыльные пузыри, реторты, медные приборы, микроскопы, измерители, стеклянные шкафы в стене, где гудели газовые горелки и варилось, парилось какое-то снадобье, — все это приводило Берлогу в почтительное изумление.

Высокая, очень тонкая девушка в белом халате, в белой косыночке, связанной очипком, — профессор Валентина Афанасьевна Озерова (про нее еще недавно Берлога писал в "Красном Златогорья": "Восходящая звезда советской науки, профессор биологии, будущий академик, и при этом — 26 лет, и красива, как утренняя заря"), — работала в глубине этой тихой лаборатории. Она то подходила и наклонялась над микроскопом, то включала рубильник, и тогда мягко взывало динамо, соединенное с каким-то очень сложным прибором.

Валентина Афанасьевна, казалось, совсем забыла про Берлогу. Ее красивое лицо было спокойно и сосредоточенно. Она работала над крылышком таинственной бабочки, доставленным ей два дня тому назад.

Крылышко было как крылышко, огненно-желтого цвета с лиловой каемкой. И хотя Берлога принес его с величайшими предосторожностями, в жестяной коробке от монпансье, никаких необычайных реакций оно не возбуждало. Химическое и микроскопическое исследования показали обычный состав крыла насекомого — клетчатка, пыльца и прочее.

Любопытные данные дал спектральный анализ. Им было обнаружено присутствие остатков какого-то легко распадающегося вещества. Оно давало три линии в зеленой, одну в оранжевой и одну в фиолетовой части спектра. Вот тогда-то Валентина Афанасьевна и замолчала, перестав отвечать на робкие — шепотком — вопросы Берлоги, судорожно сжимавшего чернильный карандаш.

Микроскопические доли таинственного вещества были извлечены (вместе с пылью), и Валентина Афанасьевна подвергла его действию переменных токов, очень высокого напряжения. Но, по-прежнему, — в спектре оставались те же линии. Она увеличила вольтаж. Помещала пылцу в вакуум с высокой температурой. Было только одно — несомненное возмущение катодных лучей, но вещество оставалось неизменным, никакая химическая реакция на него не действовала. Валентина Афанасьевна выключила рубильник. Подошла к окну и задумчиво глядела на лужайку парка.

Деревья уже покрылись золотом, багровел клен, осыпалась темная листва с каштанов. Над осенними астрами клумбы толклись две запоздалые зелено-желтенькие бабочки-капустницы. "Баба, баба и видно, — с отчаянием думал Берлога, — бросила все к чертям, любитесь на бабочек, извольте ли видеть". Он даже зубами скрипнул.

— Скорее, послушайте, как вас, бегите, прыгайте в окно, — неожиданно крикнула Валентина Афанасьевна и вся покрылась румянцем. Берлога,

не рассуждая, рванулся к окну, раскрыв, прыгнул в сад, упал, встал, обернулся с раскрытым ртом. Валентина Афанасьевна топала ногой от нетерпения:

— Ловите, да скорее же! Слепой вы, не видите, вон они. Да бабочки же, капустницы...

Тогда Берлога припустился на длинных ногах по лужайке, размахивая шляпой, гоняясь за бабочкой. Валентина Афанасьевна кричала:

— Не задавите. Мне живую нужно.

Может быть, никогда еще не был так гениален Берлога, как в это осеннее утро. Он перепрыгивал через кусты, проносился по клумбам, подкакивал на высоту, невысказанную для нормального человека. И бабочку живую поймал. Подал ее Валентине Афанасьевне.

Тогда произошло то именно, чего она и ожидала. На крыло бабочки насыпаны были остатки пыльцы. Насекомое помещено под спектроскопом. Берлоге приказано считать секунды. (Он удивлялся потом, как не лопнуло сердце от этого ожидания.)

И вот, в свинцовой коробке, где помещена была бабочка, что-то с треском вспыхнуло. Прошел еще миллиард секунд, — и Валентина Афанасьевна оторвала глаз от окуляра спектроскопа. Лицо ее, глаза — сияли так, как ни у одной девушки даже в величайший миг любовного счастья.

— Восемь линий газового спектра: линия гелия... линии эманации радия... и три линии того элемента... Того...

Она не могла говорить, положила руку на горло:

— Слушайте, как жалко, что вы ничего не понимаете... Ну, да поймите же, что я открыла новый элемент...

.....

— Ах, вы про эти пожары... Да, да, вам нужно для газетной заметки... Ну, пишите... Видимо...

— Видимо, — прошептал Берлога, полетев чернильным карандашом по блокноту.

— ...жизненная энергия бабочек в ту минуту, когда бабочка находится в полете, то есть выделяет в изобилии жизненную энергию, производит чрезвычайно интенсивный атомный распад элемента, до сих пор нам не известного, а теперь известного... И, в свою очередь, эманация при распаде этого элемента разлагает азот воздуха, при чем происходят выделения атомов водорода и воспламенение его... Поняли, записали?..

— Постойте, постойте, я немного запутался, тут такие слова, специальные... Валентина Афанасьевна, поедомте лучше в редакцию, у нас там сидит спец по водороду...

Содержание глав I-XVIII

В городе Златогорске приезжий концессионер-иностранец Струк воздвигает странный огромный особняк. Но городу не до того. В Златогорске — эпидемия пожаров, может быть, поджогов. Делопроизводитель Варвий Мигунов и репортер Берлога отыскивают в архиве губсуда старое дело № 1057 о таких же событиях, происходивших в Златогорске двадцать лет назад. После пожара в здании суда Мигунов, как потерявший рассудок, помещен в психиатрическую больницу. Уголовник Петька-Козырь похищает по заданию неизвестных лиц дело № 1057. Берлогу заманивают в психиатрическую больницу, где преступно лишают свободы и переводят на положение душевнобольного. После митинга на заводе комсомолец Ванька Фомичев, старый рабочий Клим и лихой заводский парень Андрей Варнавин решают сообща взяться за поиски поджигателей. Варнавин отправляется к уголовникам и после очередного пожара попадает вместе с Петькой-Козырем в тюрьму, по обвинению в поджоге. В город приезжает некто, называющий себя инженером Кукуверовым, и останавливается в гостинице "Бельвю". Далее Кукуверов устраивается секретарем мистера Струка. Последний окружен в своем особняке бывшими "сиятельными" людьми царской России. При нем же авантюристка Дина Каменецкая, именующая себя "Элитой Струк". Появляется двойник Кукуверова и в автомобиле похищает Берлогу из больницы. Подруга Петьки-Козыря, проститутка Ленка-Вздых, приносит в порт странный пакет, от которого в порту начинается страшный пожар. Пораженная этим несчастьем, Ленка приходит с повинной в уголовный розыск. По ее указанию начальник милиции Корт производит обыск в квартире некоего учителя Горбачева и арестовывает его. В загородном доме Берлоге удается убить двойника Кукуверова и бежать. В своем двойнике, убитом Берлогой, Кукуверов узнает швейцара из Струковского особняка. Элита Струк арестована. Женщина-химик Озерова при опытах обнаруживает легкую воспламеняемость бабочек-капустниц при известных химических условиях.

Глава XIX. "Златогорская, качай!"



Михаил Зощенко

Это был простой двухэтажный дом. Он ничем почти не отличался от прочих златогорских строений. Только что у ворот дома стояла будка. Да еще на стене, над окнами, висела вывеска: "Златогорская пожарная часть имени тов. Цыпулина".

От будки до угла дома ходил дежурный пожарный. Он, время от времени притопывая ногами, не от холода, но от скуки мурлыкал про себя: "Кари глазки, куда вы скрылись".

Было три часа дня.

В первом этаже в казармах было светло и тихо.

На койке у окна сидел старый пожарный Григорий Ефимович Дубинин. Вокруг него сидели, кто на чем попало, златогорские серые герои.

— А я люблю быть пожарным, — говорил Григорий Ефимович. — Я тридцать пять лет на борьбе с этой стихией и от этого не устаю. А что часто меня на пожар тревожат, или, может быть, редко — это мне спать не мешает.

— Вы, Григорий Иванович, человек, как бы сказать, пожилой, — ска-

зал молодой пожарный Вавилов. — У вас, кроме пожаров, и запросов, может, никаких не сохранилось. А нам, как бы сказать, неинтересно два раза в сутки выезжать.

— Это, действительно, верно! — подхватили другие пожарные. — Они поджигать будут, а мы им туши по два раза в сутки. Это абсурд с ихней стороны поджигать.

— Поджигать! — сказал Григорий Ефимович. — Это к чему же поджигать? Это не может того быть, чтоб пожары поджигали. Это чистая абстракция — поджигать. Ну, может, неосторожное обращение с огнем. Или, опять-таки, чрезмерная топка. Но поджигать — с этим я не согласен. Это того быть не может.

— Это, Григорий Ефимович, не проверено, — сказал молодой Вавилов, — хотя, говорят, все-таки...

— Говорят! — сердито сказал Григорий Ефимович. — Это к чему же поджигать, сообрази своей дырявой головой. Это кому же польза поджигать? Я, может, тридцать пять лет работаю на пожарную стихию. Действительно, верно, бывают поджоги — слов нет. В девятом году купец Великанов магазин свой поджог. А почему он магазин свой поджег? Потому он магазин свой поджег, что хотел он через это страховую сумму получить. Вот почему он свой магазин поджег. А теперь, предположим, горит дом. И страхованья, положим, на нем нету. Это к чему же его поджигать? Это чистая абстракция.

— Говорят. Григорий Ефимович, таких специальных бабочек выпускают — они и поджигают.

— Бабочек! — сказал Григорий Ефимович. — Бабочка, она насекомая. Животная. Порхать она может. Огня она не может из себя давать. Откуда она может огня давать? Или она со спичками, думаешь, летает?

— А если, Григорий Ефимович, химическая бабочка, — неуверенно скапал Вавилов. — Если это химическая бабочка?

— Химическая бабочка? — сказал Григорий Ефимович с полным знанием дела, — это, опять таки, я вам скажу, чистая абстракция. Химическая бабочка не может выше одного аршина подниматься.

Тут Григорий Ефимович, проработавший тридцать пять лет на борьбе со стихийными бедствиями, несколько осекся. За тридцать пять лет ему не приходилось разговаривать на такие сложные химические темы. К тому же он никогда и не слышал о химических бабочках. Он только презрительно махнул рукой, желая прекратить досадный разговор, разговор, который мог бы подорвать авторитет старого пожарного спеца.

Однако, живой интерес к химическим бабочкам пересилил мелкие ощущения Григория Ефимовича.

— Ну, хорошо, ну, химическая бабочка, ладно, — сказал он равнодушно, — но опять таки, какая это химическая бабочка? Химическая бабочка не всегда подает огонь... Или как ты думаешь?

— Я думаю, — мечтательно сказал Вавилов, — что, может, при общем движении науки и техники какие-нибудь, может, профессора удумали какую-нибудь сложную материальную бабочку...

— Ну? — сказал Григорий Ефимович.

— Может быть, они удумали механическую бабочку, которая летит и вращается, и искру из себя выпускает. Может быть, при ней вроде, как бы сказать, зажигалка такая пристроена. Искра и выпускается...

— Искра! — сердито сказал Григорий Ефимович. — Чистая абстракция. Зачем ученые профессора будут удумывать такие искры?

В это время по Златогорской улице бежал человек в расстегнутом пальто и без шапки. Человек был явно не в себе. Лицо его было бледное и испуганное.

Он добежал до пожарной части и, сильно размахивая руками, начал что-то говорить дежурному пожарному. Тот подошел к будке и нехотя стал за веревку дергать небольшой колокол.

Тотчас во втором этаже открылось окно, и супруга брандмейстера, высунувшись по пояс, спросила:

— Захарыч, горит, что ли? Где?

— Да, на Шоссейной, Елена Дмитриевна.

Во дворе уже суетились пожарные. Они бегали по двору, подтягивая руками свои широкие парусиновые штаны.

Нестарый, плотный брандмейстер, с крепкими стоячими усами, зычно кричал:

— Жива! Запрягай...

Минут не больше как через десять златогорская пожарная команда в полной боевой готовности выехала за ворота.

Впереди ехала линейка с пожарными. Несколько позади — платформа с рукавами и пожарной помпой.

Выезд был — нельзя сказать, чтоб удачный. Заднее колесо платформы делало восьмерку. И через два квартала это колесо вовсе отвали-



лось. Обычно это колесо всякий раз отваливалось, но, по большей части, вблизи пожара. На этот же раз, как на грех, оно отвалилось вблизи самой пожарной части.

Но тут надо отдать должное златогорским героям — колесо было изумительно быстро прилажено. И пожарная процессия снова двинулась дальше.

На Шоссейной улице уже стояла огромная толпа. Все с крайним любопытством глядели на ок-



на второго этажа. Одно окно было разбито. И из разбитого окна валил дым. Дым валил не особенно густо. Ну, примерно, как из самоварной трубы.

— Это буржуйка с третьего номера, — говорил какой-то парень, чувствуя себя героем. — В третьем номере от чрезмерной топки стена затледа. Все кончено. Потушили.

Вокруг парня стала собираться публика. Парень воодушевился и начал что-то сильно привирать.

Народ на улице собирался все гуще и гуще. Пожарные с трудом протискались к дому.

— Полундра! — восторженно кричали мальчишки. — Златогорская, качай!

Перепуганные жильцы и соседи, на всякий пожарный случай, выволокли из квартир свое барахло на улицу. И теперь сидели, каждый на своей куче, пересчитывая то и дело кастрюли и перины.

Вокруг суетились какие-то молодые люди и с жадным любопытством разглядывали домашнюю утварь.

Толпа прибывала. Все соседние улицы были забиты народом.

Старый пожарный спец, Григорий Ефимович, стоял на линейке и, махая рукой, кричал:

— Расходися, граждане. Никакого себе пожару... Чрезмерная топка... Нетути поджога... Иди по своим делам... Тоже — химические бабочки! Говорил — чистая абстракция...

Однако толпа не расходилась.

И уже уперли где-то подушку. По крайней мере, домашняя хозяйка истощенным голосом вопила об этом происшествии.

Уже кое-где произошла давка. И кого-то помяли.

Толпа все стояла и глядела на окна второго этажа.

И можно было видеть в этой толпе всех наших оставшихся в живых героев. Одни, потрясенные разными событиями, стояли молча, испуганно покачивая головами, другие оживленно беседовали.

У самого злополучного дома, у ворот, стоял наш дорогой приятель, товарищ Мишин, начальник уголовного розыска. Он мрачно глядел на толпу и неопределенно пожимал плечами.

Тут же стоял Берлога. Вернее, он не стоял, он бегал с места на место. Он нырял в толпу и в толпе прислушивался к разговорам и толкам.

Вдруг в толпе, в том месте, где нырнул Берлога, раздался отчаянный вопль.

— Ложи назад! — кричал кто-то. — Вот я тебе по морде сейчас дам!

И в эту минуту Берлога, сильно потрепанный, вынырнул из толпы.

В руках его был какой-то сверток, какие-то бумаги.

Берлога дышал тяжело и прерывисто. Глаза его блуждали. Он, видимо, кого-то искал.

Сейчас, в куче домашнего скарба, на одной из перин, он случайно увидел сверток. Это был какой-то грязный, потрепанный сверток. Однако, до боли знакомые цифры на нем — 1057 — потрясли Берлогу. Он схватил с перины сверток с бумагами, нырнул сквозь толпу, и теперь, прижимая бумаги к груди, стоял в некоторой неподвижности.

Но вот он увидел товарища Мишина и ринулся к нему. Он подбежал к начальнику уголовного розыска и, несколько отдышавшись, торопливо развернул бумаги. Трепет прошел по телу Берлоги. Это было украденное дело № 1057.

Рисунки Б.И. Антоновского



Глава XX. Дошел до ручки!



Вера Инбер

Фаршированная рыба (щука), кротко прильнув щекой к вареной картофелине, казалось, отдыхала от фаршировальных мучений. Отец же Сарочки Мебель, старый патриархообразный папа Мебель, многоуважаемый Самуил Мебель, изучая в пятницу вечером строение рыбьего (щучьего) хвоста, думал о жизни. Он думал о том, что три магазина, которые он, приютившись под крылышком нэпа, открыл: один на свое имя, другой на имя жены, третий на имя вдового сына, что эти три магазина, говорим мы, приносят ему меньше прибылей и радостей, чем он ожидал. Особенно неорганизованно вела себя колониально-галантерейная торговля, третья по счету, где хозяйничал овдовевший Мирон Мебель.

— Я понимаю, — размышлял старый Самуил, глядя в упор на фарш, как подушка из тесной наволоки, выпирающий из щучьего бока, — я допускаю, что магазин стоит не на веселом месте. Слева — кладбище, справа — бойня, в анфас — сумасшедший дом, а на горизонте пороховой склад. Такой район не улыбается. Но это же еще не причина, чтобы три месяца мариновать на складе бочонок бывших королевских сельдей. Ведь это же разорение! Подсолнечное масло — так оно прогоркло, вакса высохла на мою голову, что же касается чернослива... — в этом месте Самуил Мебель схватился за лысину и поник над щукой.

— Самуил, — заныл в дверях голос мадам, — Самуил, это же нельзя выдержать, то то, то се. То царь, то коммуна, то нет лавки, то есть лавки, то Сарочка, то Мирон!

— А что Мирон? — запросил Самуил Мебель с тревогой.

— Самуил, — снова заныла мадам Мебель, взявшись за глаз, — разве ты не видишь, что Мирон крутит?!

— Крутит? Не может быть. И так-таки с кем?

— Сиделка из сумасшедшего дома. Так он ей и миндаль, и ваниль, и кокосовые пуговицы, Самуил.

— Жаль, что не подсолнечное масло. Очень жаль.

— А чернослив, Самуил, чернослив прямо пачками!

Самуил Мебель, опять ухватившись за лысину, подошел к окну. А за окном стояла ночь. Город был полон ею до краев, налит ею, как стакан — водой. Внизу, под окном, в черных, смятых и жарких кустах вздрагивал женский голос, покашливал бас, белели руки, и алая точка папиросы висела в воздухе, как птичий глаз.

— Ты слышишь, Самуил, — застонала мадам Мебель, — ведь это наша

Сарочка с каким-то новым прохвостом. Совершенно пропала. Я ей: — Сарочка, куда ты себя так пудришь? — А она мне: — Оставьте, мамаша, это теперь в моде. — Я ей: — Сарочка, смотри, как ты себя ведешь! — А она мне: — Мамаша, это теперь в моде.

— Знаете, товарищ Брындза, — ворковала в темноте невидимая Сарочка, — я вишу в абсолютной пустоте. Мои родители — отрывки старого быта. Я рвусь к новой жизни, но не могу же я одна. Я тоскую. Я просто в отчаяние прихожу.

— Действительно, — сочувственно зарокотал в темноте товарищ Брындза, — так можно до ручки дойти.

— Самуил, — заволновалась наверху мадам Мебель, — что это за разговор? Может быть, он хочет на ней жениться, так ни в коем случае. Ни ручки, ни сердца, ни колониальной торговли он не получит.

— Аннета, — зашипел Самуил Мебель, — не понимаешь, так не вмешивайся. Это просто такое выражение русского народа. Но я со всеми своими делами: с Мироном, с Саррой, с сумасшедшим домом и черносливом, я таки дойду до этой ручки, я это чувствую.

Он еще не договорил последнего слова, как черный бархат ночи стал светлеть и, светлея, таять. Вся комната оранжево осветилась. Вещи, выступая из мрака, как бы рождались наново. Полустолетний подсвечник на комоде заиграл веселым серебром, комод помолодел, и даже фаршированная щука сверкнула золотой рыбкой.

— Конечно! — воскликнул Самуил Мебель, опускаясь в изнеможении на стул. — Опять горит. Горит. И где горит? На Водопроводной улице, у скорняка Мошковича, я вижу по расположению огня. Людям счастье. В понедельник застраховался, а в пятницу уже горит.

Тут мадам Мебель посмотрела на мужа зорко и сказала медленно:

— Людям счастье... А ты о чем думаешь? Чем ты хуже! Или ты не застрахован? И что, например, если стгорит лавка, где сидит Мирон? Кто может что-нибудь иметь против, раз это стихийное бедствие!

— Тыфу, — плюнул внезапно Самуил Мебель. — Горит. Что горит, где горит... Ничего не горит.

Действительно, теперь уже было ясно, что никакой скорняк Мошкович не горел. Просто на горизонте в свой обычный час пористо-розовая, как апельсин, подымалась огромная надкусанная луна.

Но мадам Мебель не смутилась.

— Луна это одно, — сказала она, — а страховая премия это другое. Подумай об этом, Самуил.

И старый Самуил Мебель снопа впал в задумчивость.

Благодаря коллекции пожаров Златогорск из невыразительного бледного города превратился в мировой центр, обведенный на карте многозначительным кольцом. "В Златогорске пожары!", "Пожары в Златогорске!" — зарокотали в типографиях ротационные машины. Защелкали телеграфные аппараты, провода, если вслушаться, загудели в лесах и полях о том же. И радиоприемники чутко настороженным ухом подхватили и разнесли по всему свету весть о златогорских пожарах.

Изображение репортера Берлоги, случайно уловленное чьим-то объективом, пошло гулять по всем иллюстрированным еженедельникам Европы, Америки и Австралии. Подписи под ним становились все страннее, все причудливее. То это был пожарный маниак, то поджигатель, то подожженный, то сгоревший заживо, то неуязвимый для огня. Одна американская фирма, выпустив в свет новую разновидность спасательных поясов, довела до сведения публики, что только благодаря этому поясу известный писатель Берлога, друг покойного Толстого, не захлебнулся в наводненной пожарными кишками комнате. И что в самом скором времени выйдут в свет его мемуары с подробным описанием чудесного прибора.

Уже начали поговаривать о какой-то гигантской международной провокации. Керенский написал по этому поводу открытое письмо в "Руль". Таинственное судно появилось у берегов Камчатки, обстреляло рыбные промысла и сгинуло. Дина Каменецкая получила приглашение сниматься в Голливуде с Чарли Чаплиным. Словом, шум, поднятый вокруг златогорских пожаров, был так велик, столько интернациональных интересов было затронуто в связи с ними, что личный интерес Самуила Мебель к его третьей лавке во всем этом хаосе был совершенно незаметен...

На ранней заре, когда весь город спал, Самуил Мебель вышел из дому. Он шел неторопливой походкой почтенного советского гражданина, которому не спится. Подходя по тихой кривой улочке к району боен и кладбища, он рассуждал так:

— Мирона я разбужу и велю ему убираться, на чем свет стоит. Пусть идет, куда хочет, хоть в сумасшедший дом; кстати, у него там есть готовая сиделка. А я между прочим опрокину бутылку с керосином в ящик с макаронами и полью это все подсолнечным маслом. Спички лежат тут же полке, рядом с яичным мылом. Одна минута, чик... и готово. Я иду домой спать, а завтра Госстрах платит мне деньги. Ничего не поделаешь: стихийное бедствие настигает всех, без различия пола и возраста. Здесь все нор-

мально: я никого и ничего не боюсь, за исключением порохового склада. Хотя он и далек от лавки, но кто его знает... Все зависит от ветра.

Самуил Мебель остановился, протянул нос по ветру и задумался. Ветер был слаб, кто его знает...

Ветер был слаб. Он благоухал зарей, свежестью, водой и травами. Он сулил удачу. Он был тепел, как мед, и сладок, как беспроегрышная лотерея. Но вдруг Самуил Мебель замер. В стаю очаровательных и неопределенных ароматов ворвался один совершенно определенный ужасный запах: запах дыма. Самуил Мебель, весь дрожа, внимательно принялся. Близость порохового склада предстала перед ним во всей своей грозной очевидности. "Дурак, дурак, — сказал самому себе старый Самуил, — как я мог думать, что этот склад на горизонте! Он тут рядом, руку подать. Он даже гораздо ближе, чем бойни. Что будет, если взлетит весь город, а с ним вместе мои другие две лавки? Но главное, если дознаются, что я прогуливался тут утром, так этому придадут общественное значение, и я пропаду. Ведь это действительно пахнет поджогом. Что делать... что делать... Дошел таки до ручки!"

— Тссс, — зашипел внезапно у невзрачной калитки чей-то голос и продолжал шепотом: — Вы что же это, гражданин!.. Разве не видите, что человеку мешаете? Человек делом занят, а вы надвигаетесь, — и тут над калиткой воздвиглась фигура "человека" лет двенадцати, у которого, вместо носа было просто небольшое возвышение из веснушек.

— Простите, — тоже шепотом и необычайно сладко ответил папа Мебель, — я вовсе не надвигаюсь. Не спится, знаете, дай, думаю, пройдуся по окраине города.

— Тссс, — снова зашипел "человек", — летят. Ложитесь, пригнитесь по диагонали. Летят, слышите? — и он с такой силой прихлопнул Самуила к земле, что тот невольно сел. В тишине послышался шорох, чириканье, чьи-то небольшие крылышки рассекали воздух все ближе и ближе. И все его закончилось ликующим и уже вполне громким воплем восторга "человека" с веснушками: — Поймал! Два щегла и одна синица. Можете встать. Скажите, а как у вас обстоит дело с мухами?

— А что? — с осторожностью спросил Мебель, подымаясь с земли. — Почему вас интересуют мухи, молодой человек?

— Я своих птиц мухами кормлю: питательно и дешево. То есть, раньше я кормил их бабочками. От бабочек щеглы делаются гладкими и поют замечательно. Но бабочки-то пропали...

— Скажите... Так-таки пропали?

— Как в воду провалились. Думаю перейти на червей. Пойдите, почувствуете, как дымом пахнет?

— Или я чувствую, молодой человек, — застонал Самуил Мебель, совершенно зеленый от переживаний этого ужасного утра. — Я только это и чувствую. Но дыма я не вижу.

— Сейчас мы все это устроим. Огня без дыма не бывает. Нот я только отнесу птиц, и мы разойдемся с вами и разные стороны: вы на север, я на юг. Кто первый заметит пламя, издаст павлиний крик.

— Павлиний я не умею, дорогой мой юноша. Я к этому вообще не привык.

— Пустяки, вам надо поступить в наше звено: сразу научитесь. Ну, идите на север.

Трясущийся и бледный отправился Самуил Мебель на поиски дыма. Эта тишина сонного города, одиночество, таинственное и грозное бедствие, с которым он сейчас очутится лицом к лицу, — все это потрясало его. На одном из перекрестков он остановился. Отсюда, он прекрасно видел все: сумасшедший дом, кладбище, бойни и страшный пороховой склад. Видел он и свою злополучную лавку. Но что это?.. Самуил Мебель крепко обхватил соседнее дерево и застыл, да, да, дым шел именно из его, да, да, лавки. Да, да, дым шел именно из его лавки.

Лелеять у себя дома всяческие пожарные замыслы — это одно. Но совсем другое — увидеть густой щетинистый дым верблюжьего цвета, обильно и медленно ползущий из окна. Все показалось иным в этот миг папе Мебелю. Торговля — не такой уж бездоходной, место — не таким угрюмым, и даже злополучное подсолнечное масло — менее горьким. Что делать? Звать людей, бежать самому, издать павлиний крик?!.. Позвать пожарных?!.. По они налетят, как коршуны, все затопчут, все залиют водой, а товар — вещь деликатная! Нет, надо посмотреть самому, разбудить Мирона. Может быть, можно потушить домашними средствами. А пороховой склад... Нет, надо будить людей, звать пожарных. А товар... Нет, надо сначала посмотреть самому.

И Самуил Мебель, ежеминутно теряя дыхание и вновь находя его где-то в глубине диафрагмы, ринулся по направлению к лавке. "А Мирон спит!" — мелькало у него в голове во время бега. Добежав до двери, он обрушился на нее всем телом. Дверь безмолвствовала. С непостижимой для его возраста силой он налег на нее: она крякнула и распахнулась. Лавка была пуста. Успокоительно пахли сельди, пуговицы всех сортов глазели из-под непромытого стекла. Подле банки с мелким сахаром на кипе оберточной бумаги густо алело рваное пятно, сгусток черно-красной крови.

— Мирон убит, — подумал старый Самуил, и остатки седых волос зашевелились на его лысине. — Убит Мирон. Он, правда, был неважный сын и плохой коммерсант: мариновал сельди, разбазаривал чернослив и бегал в сумасшедший дом, но все же это был настоящий Мебель. И теперь, боже мой, как я скажу об этом Аннете...

Запах дыма становился все ощутительнее, все страшнее. Самуил Мебель, роняя по дороге голландский сыр в стопку мыла, ворвался в заднюю комнату, где, очевидно, лежал труп, и откуда валил дым. Мирон, совершенно живой, без пиджака, низко склонялся над примусом, над кастрюлей, где что-то всхлипывало и ворчал.

— Мирон, — в изнеможении воскликнул папа Мебель, — сын мой, что это значит? Почему такой дым? Ты жив?

Мирон багрово покраснел, схватился за огонь, обжег пальцы, хотел потушить примус и, очевидно, забыл, как это делается.

— Папаша, — с дрожью в голосе сказал он, — вы не думайте, честное слово, я отдам вам все до одной копейки, чтобы вы не говорили, что я вор. Я не вор, только я влюблен, папаша, как мальчик, как дитя. Делайте со мной, что хотите.

— Что? В чем дело? Смотри, у тебя что-то пригорает. Что это за стряпня в пять часов утра, когда весь город спит? И почему такой дым? Что тут происходит, ты можешь мне, наконец, ответить?

— Могу, отвечаю вам, что это повидло из чернослива, которое я варю для любимой девушки. Сахар у меня подгорел, вот что; оттого и дым. Присяжьте, папаша, что вы стоите? Пошел я с ложкой за сахарным песком и всюду там накапал, так вы не обращайтесь внимания. Я сам все вытру. Главное, не волнуйтесь.

Самуил Мебель посмотрел на стены, на потолок, где обитало семейство пауков, на стол, где в кастрюле жалостно всхлипывало варево, на закопченную медную кастрюлю с длинной деревянной ручкой, — посмотрел на все это отец Сарочки Мебель, старый патриархообразный папа Мебель, многоуважаемый Самуил Мебель, посмотрел на все это, и молвил с горькой, как подсолнечное масло, усмешкой:

— Кончено. Вот я и дошел до ручки!

Содержание глав I-XXI

В городе Златогорске приезжий концессионер-иностранец Струк воздвигает странный огромный особняк. Но городу не до того. В Златогорске — эпидемия пожаров, может быть, поджогов. Делопроизводитель Варвий Мигунов и репортер Берлога отыскивают в архиве губсуда старое дело № 1057 о таких же событиях, происходивших в Златогорске двадцать лет назад. После пожара в здании суда Мигунов, как потерявший рассудок, помещен в психиатрическую больницу. Уголовник Петька-Козырь похищает по заданию неизвестных лиц дело № 1057. Берлогу заманивают в психиатрическую больницу, где преступно лишают свободы и переводят на положение душевнобольного. После митинга на заводе комсомолец Ванька Фомичев, старый рабочий Клим и лихой заводский парень Андрей Варнавин решают сообща взяться за поиски поджигателей. Варнавин отправляется к уголовникам и после очередного пожара попадает вместе с Петькой-Козырем в тюрьму, по обвинению в поджоге. В город приезжает некто, называющий себя инженером Кукуеровым, и останавливается в гостинице "Белью". Далее Кукуеров устраивается секретарем мистера Струка. Последний окружен в своем особняке бывшими "сиятельными" людьми царской России. При нем же авантюристка Дина Каменецкая, именующая себя "Элитой Струк". Начальник милиции Корт производит обыск в квартире некоего учителя Горбачева и арестовывает его. В загородном доме Берлоге удается убить двойника Кукуерова и бежать. В своем двойнике, убитом Берлогой, Кукуеров узнает швейцара из Струковского особняка. Элита Струк арестована. Женщина-химик Озерова при опытах обнаруживает легкую воспламеняемость бабочек-капустниц при известных химических условиях. Во время пожара сумасшедшего дома трагически погибает Ванька Фомичев. На пожарище одного из златогорских домов, среди вытасненных вещей, Берлога находит дело № 1057.

Глава XXII. Возвращение пространства



В. Каверин

Весь этот день Варвий Мигунов чувствовал странное беспокойство. Бормоча что-то, он неутомимо шагал из угла в угол, огромный красный платок торчал из заднего кармана его брюк, как перевернутый флаг или знамя армии, понесшей поражение. Бабочки, вырезанные из папиросных коробок, из архивных дел, висели во всех углах, аккуратными стопочками лежали на подоконниках, и он подолгу, не отрываясь, смотрел на них.

Самый лучший экземпляр бабочки, вырезанный особенно тщательно, висел на нитке посредине комнаты. Прекрасные пушистые брандмейстерские усы торчали на этом экземпляре, большой запаханный ваксой хвост с некоторой величественностью плыл в воздухе.

Над этой бабочкой Мигунов работал с того самого дня, как он был выпущен из сумасшедшего дома и снова поступил под присмотр Ефросиньи. Он был тих, молчалив, почти спокоен. Старуха подчас забывала, что рассудок покинул его. Бесконечная работа Варвия над бабочками начинала казаться ей службой, едва ли не важным делом, имеющим государственное значение. Иногда она даже принимала участие в этой работе — например, именно она запахала хвост самой лучшей бабочки ваксой.



Быть может, так бы и окончил свою жизнь бедный архивариус с ножницами в руке и странной задумчивостью в глазах, лишенных разумного выражения — если бы не этот день...

В этот день, с самого утра, он почувствовал беспокойство.

Пошатываясь, заложив руку за спину, пожевывая губами, он шагал по комнате.

Утомившись, наконец он сел на подоконник и уставился, напряженно раскрывая глаза, на стену соседнего дома. Вдоль стены, раскинув руки, приподнявшись на носках, осторожнейшим образом крался мальчик лет двенадцати; красный галстук болтался у него на шее, он шел,

высоко поднимая ноги, совершенно таким же образом, как крадется сыщик за преступником и каком-нибудь авантюрном кинофильме.

— Пио... пионер... — смутно припоминая, что-то пробормотал Варвий.

Он распахнул окно и сел, свесив ноги с подоконника. Пионер, не обращая на него ни малейшего внимания, остановился, вытащил из кармана какой-то маленький круглый предмет и внимательно посмотрел на него.

— Так я и думал, в юго-восточном направлении, — внятно сказал он.

— Часы... нет компас, — мучительно морща лоб, вспоминал Варвий.

Он соскочил с подоконника на улицу и, подражая пионеру, пошел вдоль стены. Так он прошел одну и другую улицу. Мелькнул фонарь, мигнул зеленый шар аптеки. Деревянные помосты златогорских панелей скрипели под его ногами, как скрипят мачты корабля, в ненастную ночь отплывающего от незадачливой бухты. Он, пугаясь, шел вперед, красный галстук пионера давно уже исчез за углом, а он все шел и шел: улицы лежали перед ним, как разбитое зеркало — в каждом осколке его помраченная голова видела его самого, архивариуса Варвия Мигунова, уходящего от кого-то, следящего за кем-то...

Наконец он уткнулся в глухую стену порохового склада на окраине города. Слепое предчувствие заставило его отбежать в сторону, к забору. В то же мгновение гигантский столб огня встал над мгновенно озарившимся зданием, черные клубы дыма ринулись в разные стороны, мощное дыхание подхватило Варвия. Как футбольный мяч, подхваченный силь-

ным ударом, он взлетел на воздух и, перелетев через забор, упал на землю. Он очнулся через несколько минут и вскочил на ноги, бледный, как полотно, с горящими глазами. Весь мир вокруг него пылал, плыл и пел, небо было ярко-красного цвета. Он дрожащими руками прикрыл глаза и, шатаясь, сделал пять-десять шагов вперед.

— Я вспомнил, я вспомнил все наконец! — крикнул он хрипло.

С лицом, принявшим внезапно осмысленное и живое выражение, он бросился бежать по направлению к горящему зданию. Только теперь, уткнувшись в забор, через который был переброшен силой взрыва, Варвий увидел, что находится в каком-то заброшенном огороде — полусгнившие кочны капусты попадались на каждом шагу, земля была рыхлая и влажная.

Дырявое, ветхое зданье стояло на противоположном конце огорода, ветхая лестница вела на мезонин, и Варвию причудилось, что он видит на этой лестнице смутные очертания человеческой фигуры.

Тяжело дыша, с трудом удерживая непонятное желание кричать, прыгать, как-то отпраздновать возвращение времени и пространства, сознания — Варвий обегал зданье кругом и хотел было уже приблизиться к лестнице, когда чья-то рука осторожно коснулась его, и знакомый голос произнес изумленным шепотом:

— Варвий? Как ты сюда попал, дружище? Ш-ш ш... говори тише, не то нас обоих в два счета прихлопнут...

Худой человек, в кепке и коричневом клетчатом пальто...

Берлога, несомненно Берлога, не кто иной как Берлога, старый друг и самоотверженный репортер "Красного Златогорья" — стоял перед нами.

— Берлога! — едва мог он выговорить.

— Ты очень кстати, — сказал репортер, внимательно глядясь в лицо Мигунова, — история, брат, запуталась и затянулась с того времени, как мы с тобой искали дело в архивах суда. Еще домов двадцать пять сгорело. Никто ни черта понять не может.

Он промолчал и прибавил нерешительно:

— Кроме меня, пожалуй. Я кое о чем начинаю догадываться.

Варвий, неожиданно для себя самого, весело подмигнул ему.

— И кроме меня, дружище, — прошептал он, — я тоже кое о чем догадался.

Берлога собрался было что-то спросить, как вдруг какой-то шорох, шум, шуршание послышалось над ними. Варвий невольно поднял голову — он увидел тень.

— Опять! — пробормотал Берлога.

— Что опять?

— Как что?! Это Струк, — с досадой сказал Берлога, — ты его не знаешь...

Он не окончил фразы; тень, ожившая и превратившаяся в бритого старика с рыхлым животом и большим носом, спускалась по лестнице.

Не успел Варвий разобраться в непонятных словах, как Берлога пригнул его к земле и сам присел на корточки.

Старик, кряхтя, спускался с лестницы. Он спустился на землю и, ворча что-то, пошел напрямик через развороченные грядки огорода.

Берлога и Мигунов переждали несколько секунд и, едва он свернул за угол здания, крадучись пошли вслед за ним.

Когда они прошли вслед за стариком в узкую дыру, замаскированную чахлыми кустиками сирени, которая росла тут вдоль забора, старик заворачивал уже за угол. Он, казалось, заметил преследователей и старался скорее исчезнуть.

— Ну, надо бежать, — скомандовал Берлога.

Никогда еще за всю свою жизнь Варвий Мигунов, архивариус Златогорского суда, не бежал с такой радостной быстротой, как в это утро. Веселый сухой песок, как акробат, взлетал под его ногами, Берлога сразу остался позади, — и все-таки старик убегал. Как неуклюжая птица, еще не научившаяся летать, он тяжело подпрыгивал, мотался — и все-таки убегал от него, Варвия Мигунова, с какой-то неестественной невероятной быстротой.



И только когда перед глазами замелькала затейливая ограда Струковского особняка, старик замедлил шаги, пытаясь на ходу достать что-то из кармана.

В это мгновение маленький широкоплечий обезьяноподобный человек, — как позднее узнал Мигунов, это был кузнец, дядя Клим, по фамилии Величко, — откуда-то бросился под ноги старику.

Старик упал, что-то в нем глухо звякнуло о камни, и минуту спустя Мигунов и Берлога уже держали старика за руки, а дядя Клим, ворча и ругаясь, собирал какие-то стеклышки и гайки.

— Гражданин Струк, вы арестованы, — твердо сказал Берлога.

—

Ни Мишин, ни Корт еще не вернулись с пожара пороховых складов. Один Куковеров, насилу оправившийся от обморока, сидел за столом, в кабинете начальника ЗУР'а.

Он был поражен, увидев Струка стоящим между Мигуновым и Берлогой, — в разорванном пиджаке, со связанными на спине руками.

— Развяжите руки, — коротко приказал он.

Дядя Клим, ворча, что "как такого преступника словили, его нужно не то, что развязать, а прямо нужно поперек пула скрутить канатом", — сдержнул, однако ж, веревку и освободил Струка.

Старик пошевелил в воздухе пальцами, потер руки и хмуро уселся.

Спустя четверть часа Куковеров остался с ним наедине.

— Ну что, мистер Струк, — спросил он весело, — так, значит, вы из мешан города Белостока, Гродненской губернии, а? Так вы получили в концессию пуговичную фабрику? Так состояние свое вы нажили на военных поставках в Америке?

Струк уныло посмотрел на него и грустно повел носом.

— Мне ничего не удается за последние пять-десять лет, — печально объяснил он, — за что я ни берусь, все летит вверх тормашками и, кажется, скоро я пойду чистить ботинки уличным шалопаем. О чем вы хотите спросить меня? Говорите прямо.

Куковеров вытащил из кармана портсигар, закурил и предложил закурить Струку. Струк отказался от папирос и, вытащив из жилетного кармана сигаретку, долго чиркал спичкой о стертый коробок.

Струк откинулся на спинку стула, рот его медленно открывался, сигаретка скатилась на колени, на пол.

— Вы нашли дело? — растерянно спросил он.

Куковеров встал, оглянулся, нашел глазами графин с водой, стоявший на подоконнике.

— Хотите воды? — коротко спросил он.

— Ко всем свиньям воду, — дергая руками, объявил Струк, — почему я знаю, может быть, вы меня отравить собрались.

— Нет, мы что-то пропустили мимо глаз при чтении этого дела, — подумал Куковеров, — что за черт, он прямо места себе не находит... Отравить! Черта с три мне тебя травить, старая галоша.

— Мы знаем все, — решительно сказал он, — все, вплоть до того, как звали вашу мамку...

— Да у меня не было мамки, я до трех лет искусственным молоком питался, — яростно пробормотал Струк.

— Это все равно, я сказал для примера. Не старайтесь скрывать... попытаетесь утаить — вам же хуже будет.

Струк фыркнул и сел на стул.

— Ну, что ж, — сказал он, — если вы говорите мне такие вещи, так, может быть, вы и в самом деле знаете, как звали мою мамку, хотя бы я и питался до трех лет искусственным молоком. Ну, что ж, если на то пошло, поговорим начистоту, гражданин Куковеров.

Рисунки Н. Кочергина

Содержание глав I-XXIII

В городе Златогорске приезжий концессионер-иностранец Струк воздвигает странный огромный особняк. Но городу не до того. В Златогорске — эпидемия пожаров, может быть, поджогов. Делопроизводитель Варвий Мигунов и репортер Берлога отыскивают в архиве губседа старое дело № 1057 о таких же событиях, происходивших в Златогорске двадцать лет назад. После пожара в здании суда Мигунов, как потерявший рассудок, помещен в психиатрическую больницу. Уголовник Петька-Козырь похищает по заданию неизвестных лиц дело № 1057. Берлогу заманивают в психиатрическую больницу, где преступно лишают свободы и переводят на положение душевнобольного. После митинга на заводе комсомолец Ванька Фомичев, старый рабочий Клим и лихой заводский парень Андрей Варнавин решают сообща взяться за поиски поджигателей. Варнавин отправляется к уголовникам и после очередного пожара попадает вместе с Петькой-Козырем в тюрьму, по обвинению в поджоге. В город приезжает некто, называющий себя инженером Куковеровым, и останавливается в гостинице "Бельвю". Далее Куковеров устраивается секретарем мистера Струка. Последний окружен в своем особняке бывшими "сиятельными" людьми царской России. При нем же авантюристка Дина Каменецкая, именуемая себя "Элитой Струк". Начальник милиции Корт производит обыск в квартире некоего учителя Горбачева и арестовывает его. В загородном доме Берлоге удается убить двойника Куковерова и бежать. В своем двойнике, убитом Берлогой, Куковеров узнает швейцара из Струковского особняка. Элита Струк арестована. Женщина-химик Озерова при опытах обнаруживает легкую воспламеняемость бабочек-капустниц при известных химических условиях. Во время пожара сумасшедшего дома трагически погибает Ванька Фомичев. На пожарище одного из златогорских домов, среди вытащенных вещей, Берлога находит дело № 1057. К Варвию Мигунову возвращается память.

При помощи Мигунова и Берлоги Струк арестован.

Глава XXIV. Последний герой романа

I.



Ефим Зозуля

Редакция журнала "Огонек", того самого, номер которого купил Куковеров в Златогорске и перелистывал на улице, находится, как известно, в Москве. Помещение редакции состоит из ряда комнат, в которых работают разнообразные отделы журнала. Посетители принимаются в определенные часы и удовлетворяются всевозможными справками.

В начале июня, в двадцать четвертую неделю печатания коллективного романа, в горячий полдень, когда солнце разлеглось в синем небе, как в саду у отца, широко разбросав золотые руки и ноги, в редакцию явился плохо одетый человек, чрезвычайно взволнованный.

Его лицо было, точно пригородный огород капустными листьями, густо утыкано гримасами вежливости, любезности и необычайной предупредительности. Извинившись, что он пришел не в часы, предназначенные для приема посетителей, он, задыхаясь, попросил все же разрешения переговорить с секретарем.

В комнате секретаря, усевшись и отчаянно вздохнув — вздохом чело-

века, спасенного после океанской бури с затонувшего корабля, вытасченного на берег и напоенного коньяком, — спросил:

— Скажите, пожалуйста, товарищ, как вы смотрите на пожары, происходящие в Златогорске?

— Мы считаем их бедствием, — ответил не задумываясь секретарь.

— Бедствием?!

— Да, бедствием.

Из левого глаза посетителя бенгальской ракетой выстрельнул длинный луч надежды и завернулся на конце вопросительным щупальцем. Из другого глаза параллельно заструилась умоляющая муть.

— Бедствием?!

— Да, бедствием, — повторил секретарь. — Если принять во внимание, что погибло столько имущества и что все это — советское добро, то, знаете ли, прямо становится жутко.

— Жутко?!

Несчастный от нервности начал глотать слюну и не мог остановить этого занятия. Затем он вытащил из карманов большие красные руки и стал тереть их друг о дружку.

— Вы говорите — жутко? Значит, вы отдадите себе отчет в размере бедствия? — выговорил он, все еще глотая.

— Еще бы... Мы сейчас заняты главным образом тем, чтобы найти виновных и чтобы эти пожары, наконец, прекратились.

— Прекратились?!

Бенгальский луч из глаза посетителя еще более удлинился, а умоляющая муть стала мерцать, как пожар сумасшедшего дома в Златогорске.

— Значит, вы хотите, чтобы эти пожары прекратились?

— Естественно. А что вы можете предложить в этом отношении? Кто вы, гражданин?

— Я, — ответил посетитель, — я... моя фамилия Желатинов. Я — член московской ассоциации изобретателей.

Тут из глаз Желатинова исчезли и бенгальский луч, и умоляющая муть, — все это исчезло и остался один болезненный блеск, какой бывает у людей, когда они очень боятся, что их перебьют, не дослушают и прогонят раньше, чем они успеют сказать самое важное.

Он быстро встал со стула, неуверенно простер вперед руки, беспомощно открыл рот, полувысунул язык. Человек заметался, засуетился, оглянулся на дверь, скомканно спросил: "Можно запереть ее?", но не запер, а опять уселся и опять встал и, путаясь, быстро заговорил, сам себя пере-

бывая и рассыпая во все стороны с измученного лица, как балерина цветы в заключительном танце, все свои гримасы вежливости и любезности:

— Вы понимаете... Эх, если б вы знали... Вы только послушайте, послушайте до конца... Умоляю — выслушайте... Я хочу сказать, я...

После отлетевших улыбок и гримас любезности что-то еще отлетало и отваливалось от этого лица, — половины уже совсем не было, а от другой половины все продолжали отлетать куски.

Сразу стало ясно: это был глубоко несчастный человек.

— Успокойтесь, в чем дело? — ласково спросил секретарь. — Отчего вы волнуетесь?

Этого простого вопроса, сказанного, правда, участливым тоном, было вполне достаточно, чтобы все отлетевшие куски лица опять прилетели на свои места, а из левого глаза опять выстрельнул луч надежды.

— Спасибо, спасибо. Сейчас, сейчас. Понимаете... Понимаете... Я могу прекратить пожары! Все пожары!! В одну секунду! Нет больше пожаров! Кончено!

Он нагнулся, втянул голову в плечи, закрыл глаза и зашипел:

— Выпишите мой огнетушитель.

И секретарь видел, как красный его кулак бухнулся об его грудь.

— Мое изобретение! Выпишите! Выпишите! Прошу!!

В это мгновение открылась дверь и вошел Корт, начальник златогорской милиции, в сопровождении одного из деятелей московской милиции. Решительным шагом оба направились к посетителю и заявили ему, что он арестован.

— В чем дело? — спросил секретарь, поднимаясь из-за стола.

Деятели милиции выражением лиц отчетливо показали, что они могли бы не давать ответа в данном случае в своих действиях, но в виду важности дела и широкой его общественности они ответили:

— Мы следим за этим гражданином несколько дней. Его поведение крайне подозрительно. Он не только читает роман "Большие пожары", но и изучает его. У него дома обнаружены все номера журнала, в которых печатается роман, и всюду, где говорится о пожарах в Златогорске, пестрят всевозможные значки, подчеркивания и непонятные, явно шифрованного характера, знаки. Мало того, этот гражданин ходит по всем пожарным командам, ходит по всем учреждениям, имеющим отношение к пожарному делу, и даже посылает телеграммы в Златогорск с запросами о размерах пожаров, их количестве и прочем. Нам нужно выяснить, какое отношение имеет сей гражданин к златогорскому бедствию.

Изобретатель смотрел на деятелей милиции непонимающим взглядом

шахматиста, которому в самом трудном положении перед победой над крупным противником суют мармелад или говорят о погоде. В узких глазах его стоял коричневый дым недоумения. Он смотрел на них, как человек, не спавший пять суток, уснувший мертвым сном и нелепо разбуженный для того, чтобы спросить у него, который час.

Насмотревшись вдоволь, он подошел к ним и махнул перед их лицами рукой, точно командующий на параде:

— Слушайте, так же ничего не выйдет, — сказал он. — Ведь так же невозможно! Я уже три года хожу с планами и чертежами и не могу добиться, чтобы мое изобретение испробовали! Самая чудовищная волокита стоит на нашем пути, на тяжком пути изобретателей. А в довершение всего еще вы за мной ходите! Стыдно! Ну, конечно, я ходил по пожарным учреждениям и буду ходить. Ведь я же изобретатель! А что такое изобретатель без настойчивости?! Я читал роман и делал значки. Верно, но я ведь хочу прекратить пожары в Златогорске, и, если вы мне поможете, это будет сделано. Что же преступного в том, что я изучал условия возникновения пожаров в этом злополучном городе?! Оставьте меня в покое! Меня уже три года измучили всякие инстанции, проверяющие мое изобретение и никак не могущие его проверить и испытать.

Изобретатель вдруг вскочил, взглянул на печку, на шкаф с рукописями и крикнул:

— Хотите, я поставлю здесь свой огнетушитель, подожгу редакцию, и пожар немедленно прекратится?!

Секретарь подумал и спокойно сказал:

— Спасибо, не стоит. Лучше давайте придумаем что-либо насчет Златогорска.

Корт отозвал в угол московского деятеля милиции и стал в чем-то убеждать его. Секретарь обдумывал трудное положение и поглядывал на изобретателя. А изобретатель вытянул из кармана план Златогорска, быстро развернул его, положил на стол и стал водить по нем спичкой, шепча что-то и заглядывая в свою записную книжку.

Но какой-то перелом произошел. Где-то зримо утвердилось победа изобретателя. Несчастье упало с него с быстротой платья с плеч трансформатора. Он стал спокойнее. Он выпрямился, его голос стал увереннее, и властные нотки зазвучали в нем. Он занимал без боя, точно в уличной борьбе, угол га углом. Не прошло и двух-трех минут, как он — уже с жестами равного собеседника — говорил, даже приподнимая плечи от удивления перед непонятливостью своих собеседников:

— Ну, чем вы рискуете? Не понимаю! Вы можете меня под любым конвоем отправить в Златогорск. Все мои огнетушители могут быть готовы через две недели. Вы можете меня держать в Златогорске под неусыпным наблюдением. Мне нужно только расставить в домах мои огнетушители, и потом пусть Струк, и сам дьявол жгут, как хотят, дома. Пускай поджигают всеми средствами — гореть не будет! Если при моем огнетушителе будет хотя бы один пожар, — расстреляйте меня! Пожалуйста! Высшая мера социальной защиты! Ничего не имею против.

И Желатинов молодецкато, даже чуть-чуть подпрыгивая, прошелся по комнате.

II.

Конечно, можно было все сделать без шума. Но это не удалось. Приезд Желатинова в Златогорск был замечен. Его встретили на вокзале. Берлога попытался получить у него интервью. Его окружили вниманием и почтением, имевшим, может быть, целью помешать в чем-либо. И, по-видимому, Желатинов это понял. Grimасы любезности, предупредительности и вежливости опять закрыли его лицо непроницаемой путаницей. Он кивал головой, произносил невнятные слова, но думал об огнетушителях. Они прибывали в Златогорск небольшими частями, — на этом настаивал Желатинов, — и он немедленно расставлял их сначала по наиболее ценным в важных учреждениях Златогорска, а затем по обыкновенным жилищам.

Приблизительно с этого времени в Златогорске и начало наблюдаться странное явление: кто бы вечером ни подходил к окну — он пожаров больше не видел. Даже если выходили на улицу и смотрели в обе стороны, то и в этом случае пожары не бросались в глаза. За городом тоже не видно было полыхавшего над Златогорском пламени. Всем даже до некоторой степени стало не по себе. Наступила та скука, какую тайно ощущает в себе человек, когда тревожное событие внезапно сменяется порядком и тишиной.

Все были точно смущены чем-то. Куковеров подходил к окну своего номера в гостинице, смотрел внимательно и разводил руками от глубокого удивления: пожаров не было. Берлога, освобожденный из сумасшедшего дома, бегал по всему городу, стараясь найти хоть какой-нибудь пожар. Просто даже неудобно было: в хронике газеты было все, что угодно, кроме пожаров. Пожаромания заметно овладевала Берлогой, его товарищи в связи с этим уже серьезно подумывали о психиатрической лечебнице для переемившегося Берлоги. Старик Струк внезапно умер, успев, однако, написать путаное завещание с целым рядом совершенно непонятных пара-

графов. Дина Каменецкая поступила на службу в качестве машинистки и с первой же недели подняла, как говорят сейчас, бузу из-за спецодежды. Учитель Горбачев, с лица которого в уголовном розыске так ловко стянули бороду, уединился и стал отпускать бороду по-настоящему. Какую цель он преследовал этой мерой, конечно, неизвестно было, так как прошлое у него было, несомненно, темное, но ясно, что делал он это для усиленной самозащиты. Корт, ездивший в Москву и вернувшийся в Златогорск вместе с Куковеровым, выписал научно-технический журнал "Хочу все знать", чтобы там прочесть что-либо о новых изобретениях советских изобретателей и, в частности, об изобретении Желатинова. Читал он много и добросовестно, журнал получал аккуратно, но об огнетушителях Желатинова ничего не было. Как хороший читатель, он послал в редакцию запрос, почему ничего не напечатано о таком ценном изобретении, на что получил ответ не от журнала, а от ассоциации советских изобретателей, куда корректная редакция "Хочу все знать" переслала без замедления запрос своего читателя. Ассоциация ответила Карту, что изобретение Желатинова еще находится в разных инстанциях, от которых зависит введение огнетушителей в жизнь. Ассоциация в конце письма выражала уверенность, что, вероятно, через год-два судьба изобретения уже будет известна. Корт прочитал это письмо, задумался, пожал плечами и махнул рукой. Человек он был маленький, и ничего больше сделать не мог.

В сравнительно короткое время огнетушители системы Желатинова появились во всех домах Златогорска и даже на пароходах. Когда стало ясно, что Желатинову в Златогорске больше делать нечего, Куковеров как-то приехал к нему, чтобы намекнуть, что он может не задерживаться и вернуться в Москву — почему-то Куковеров об этом очень заботился.

Но Желатинов и сам собирался это сделать, причем его творческая выдумка и здесь нашла себе достойное применение.

В Златогорске, как известно, находится огромная ватная фабрика. Войдя в тесный деловой контакт с красным директором этой фабрики, Желатинов сумел получить сделанные по особому заказу рыхлые ватные квадраты. При помощи этого недорогогостоящего материала и тонко вибрирующих спиралей, опускающихся во фтористо-водородную и еще другие — восьми сортов — кислоты, Желатинов изобрел изумительный аппарат, который, несомненно, станет настольной принадлежностью большинства советских учреждений: неслыханный аппарат механически сокращал штаты. В основу его была заложена конструкция обыкновенного арифмометра, в котором, однако, был сделан изви-

листый вырез, через который в процессе работы аппарата проходили списки личного состава.

Это свое второе, не менее важное и полезное изобретение Желатинов отвез тоже в редакцию.

Изобретатель, уже более уверенный, менее смущающийся, значительно пополневший и выровнявший на лице своем все морщины и впадины, в которых, как сумерки в долинах, стояла настороженная вынужденная вежливость, более спокойно предложил секретарю первую пробу нового изобретения произвести на персонажах коллективного романа "Большие пожары".

— Я нахожу, — сказал он между прочим, — что штаты персонажей вашего несомненно интересного романа необычайно разрослись. Это вполне понятно. Это обычное явление. И в этом нет беды — мой аппарат совершенно безболезненно сократит нужное количество героев этого предприятия...

При испытании огнетушителя Желатинова в редакции требовалось, как помнит читатель, редакцию поджечь, от чего секретарь отказался. Для испробования второго изобретения Желатинова никаких жертв не требовалось, и секретарь, разумеется, согласился.

Составив наскоро список персонажей романа, Желатинов сунул его в извилистую щель. Аппарат тихо застучал, издавая плачущие звуки и чуть-чуть побрызгивая по сторонам кислотой. Минут через двадцать из другого конца гениального аппарата выполз помятый и смоченный кислотами список, на котором, однако, четко видно было, кто сокращен из числа действующих лиц романа.

Правда, аппарат был еще далеко не усовершенствован — несомненно, что квалификация его работы поднимется по мере совершенствования. Но пока было все же сокращено за ненадобностью довольно большое количество народу: сокращена была Дина Каменецкая, служащие редакции, Берлога и его приятель, вся пожарная команда Златогорска, ни разу не упоминавшаяся в романе, несмотря на то, что в каждой главе было не меньше одного пожара, — значит, она была явно бесполезна; сокращен был также учитель Горбачев, неизвестно для чего носивший приставную бороду и пробовавший запустить новую, настоящую, Корт и многие другие.

К сожалению, аппарат, как видит читатель, сокращал главным образом маленьких работников, начиная с машинистки. Но такова уж, по-видимому, психология всякого сокращения. Так сокращают люди, так сокращают и машины.

Глава XXV и последняя. Прибыли и убытки



Михаил Кольцов

Комиссия для выяснения настоящих корней и причин златогорских пожаров прибыла из Москвы, как водится, с большим опозданием. Члены комиссии высадились на Златогорском вокзале во вторник, а накануне, в ночь на воскресенье, в городе отшумел последний пожар — сгорел диковинный и замечательный особняк Струка.

Загадочного в этом заключительном бедствии ничего не было. Да и бедствием гибель Струковой постройки от огня никто из горожан не считал. Радостно, именнно, как о празднике избавления, рассказывали друг другу златогорцы подробности субботней ночи в белом доме с загипнотизированными змеями знаменитой ограды. Разговора о бабочках не было, а если и был, то совсем не о тех бархатистых, желтого цвета с синей каймой, какие полыхали по Златогорску во все время печатания коллективного романа, вызывая в самых спокойных людях зловещие позывы к бегству и крикам.

Особняк после неожиданной смерти Струка был сдан Откомхозу в аренду, и взяли его сообща, для поправления дел своих, два человека с репутациями чернее ваксы — известные читателю нэпачи — Пантелеймон Иванович Кулаков и Соломон Абрамович Прейтман.

К особняку привесили большую полотняную вывеску:

Семейное казино
"ЭЛИТА"
Общедоступная рулетка!
Различные американские салонные
игры.
Железка!
Стуколка!
ЛОТО!
Шмен де фер и баккара!
Первоклассная кухня под управлением бывшего
повара бывшего преосвященного Авессалома,
бывшего архиепископа Златогорского.
ПИВОУ РАКИ!
Просим лично убедиться!

Львиная доля доходов с казино по договору отходила в пользу Деткомиссии. Но доходов никаких не было. У дома была худая слава, туда боялись ходить. Редкие златогорцы, если и ходили в казино предаваться излишества, то больше у лотошки, переживая сильные ощущения на одной карте за двугривенный. В буфете спрашивали чай с лимоном покрепче, и только раза два самые отчаянные златогорские гуляки, придя с дамами, потребовали три порции битков по-казацки да бутылку наливки.

Почти каждый вечер оба компаньона сидели друг против друга среди снежной пустыни белых накрытых столиков в большом стеклянном павильоне, некогда, во второй главе, ослепившем скромного Берлогу. Между ними, выпрямившись, как офицер, сидела сокращенная из романа Элита Струк. На стройных ногах свободно держались совсем уже разношенные туфли металлического цвета. Жемчуг герцогини беррийской, в свое время полученный впридачу к настоящим шелковым чулкам у старой дамы в Москве на Петровке, — еще держался, хотя жемчужины все были уже в туберкулезе, обнажившем их нежемчужное происхождение.

Элита должна была смотреть прямо перед собой, потому что всякий взгляд на правого или левого кавалера вызывал бешенство у другого. Каждый из влюбленных, совсем ополоумевший от коньяка и убытков, готов был растерзать кинокрасавицу за малейшее предпочтение другому. Она пила в равной доле со обоими поклонниками, все время грозно молчала, и только нюхнув белого порошку из маленькой трубочки, начинала нести длинную канитель о каких-то не признававших ее талантов московских режиссерах.

Несчастье случилось поздней ночью, когда Пантелеймон Кулаков, придравшись к тому, что Элита якобы чокается больше с Соломоном Прейтманом, чем с ним, опрокинул напитки, поджог в дикой сибирской ярости скатерти и занавесы, пламя которых в минуту было разнесено и раздуто пронзительными сквозняками чудовищной постройки.

Так сгорел особняк, и Элита уехала в жестком вагоне искать в Москве новых побед, и разоренные нэпачи с разбитыми женщиной сердцами сели в тюрьму за невыплаченные налоги и, идя с лопатами на принудительные работы, слышали сзади себя специальную частушку златогорских ребятишек:

Бабочки да рюмочки
Доведут до сумочки.

Как видит читатель, последняя вспышка версии о бабочках, как виновницах пожаров, давала вопросу совсем другое смысловое освещение.

В точности неизвестно было, от кого именно приехала московская комиссия. Вид у нее был не особенно грозный, а, скорей, задумчиво-психологический. Председатель — маленький человек, бритый, взъерошенный, в клетчатом костюме — выслушивал всех людей с очень одобрительным видом, почему-то громко хохоча почти после каждой фразы. Второй член комиссии, с рыжей бородой и с веснушками, обсыпавшими всего его вплоть до рук, с крепкой бычьей шеей, слушал рассеяннo и нетерпеливо, расстегивал посреди заседания толстовку и свирепо скреб ногтями широкую волосатую грудь, затем незаметно уходил, якобы на минутку, а очутившись на улице, мчался к морю, одним взмахом снимал с себя все верхнее платье, обнаруживал никогда не сменяемые трусики, почему-то подвязанные широким кожаным ремнем, и блаженно бултыхался о воду, причем борода его издали казалась плывущей по реке мочалкой. Третий — высокий, сухопарый, лысый, в синих военных галяфе — называл всех без исключения посетителей "мал-ладой человек" и расспрашивал почему-то преимущественно о постановке рыболовного дела в Златогорске.

Видимо, все-таки учуяв подлинные задачи и цели комиссии, златогорцы, целыми сотнями приходявшие для дачи добровольных показаний, указывали в своих обвинениях и претензиях на множество лиц, до сих пор не появлявшихся в романе как герои, хотя и широко известных публике.

Целый ряд жалобщиков обращал внимание расследователей на историю возникновения первого крупного пожара — в губернском суде, определенно указывая на его вдохновителя. Запрошенный в связи с этим проживающий в Крыму член профсоюза печатников Александр Степанович Грин письменно показал, что хотя им действительно был учинен в первой главе коллективного романа пожар в суде, но не его, Грина, вина в том, что этот пожар географически состоялся в советском городе Златогорске, а не в некотором безымянном городе за границей, как это было предложено в рукописи Грина. Сверка документов, действительно, подтвердила, что А.С. Грином действие первой главы было указано не в СССР, и даже первые герои романа — делопроизводитель Варвий Мигунов и репортер Берлога — первоначально, по Грину, именовались "архивариус Варвий Гизель" и "репортер Вакельберг".

Женщины жаловались преимущественно на Льва Никулина. Привод в Златогорск обольстительной красавицы Элиты, взбаламутившей всех,

даже самых скромных мужчин города, расценивался ими как общественно безнравственный акт:

— Хорошо еще, товарищ председатель, что Лидин, Владимир Германович, ее, вертихвостку паршивую, на чистую воду вывел, показал, что никакая она не Элита, а самая что ни на есть последняя Дина Каменецкая, даже сейчас в Посредрабисе на учете не состоит! Ведь это что же такое — подобную публику в роман напускать!

Претензии на контрабандную, через роман, доставку в Златогорск не-трудового и контрреволюционного элемента касались также Бабеля.

— В один присест он и бывшего барона Менгдена, и бывшую княгиню Абамелек-Лазареву, и бывшего генерала Духовского привез! Сидят они, наш советский хлеб едят, по-французски разговаривают! Какого, спрашивается, рожна?

Посетители трудового облика обращали внимание на несправедливости и жестокости, учиненные рядом лиц в отношении шести пролетарских героев, зарегистрированных в романе товарищем Юрием Либединским.

В самом деле, всем шестерым пришлось плохо. Комсомолец Ваня Фомичев, стойко выдержавший ряд тяжелых испытаний, из которых едва ли не самым мучительным был роман с нэпманской дочкой, был, в конце концов, подвергнут мучительной смерти через растерзание обитателями сумасшедшего дома.

Андрюша Варнавин, показанный его творцом как хороший в сущности парень, был безжалостно брошен в темную среду уголовных преступников, а оттуда — за решетку, где пробыл без движения почти до конца всей пожарной завирушки.

Дядя Клим, выдвинутый Либединским на выдающуюся роль, пожал судьбу многих рабочих выдвиженцев, затиснутых бюрократизмом, непониманием и косностью. Его превосходные возможности не были использованы, и только В. Каверин, в поисках пары крепких мозолистых рук, могущих связать преступника, мобилизовал дядю Клима для ничтожной роли, которую мог бы исполнить любой милиционер, дворник или просто безымянный прохожий.

Больше всего негодовали трудящиеся на Михаила Слонимского, единым росчерком пера оставившего Златогорск без председателя исполкома и редактора местной газеты, куда-то невероятно и загадочно исчезнувших.

Но хороши и последующие авторы! Пальцем о палец не ударили, что-

бы спешно вернуть в осиротевший город представителя власти и руководителя общественного мнения!

Нечего и говорить, насколько было велико возмущение всех посещавших комиссию против авторов, связанных с отдельными пожарами в разных частях города.

Стругалевская беднота негодовала на Георгия Никифорова с его "молодым ярко-рыжим конем", тем, что так "фыркал, ржал и злился он, испытывая длинными зубами крепость дерева", тем, "что рвал, кричал восторженно и злобно, швыряя горящие доски в густое сентябрьское небо". Много домов на Стругалевке было не застраховано, и никифоровский конь вышел стругалевцам боком.

Рабкоры негодовали на Николая Ляшко, возмущаясь его легкомысленным поведением:

— А еще свой, пролетарский писатель! Чуть завод не спалил, и рабочий поселок в придачу. Хорошо еще, что вовремя образумился, потушил. Выдумывают тут всякие вещи, а вас не спросили!

Тихие служащие пришли поговорить об Александре Яковлеве. Зачем это ему понравилось поджечь дом на углу Шоссейной улицы и Крутого тупика? Что, другого места не нашел? И, к тому же, со стрельбой! С милицией, с карабинами, с велосипедами, с червячками!

А Борис Лавренев! Ему сердобольные люди не могли простить мучительной смерти Ленки-Вздых, живым факелом сгоревшей в тюремной камере. Многие граждане ставили Лавреневу в пример деликатную заботливость Конст. Федина, предусмотрительно обившего асбестовым картоном местоположение Элиты Струк в Допре.

А Каверин, подкинувший к обугленным развалинам еще целых двадцать пять свежесгоревших домов!

А Новиков-Прибой, с его жуткой огненной кутерьмой в порту! Ведь при чтении его — сердце падает в ледник, и в глазах от страха муть!

Златогорцы относились терпимо только к Березовскому, Зоценко и Вере Инбер. У первого герои тихонько сошлись, выпили, закусили, и так же тихонько разошлись. У второго — скромные герои труда, пожарные, делают свое дело и некоторым образом косвенно содействуют получению таинственного, неуловимого, загадочного дела № 1057. Правда, находка таинственной пачки бумаг ничего не объяснила, ибо дело № 1057 оказалось, после внимательного прочтения его, никакого отношения к нынешним златогорским пожарам не имеющим. Но приятно и утешительно, что дело все-таки нашлось. У Веры Инбер пущено на пол-

тора квартала густого дыму. Но дым оказался без огня, и на том спасибо. Одним пожаром меньше — одним волнением и сердцебиением меньше!

Зато что сказать о ненасытном Н. Огневе, которому всех пожаров оказалось мало, и он в придачу пороховые погреба взорвал?!

Посетители приходили часто и помногу, они иногда окружали стол комиссии густым кольцом и оглашали воздух нестройными жалобами, доводя суету до такой степени, что член комиссии с бычьей шеей начинал сморкаться, как верблюд, а другой, в синих галифе, вспыльчивый, в раздражении лазил в задний карман, где у него шесть лет назад, в гражданскую войну, был револьвер.

Посетители перебивали друг друга.

— К чему эти разговоры о пожарах и взрывах? Ведь ничего подобного на самом деле нет!

— И не бывает! Не может быть!

— Какие там белогвардейцы?! Какие иностранные шпионы?! Литераторам нашим делать нечего, вот и мерещатся им разные ужасы! Только зря вас беспокоят.

Обыватели не на шутку сердились. Среди них были представители разных людских категорий и групп. Стояли посреди комнаты и стучали о землю палками черного дерева с резными набалдашниками упитанные коммерсанты. Нервничали солидные спецы в технических фуражках и с портфелями. Визжали бледные девушки студенческого вида. Волновались партийные работники, некогда подвижные и громокипящие, а ныне обросшие квартирами, мягкой мебелью, толстыми мещанистыми женами, роялями и канарейками.

Все они уже давно обрели вкус к жизни мирной и безмятежной, не восколеблемой никакими настоящими потрясениями. Спецы тихо полнели, рыхло сидя над планами заготовки китового уса на ближайшие пятьдесят лет. Бледные девушки отказывались от всяких потрясений, кроме квартирных склок и аборт. Разленившиеся советские работники допускали жизненные сюрпризы только в виде адресов в кожаных папках от подчиненных. И всем им была невыносима самая мысль о событиях резких и необычных, могущих нарушить их уже налаженный затвердевающий покой.

Председатель комиссии, веселый и добродушный, сначала слушал все жалобы и брюзжания безропотно. Но понемногу и он стал выходить из себя. Медленно накапливалось его терпение, и, наконец, прорвалось. Он незаметно для себя встал, начал громко отвечать собравшимся, и громад-

ные, не по росту, очки его запрыгали на переносице, и голос его, басистый, с хрипотцой голос молодого, но выдавшего виды и покричавшего на своем веку человека гремел на всю комнату.

— Так вы, уважаемые граждане и товарищи, недовольны? Вам причинили беспокойство? Вас потревожили? Нарушали ваш покой! Вы, можно сказать, только расположились отдыхать, только кругом вас затихли ветерки, замолкли птичек хоры и прилегли стада... а в это время вас ерошат какими-то там пожарами, взрывами, злыми кознями международного капитала, всем тем, о чем вы успели забыть, что вы вспоминать не хотите? И, главное, — кто! Безответственные литераторы, советские сочинители, всяческие Бабели и Либединские грозят покушениями, иностранной террористической техникой и прочей ерундой.

В самом деле, стоит ли время терять на разговоры о взрывах и пожарах, если есть у вас настоящие заботы — о мебели, о налогах, о поездках на курорт!

Но если вы не хотите верить литературным выдумщикам, если до вас не дошла искренняя и чуткая тревога этих всегда неспокойных людей — теперь пусть вас обухом по голове бьют газеты!

Из телеграмм и правительственных сообщений, — от них нельзя вам спрятать голову под подушку, как от писательского вымысла! — из газетных твердых строк вы не знаете разве, что рано еще почивать на лаврах беспечности трудящемуся в Советской стране?! Рано думать, что уже отшумели великие грозы революции, что уже совсем потухли большие пожары! Тянется к нам враг, настойчивыми, длинными, цепкими, умелыми своими руками подбирается он к каждому заводу, к каждому дому.

Живого Струка и живого человека в прорезиненном пальто с рубцом на правом ухе — физически не было и нет, как нет и не существуете физически вы, капризные, омещанившиеся, разленившиеся, распустившиеся, в носу ковыряющие жители выдуманного города Златогорска. Всего этого нет. Но есть четкие, жгущие слова советской власти о том, что есть, что не выдумано, что грозит без всяких вымыслов:

"Одновременно в разных местах Союза обнаружены поджоги фабрик, заводов, военных складов. Были обнаружены отдельные случаи порчи фабрично-заводского оборудования, причем обследование устанавливает сознательную злую волю... Совершенно очевидно, что правительство Великобритании, быстрым темпом ведущее подготовку войны против СССР, всеми мерами и всеми средствами стремится нарушить мирный труд рабочих и крестьян нашего государства!"

— Вы видите? Значит — Струка нет, но он может появиться в любом

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

городе, в любую минуту, если мы будем зевать над безопасностью и спокойствием в нашей стране! Вам, может быть, казалась странной, ненужной, излишней глава в романе, где Александр Аросев рассказывал о загадочном путешественнике с паспортом голландца Струка на финляндской границе? Это был художественный вымысел. А разве сегодня не говорит сама жизнь словами официальной сводки о капитане британской королевской авиации Сиднее Георге Рейльи, нелегально перешедшем финляндскую границу нашей страны с фальшивым паспортом на имя купца Штейнберга?! Рядом с вымыслом — настоящие факты, от которых нельзя вам отвернуться!

И писатели в журналах, и телеграммы в газетах зовут не к панике, — позор тому, кто теряет голову и пускается по волнам трусливых сплетен и слухов! Но каждый из вас, если он не Струк, должен запомнить и спокойно, без паники, исполнить обращенные к нему слова:

"Правительство призывает все трудящееся население Союза ответить на бешеные усилия врагов рабочего класса и крестьянства повышением трудовой активности и исключительным сплочением своих рядов.

Правительство призывает всех честных тружеников страны к еще более энергичной работе по строительству социализма и к еще более энергичной работе по укреплению обороноспособности страны.

Правительство обращается к рабочему классу с призывом охранять фабрики, заводы, склады, станции, охранять все то, что выстроено и создано трудящимися, одержавшими в вашей стране победу над помещиками и капиталистами".

Где же основания к мещанской спячке? Где причины к ленивому отрицанию самой возможности новых нападений в вмешательства в мирную спокойную жизнь нашей страны?!

Председатель оглядел все собрание, немножко остыл, почти про себя улыбнулся, и добавил уже совсем простым, деловым тоном:

— Объявляю работу ликвидационной комиссии по роману "Большие пожары" законченной. Всех героев романа, а равно население города Златогорска считаю распущенными. Самый Златогорск, за минованием надобности, упраздняю. Продолжение событий — читайте в газетах, ищите в жизни! Не отрывайтесь от нее! Не спите! "Большие пожары" позади, великие пожары — впереди.

Татьяна ЩУРОВА
"Граждане и товарищи" 278

№ 3.

ЦЕНА 15 коп.

Журнал Буржуй

Юмористический Еженедельник

1918 г.

№ 3.



— Да, душечка, не будь иждивецъ — не сидѣть бы намъ сейчасъ!..



"Граждане и товарищи"

Всплеск журналистской активности в 1918 году вынес на поверхность идею издавать в Одессе еще один юмористический еженедельник.

Первый номер журнала "Буржуй" появился в начале марта, выход последнего, двенадцатого, был растянут до середины июля, после чего и это начинание сложнейшего года в истории нашего города было свернуто. То есть, готовился журнал еще при большевиках, а выходил уже при "новой перемене декорации... Новые маски, новые речи, новые песни...". Намерение редактора-издателя Я.В. Панимана раз в неделю оторвать одесситов от скучной, невеселой житейской прозы и "угостить" его на страницах своего журнала хорошей шуткой, злободневным анекдотом, каламбуром, шарадой и т. д. невольно "опрокидывалось" самой жизнью. И все же очень хотелось сделать свою попытку. В редакционной статье писалось: "В трудное, ужасное время приступаем мы к изданию общедоступного юмористического журнала. Мы думаем, что и теперь, когда кровь и слезы льются рекой, и каждый полон опасения и страхов за день грядущий, — все же смех не должен умереть или исчезнуть из нашей бедной жизни... Сейчас жажда забыться, развлечься должна быть особенно велика и, если нашему "Буржую" удастся хоть на миг сорвать у своего читателя улыбку, наша скромная задача наполовину будет разрешена.."

Трудно сказать, насколько популярен был журнал "Буржуй" в далеком 1918 г. Сегодня очевидно, что он во многом проигрывает по сравнению с периодикой того же времени, скажем, с такими изданиями, как "Бомба", "Яблочко", "Южный огонек", "Маленький Сатирик" и др. Хотя сложился постоянный авторский коллектив (Саша Скромный, Джентльмен, Х.Л. Фин, Макс Поляновский, Дядя Пан и др.), журнал не сумел найти "свое лицо", к его оформлению не привлекли художников, успешно сотрудничавших с другими изданиями. Попытки внутри "Буржуя" открыть сначала юмористическую газету "Пролетарий", а затем газету "Одесская утка", увы, тоже не увенчались успехом.

Лишь однажды на страницах журнала мелькнуло маленькое стихотворение Ю. Олеши "Гунны". А в основном здесь печатался поэт Л. Самойлов. Приведем один из его опусов:

Не надо несбыточных грез,
Не надо прочувственных слез,
Будем реальны —
Оригинальны.
Праздник ликуйной весны
Тусклая осень сменит;
Незачем жить —
Умри!..
В юности мы запоем,
В старости будем смиренны;
Тернии жизни пройдем —
Обыкновенно.

И все же воспользуемся редкой возможностью полистать журнал, давно уже ставший раритетом. Остановимся на тех его страницах, которые сохраняют реалии своего времени, выраженные в привычной для одесситов ироничной манере.

Татьяна ЩУРОВА

Нѣсколько словъ о буржуяхъ.

Слово "буржуй" теперь очень модное.

На улицахъ, въ театрѣ, на митингахъ и дома всюду слышишь: "буржуй"!

Поэтому не безъ интересно, сказать о немъ нѣсколько словъ.

Во первыхъ буржуй есть слово видоизмѣняемое.

Буржуй, буржуа, буржукъ, буржуйникъ, буржуазникъ!

Буржуй это такой же человѣкъ какъ и мы всѣ; роговъ у него нѣтъ, но зато есть... деньги.

Не знающіе буржуевъ въ лицо, могутъ узнать ихъ по пузамъ...

Буржуй носить потертое пальто, старомодные ботинки, боится "товарищей", кушаетъ хорошо, плотно, но въ послѣдніе дни безъ аппетита.

Говорятъ, что совѣтская власть испортила имъ аппетитъ.

Буржуи обладаютъ способностью; лаять. (рѣдкое явленіе!)

Но раньше они это дѣлали открыто, а теперь тайкомъ. (вѣроятно ночью).

Буржуи "эстеты" и любятъ красоту.

Они любятъ также "порядокъ", и мечтаютъ о румынахъ...

Еще они любятъ вѣжливость, аккуратность, и не терпятъ грязныхъ рабочихъ.

Буржуй трудолюбивъ и презираетъ безработныхъ.

Еще характерная черта: буржуй приспособляется...

При Николаѣ они хотѣли монархическую конституцію, при Керенскомъ республику, а теперь даже — сочувствуютъ... Ленину.

Если такъ пойдетъ дальше, то съ Божьей помощью, мы скоро увидимъ его — у станка за дружной работой.

Деньги "буржуи" отдаютъ охотно, говоря: что они не имѣютъ цѣны.

Лицо буржуа — барометръ Россійской революціи...

Еще многое можно сказать о буржуѣ, но онъ пожалуй приметъ это къ сердцу...

А будетъ досадно если случится несчастье...

Оставим же его пока въ покоѣ!

Х.Л. Финъ.

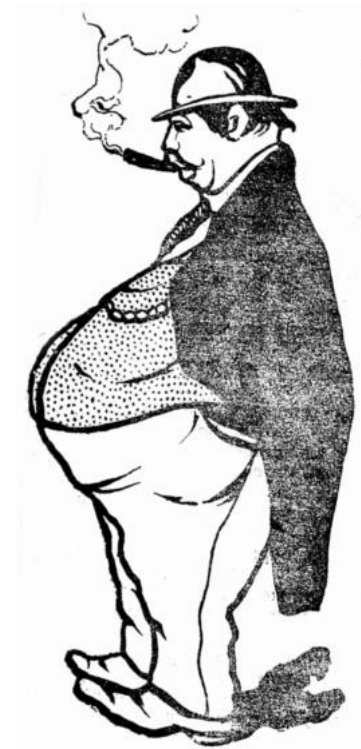
"Патріотъ"

Хоть буржуй я,
Но повѣрьте —
Патріотъ большой.
Я болѣю за Россію
Прямо всей... мощной...

Хоть пузатъ я,
Но повѣрьте —
Въ брюхѣ денегъ нѣтъ.
Я болѣю за рабочихъ
Прямо какъ... Совѣтъ...

Жду румынцевъ,
Жду я "Раду",
Также нѣмцевъ жду...
И повѣрьте —
Свои чувства
Я вам покажу!..

Саха Скромный.



Гунны

(Изъ цикла "Шарахались").

Этого не можетъ быть даже въ "Бомбѣ"
Объ этомъ не споетъ вамъ никакой поэтъ
Чтобы Аттила на тачкѣ, обыкновенную прачку
Вывозить?... Это, подшархавшагося ниже, секретъ...

Юрій Олеша.

Товарищъ

(Періодическое значеніе этого слова).

Когда средь мартовскихъ пожарищъ
Былъ небосклонъ зарей объять,
Рѣшили люди, что "товарищъ"
Есть тот-же братъ,
Названный братъ...

Конечно, это лишь казалось,
Былъ въ простодушии — всякій радъ
И всюду плавно повторялось:
— "Товарищъ — братъ,
Сердечный братъ."

Дни осени примчались быстро,
А съ ними большевизма ядъ
И взвыли въ ужасъ министры:
"Товарищъ — б-братъ...
Нельзя такъ братъ."

И стало такъ. Совѣтской казнью
Былъ исковерканъ аппаратъ.
Народъ твердилъ (но съ непріязнью)
"Товарищъ — братъ,
Охъ братъ, охъ братъ."

Власть захватили въ руки цѣпко
Сталъ анархистъ у насъ магнать.
Народъ твердилъ со злобой крѣпкой
— "Товарищъ — гадъ,
Ужасный гадъ."

Ушли бывые воротилы
Съ мечтой вернуться вновь назадъ,
А мы твердимъ съ усмѣшкой милой
"Товарищъ — братъ,
Товарищъ — гадъ."

Максъ Поляновскій.

Политическій барометръ



...Когда побѣдили
большевики...



...Когда большевики
удрали...



...Когда пришли
нѣмцы...



...Когда объявился
Гетманъ

Одна изъ многіхъ.

I.

Революція какъ пламя
Охватила Люцію;
И взяла бѣдняжка знамя,
Знамя — революціи...
Меньшевичкой стала Люція,
Такъ себѣ, нечаянно...
И работала отчаянно
Въ пользу революціи.

II.

Въ октябрѣ опять какъ пламя
Запылала Люція,

Водрузивши гордо знамя
Новой революціи,
Большевичкой стала Люція,
Но ужъ не нечаянно;
И работаетъ отчаянно
Въ пользу революціи.
— —
О не смѣйтесь, сердце Люціи
Яростное пламя;
Оттого и носитъ знамя
Знамя революціи...

Л. Самойловъ.

Отраженія.



Слухи..., страхи..., сплетни...
Одесса, положительно, живет и дышет
ими...
Слухи, слухи, слухи... страшные, глупые, чудовищные одинъ нѣлѣе другого, точно удушливые газы, ползутъ они по всему городу, пробираются въ дома, квартиры и нѣтъ отъ нихъ спасенія...
Говорятъ..., рассказываютъ..., сплетничаютъ..., по секрету..., полушопотомъ..., изъ самыхъ достоверныхъ источниковъ...
Каждый, что-то знаетъ..., каждый что-то скрываетъ..., каждый чего-то ждетъ...
Да, что вы, чертъ возьми, знаете?!.
— —
Все поругано..., все осмеяно...
Человѣкъ человѣку — волкъ. Братъ возсталъ на брата, сынъ — на отца... перепуталось..., перемѣшалось... заговорили на тысячи языкахъ и другъ-друга не понимаютъ...
Днемъ выгянетъ чуть-чуть прекрасное сол-

нышко, посвѣтитъ, погрѣетъ да и спрячется поскорѣе...
А буржуйка весна дрожить, боится, своего богатства, своего золота...
А ночи!.. Страшныя, страшныя...
Улицы темныя, пустынные какъ кладбище осенью, и зловѣщая жуткая тишина царитъ кругомъ...
Ни души!..
Вдругъ выстрѣлъ одинъ..., другой...
Гдѣ-то кого-то грабятъ...,
Гдѣ-то кого-то душатъ..., убиваютъ...
Крѣпись читатель!
— —
Такова наша чудесная, милая, солнечная Одесса въ эти дни.
Въ дни великихъ испытаній, въ дни великихъ потрясеній...
Переживемъ ли?..

Саша Скромный.

У камина

(въ наши дни).

I.

Ты сидишь молчаливо и смотришь с тоской
Какъ "товарищъ" товаръ забираетъ...
Какъ "его" грузовикъ ужъ наполненъ горой
Какъ куда-то онъ съ нимъ исчезаетъ...
Ты грустишь но о чемъ? Не о прошлыхъ-ли дняхъ
Полной кассѣ — звонкой монеты
Теперь ты банкротъ и дѣла твои швахъ...
Ты голоденъ и плохо одѣтый...

II.

Подожди еще мигъ и не будетъ штановъ...
Въ чемъ тебя одѣвали и грѣли,
И останется пара лишь рванныхъ носковъ
Что "граждане" забрать не успѣли.
О повѣрь въдѣ свобода это тоже каминъ
Гдѣ сгораютъ всѣ лучшія грезы.
А начнется борьба, въ сердце холодъ одинъ
Впереди-же страданія и слезы...

Л-овъ.

"Комиссары"

(пѣсенка).

Комиссары, комиссары.
Всюду — комиссары...
Въ банкѣ, въ почтѣ,
Въ казначействѣ —
Даже на базарѣ...
Комиссары, комиссары,
Говорятъ — они
Удираютъ... покидаютъ..
Насъ всѣхъ —
Въ эти дни...

И — юстиціи..., и — милиціи...
Брошены финансы...
Но о боги!, гдѣ — итоги...
Кто сведетъ —
Балансы?!.
Комиссары, комиссары,
Всюду — комиссары
И отъ этихъ комиссаровъ
Ходишь какъ —
Въ угарѣ...

Саша Скромный.

Моя страничка.

Честь ім'ю предстатися:

— Джентльмэн.

Прошу только обь одномъ:

— Не считайте меня буржуемъ.

Ужъ кто-кто, а я меньше всего похожъ на того, имя которому:

— Буржуй.

Прежде всего, какой я буржуй, если въ моемъ кошелькѣ остался лишь старый, истертый полтинникъ, который рѣшительно всѣ отказываются принимать, утверждая, что онъ... фальшивый — одесского производства. Другой бы, на моемъ мѣстѣ, давнымъ-давно покончилъ жизнь самоубійствомъ. А я не изъ такихъ.

Живу и, даже можно сказать наслаждаюсь жизнью. Никогда еще жизнь не была такъ хороша, какъ теперь.

Вы улыбаетесь?..

Ну, что-жъ, улыбайтесь себѣ на здоровье. А я все-таки остаюсь при своемъ мнѣніи. Ни на секунду не могу себѣ представить возможной жизни безъ того, что сейчасъ совершается.

— Не жисть, а малина!

Прежде всего, выходя утромъ на улицу, я на первомъ же кварталѣ пользуюсь безплатнымъ удовольствиемъ, которое доставляетъ мнѣ чтеніе приказовъ.

Приказы обыкновенно пишутся на трехъ языкахъ: нѣмецкомъ, украинскомъ и русскомъ, и читая ихъ цѣлыхъ три часа подрядъ, я ровно ничего не понимаю. Спрашиваю стоящихъ возлѣ меня:

— Что это такое?

— Какъ что, приказъ?!

— А, въ чемъ, собственно, дѣло?

— Вотъ этого то мы и сами не знаемъ.

Мнѣ становится весело и я начинаю напѣвать новый украинскій гимнъ:

"Ще не вмерла Украина,
Отъ Кіева до Берлина".

Снился мнѣ очень хорошій сонъ: я умеръ и попалъ... в адъ. Вскорѣ пришлось предстать предъ грозныя очи извѣстнаго буржуя Вельзевула, которому дежурный чортъ доложилъ:

— Грѣшникъ изъ Одессы! Какое прикажете наказаніе для него?

Вельзевулъ немного подумалъ и сказалъ, заставивъ вздрогнуть все мое существо:

— Кормить его пять часовъ въ сутки "одесскимъ хлѣбомъ"!

Я взмолился!

— Ваша адская мрачность, сжальтесь, не губите: я до сихъ поръ страдаю несвареніемъ желудка... Нельзя-ли что-нибудь другое?... Ну, хотя бы традиціонный котель съ смолой...

— Финтишь братецъ: смолы у насъ почти нѣтъ, а дрова тоже уже на исходѣ... правда, одинъ котель со смолой у насъ еще остался, но онъ приготовленъ не для такихъ птицъ какъ ты, а для такихъ, какъ Пеликан!.. — замѣтилъ Вельзевулъ и тутъ же добавилъ:

— Впрочемъ, можно примѣнить другое наказание для тебя, грѣшникъ одесситъ: товарищ чортъ тебя будетъ учить украинскому языку, и, если ты его не выучишь — не миновать тебѣ "одесского хлѣба"!

Я хотѣлъ закричать "караулъ", но къ счастью, во-время проснулся.

Во время вечерней прогулки имѣлъ удовольствие познакомиться съ однимъ очень симпатичнымъ "украинцемъ". Онъ встрѣтилъ меня словами:

— Здорово, добродіе! Якъ живете и що робіти на цімъ світі?

— Ничего-съ... Якъ вы?..

— Эхъ, ни вісіло: грошів нима! Чи не маєте ли вы карбованців?

— Тай никогда ихъ и не бачивъ

— Ну, якъ грошів нима, тоді скидайте свое пальто.

— Що це значитъ?

— Це есть реквизиція!

— Карррау-уль!!!

— Цыц, а не то я тобі якъ заворотю!..

.....

А я думалъ уже на будущей недѣлѣ отнести пальто въ ломбардъ...

Разбитыя мечты...

А въ общемъ, — весело...

Чтобъ всѣмъ моимъ врагамъ было "на томъ свѣтѣ" такъ весело!

Джентльмэнъ

Ужась!..

(Фельетонъ Ал. Евгеньева).

Журналистъ Безумовъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ въ своемъ кабинетѣ и выводилъ перомъ какія то фигурки. Уже время было сдать фельетонъ, а у него готово было только заглавіе. Что дѣлать? ужась!.. Такъ онъ и назвалъ свой фельетонъ.

Но очемъ писать? Объ ужасахъ въ Николаевѣ, Херсонѣ и другихъ городахъ? О многотысячныхъ жертвахъ? Все это старо и обыденно... Писать объ арестахъ въ Кіевѣ за разговоры на русскомъ языкѣ. Это тоже можетъ не понравиться...

А между тѣмъ, изъ редакціи уже нѣсколько разъ телефонировали: "Что Безумовъ, пришлете?" "Да, да, обязательно, сейчасъ, моментально"... И опять онъ садился за столъ и выводилъ фигурки. Быть можетъ написать, что нибудь о нѣмцахъ? Правда, сюда, какъ нельзя лучше подходитъ заглавіе — ужась, но онъ не понялъ послѣдняго приказа о печати и боялся...

Затрещалъ снова телефонъ, и въ эту минуту Безумову пришла въ голову новая мысль. Онъ схватилъ трубку. Говорилъ редакторъ. "Вотъ что, сказалъ Безумовъ, я приготовилъ фельетонъ, который къ сожаленію, не сможетъ пойти. Дѣло въ томъ, что я только сейчасъ замѣтилъ приказъ о печати"... но редакторъ волновался. "Вѣдь я вамъ оставилъ мѣсто на сто строкъ"... Это неважно продолжалъ Безумовъ, выпускайте № съ пробѣломъ, публика этого любитъ, это увеличитъ тиражъ. Поставете только названіе моего фельетона — ужась — и мою подпись.

На завтра распоряженіемъ властей газета была закрыта, но зато весь день въ городѣ говорили о знаменитомъ журналистѣ Безумовѣ, фельетонъ коего послужилъ причиной к закрытію газеты.



Радость спекулянта. Опять пошла спекуляція, опять потекутъ рублики... дуй братецъ цѣны... веселись и танцуй... лови моментъ, каналья!

Весенія риѣмы

Весь вечеръ я спорилъ съ молодымъ поэтомъ Петей Карамордовымъ собственно изъ-за пустяка.

Петя доказывалъ, что съ наступленіемъ весны всѣ становятся склонными къ поэзии, риѣмы льются какъ ніагарскій водопадъ, слогъ дѣлается необычайно вычурнымъ, а главное поэзіей начинаютъ интересоваться люди никогда ничего общаго съ ней не имѣвшіе.

Въ такое время поэты отходятъ въ сторону и постепенно ступеньваются.

Признаться, я былъ очень доволенъ уходу скучнаго Пети, доводы котораго мнѣ понять было не по силамъ.

Но понять ихъ все-же пришлось.

Правда не на словахъ, а на дѣлѣ.

Было так...

Когда я проснулся (привычка, повторяющаяся ежедневно по утрамъ) вошла горничная Катя для приведенія въ надлежащій порядокъ моего гардероба.

— А что, Катя, чай готовъ, спросилъ я по обыкновенію.

Неожиданно для меня, а еще больше для себя Катя затараторила.

— Поѣзжайте-ка въ Китай, пейте тамъ горячій чай, я-жъ иду повѣся носъ, уѣзжаетъ мой матросъ.

— Катя, откуда къ Вамъ, обратился я но уже не къ Катѣ, ее не было и мнѣ пришлось одѣть нечищенный костюмъ.

Когда извозчикъ подвезъ меня къ мѣсту службы я вынулъ по традиціи рубль для уплаты.

Но не успѣлъ я вручить ему какъ онъ обрушился на меня слѣдующей тирадой:

— Гражданинъ Вы, мой ѣздокъ, нонче мало мнѣ рублѣкъ, направляюсь на свиданье, вечеромъ къ моей Маланѣ.

— Откуда это къ тебѣ, братецъ?, недоумѣвалъ я набавляя полтинникъ.

— Такъ не откуда. Благодаримъ-съ.

Тиру...

На службѣ въ особое бѣшенство меня ввергла барышня пишущая на машинкѣ.

Уже часъ писала она бумагу съ которой обыкновенно справлялась въ 10—15 минутъ.

Странно чего то?..

Сидить задумавшись и меланхолично выстукиваетъ что-то...

Незамѣтно, подкрадываюсь и смотрю, что она пишетъ.

На бумажкѣ ясно выстукано: дорогой и славный, Костя, обижаться милый бросьте, бросьте рыжую сосѣдку, приходите къ намъ въ бесѣдку.

Мой сынокъ, пригостишка, Володька завидя меня вскарабкался на письменный столъ и дѣловито произнесъ!

— Папа знай что тутъ не сонъ, это правда я влюбленъ, я свободный гражданинъ, ты мой папа я твой сынъ!

Вечеромъ пришелъ скучный Петя Карамордовъ.

Опять болталъ о томъ, что къ веснѣ всѣ вдохновляются для писанія глупыхъ стишковъ. Но теперь я отлично понималъ его.

Вотъ даже сейчасъ лаетъ собачка Биш-ка, а я хорошо знаю, что она выражаетъ въ особыхъ собачьихъ стихахъ свои чувства къ прекрасному пойнтеру Блэку.

— Что и говорить, нахмурыся basilъ Петя, поэты теперь не нужны, они лишни, каждый самъ по себѣ поэтъ... Да...

Бѣдный Петя, тебѣ пошла лишь двадцатая весна, а люди ее отравили своими глупыми стишонками.

Ничего не подѣлаешь...

Весна!..

Максъ Поляновскій.

Диктатура моей жены.

Моя жена маленькая, худенькая женщина, но я могу поклясться что она сильна, очень сильна! И когда она говоритъ: "о я тебя еще убью!" я чувствую ужасъ смерти.

Впрочемъ, къ чему ей сила, когда она ее легко замѣняетъ, и при этомъ страдаю только я.

Если въ последнее время нѣтъ концертовъ, то это еще не значить, что ихъ нѣтъ у меня, они бываютъ каждый день.

Я бы васъ пригласилъ поглядѣть, но моя жена большая скромница.

О милые, интимные концерты!

Въ началѣ слѣдуетъ прологъ...

— Моня ты принеси мнѣ булавки?

— Нѣтъ.

— А. а, почему?

— Забылъ, — принесу завтра.

Начинается дѣйствіе...

Тарелки, ножи, вилки, скатерть и часто кушанья (если моя жена въ ударѣ) летятъ мнѣ въ голову.

Но я такъ наловчился, что посуды ломается и голова остается цѣлой.

— Моня ботинки! Моня пальто! Моня горжетку! — каракулевое пальто!

И такъ каждый день.

Что я спекулянтъ?!

Манечка говорю я ей, кричи за цѣлую недѣлю сразу, гуртомъ. Она не хочетъ, ей не выгодно.

Въ последнее время я веду статистику сколько каждый день ломается посуды.

— Слава Богу, теперь меньше!

Такъ новое несчастье: моя жена набралась модныхъ словъ и сыплется ими какъ изъ пулемета.

Саботажникъ! Контръ-революціонеръ! Провокаторъ! и еще и еще...

Это еще ничего, но она требуетъ объясненія этихъ словъ. А откуда мнѣ знать?

Наконецъ, моей женѣ надоѣло сидѣть дома и она записалась въ партію большевиковъ (какое счастье!)

Она записывается, а партія выписывается.

И кто виноватъ — я!..

Когда же нѣмцы оккупировали Одессу, она мнѣ говоритъ:

— "Это ты подстроилъ!"

Какъ вамъ нравится? — Я!..

И наконецъ вчера, когда я уже лежалъ въ постели, она, моя жна, вбѣгаетъ ко мнѣ и кричитъ:

— "Моня, я — диктаторъ!"

О, теперь наступила моя погибѣль!

Х. Л. Финъ.



АХ, ОДЕССА

Александр ГЕРАСИМЕНКО "Баба Утя"	291
Олег СОЛЯЩАНСКИЙ Травля	293
Александр БЕРЕНШТЕЙН Маца, которую мы потеряли	296
В. ПАСЫНКОВ Павлиний хвост. Об Одессе	299
Феликс КОХРИХТ Стулья разбегаются, как тараканы!	301
Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК "Городок" — пятый угол	302

Александр ГЕРАСИМЕНКО

"Баба Утя"

Так бывает. Встретив незнакомого человека, ты с одной его фразы понимаешь, что он близок тебе и что, видимо, вы не раз с ним встречались. Так бывает при встрече с земляком, а в Одессе — с одесситом.

Память не дает тебе его вспомнить среди встречающих китобоев "Славы". Или ловящим бычков со скалок дикого пляжа. Но ты знаешь, что с ним, как и с тобой, это было, как и многое другое с вами обоими было, т. к. вы оба родились тогда в Одессе.

"Вы знали Бабу Утю?" — спросил я женщину, севшую в машину и назвавшую этот адрес, теплом ворвавшийся в мою душу. "Я с пеленок живу на Дерибасовской", — с очень мне понятной гордостью, но не переходя грани превосходства, ответила она.

— Значить, мы соседи, — на том же уровне сказал я. — Я сейчас живу в 12-м номере, а родился и вырос рядом, на Греческой, где и жила Баба Утя. В вашей жизни она прошла стороной. Лишь подвальчик, где она работала, у вас ассоциируется с ней как "Баба Утя". Так многие думают. Так как ее саму так назвать кроме нас, живших с ней в одном дворе, никто бы просто не смог. Это все равно, что Солнце назвать просто диском. Она была одной из красивейших женщин Одессы. Ее звали Надя и добавляли: "Грузинка!". От мужа осталась фамилия Войнич и сын, мой сверстник, Виталик.

Я уверен, что и мужа ее вы знали. Он заправлял шариковые ручки в киоске возле кинотеатра "Двадцатилетие". Ведь тогда такую редкость не выбрасывали. Он с ними не жил. Мы с Виталиком к нему ходили, когда тех пяти рублей, что ежедневно давала ему тетя Надя, не хватало. А это были для нас большие деньги. Сейчас я не уверен, что ее настоящее имя было Надя. Ведь она была грузинкой. Это тогда у нас таких сомнений не было.

Сначала мы всем двором к ней бегали в подвальчик Интерклуба, который находился возле гостиницы "Красная". Тогда там иностранцы пили коктейль из трубочек. Мы были потрясены, что такое для нас чудо как трубочка используется только один раз. Тогда кусочек плексигласа был для нас сокровищем. А трубочки?!!

Тогда само слово "коктейль" было заграничным! А чтобы что-то пить,

* "Им. XX-летия РККА", затем — "Украина".

пользуясь трубочкой?! Так пол-Одессы пришло бы посмотреть, зачем это надо. Но в Интерклуб всякого бы не пустили. Может, не совсем так, но почему-то все понимали, что на него можно лишь посмотреть, как на новые ворота. Нашему двору повезло! Коктейль мы не пробовали, но использованные трубочки имели.

Тетя Надя была очень яркой и жизнерадостной женщиной. Я знал лишь трех ее мужей. Двое последних по очереди сели за валюту.

Когда тетя Надя стала работать на Дерибасовской, мы уже сами стали отцами.

В те времена дома мало кто сидел, если дел не было. Ходили в парк, на бульвар или в соседние музеи. Но в основном все находились во дворе. Тетя Надя никогда не проходила мимо. Даже если шла с новым мужем. Со всеми шутила, а совсем маленьким делала "ути-ути!", щечка пальцами их животики и, смеясь вместе с ними, поблескивая золотыми коронками.

Знаю, многие ходили в это ее кафе лишь чтобы пообщаться и полюбоваться этой женщиной. Ее искреннее радушие к посетителям прерывалось лишь с нашим появлением с ее внуком.

Они оба начинали смеяться, лишь завидев друг друга, и она бежала к внуку, и звучало ее "ути-ути!".

И мы, те кто жил с ней в нашем дворе, идя на бульвар, говорили детям: "Идем гулять, идем к Бабе Ути".

Мы гордились своим знакомством с ней и не упускали возможности зайти к Бабе Ути. Представляете, как на нас смотрели ее посетители, когда она, бросив их, хватала на руки кого-то из наших детей и, смеясь, делала им "ути-ути!".

Наверное, это как поздороваться с Утесовым.

Может, это только для нас так было?!

Потом они уехали в Батуми.

Сто лет прошло. А вот вы назвали адрес "К Бабе Ути", и я их будто снова повидал, таких же молодых и красивых.

Травля

Они так и полегли от смеха, когда Женя Ганченко, маленького росточка, худенький и миниатюрный, как тростинка, явившись в кубрик из ноябрьской туманно-неуютной тьмы одесских улиц, вдруг сказал на полном серьезе:

— Иду я, парни, сейчас, гляжу, а навстречу мне из темноты три амбала — один как я, а два поменьше.

Шутка всем чрезвычайно понравилась. Он вообще был очень славный парень, этот Женя Ганченко. А еще в их среде был популярен его же прикол, когда шествуя ко улице, он вдруг отделялся от компании и, подойдя к какой-нибудь автомашине, сложив щепотью длинные тонкие пальцы музыканта, быстро касался колеса, делая губами: "Ап-пс-с-с!", громко и достоверно. И владелец легковушки, услышав, деловито выскакивал из машины и начинал озабоченно пинать покрышки под их радостное ржание.

А еще, чаще уже по заявкам, Женя исполнял арию юродивого из оперы "Борис Годунов". Нарочито долго выбирая позу и настраиваясь под оживленно-веселые физиономии его импровизированной аудитории, наконец замерев, предельно серьезный, он протягивал к зрителям худенькую, изящную ручку и гнусаво в нос пел: "Обидели юродивого! Спи... копеечку!". Причем слово "украли" он заменял на более приемлемое слово в их мужском окружении, где родимый вуз называли также и "бурса", несколько, пожалуй, преувеличенно. А речь была пересыпана всякой непотребной и нецензурной ерундой, не от примитива и бескультурья, а от молодой и бесшабашной бравады вчерашних школьников и завтрашних моряков.

В общем, склонность к юмору заложена у одесситов в генах, и у него, одессита, с этой склонностью все было в полном порядке. А, кроме того, он играл на трубе где-то вечерами и, говорили, что неплохо. Но судьба играет человеком, а человек играет на трубе. И судьба сыграла свою партию, и Ганченко отчислили. Программа, им даваемая, была сверхперегруженной, и такой сбой на дистанции был вполне реален. Уже потом, перед дипломом, кто-то из них вдруг предложил вспомнить всех тех, кто не дотянул на их потоке до финиша. И неожиданно получился длиннейший список фамилий, тоскливый и угнетающий, и наводящий на определенные мысли. Но это было потом. А пока шла травля с перескакива-

пользуясь трубочкой?! Так пол-Одессы пришло бы посмотреть, зачем это надо. Но в Интерклуб всякого бы не пустили. Может, не совсем так, но почему-то все понимали, что на него можно лишь посмотреть, как на новые ворота. Нашему двору повезло! Коктейль мы не пробовали, но использованные трубочки имели.

Тетя Надя была очень яркой и жизнерадостной женщиной. Я знал лишь трех ее мужей. Двое последних по очереди сели за валюту.

Когда тетя Надя стала работать на Дерибасовской, мы уже сами стали отцами.

В те времена дома мало кто сидел, если дел не было. Ходили в парк, на бульвар или в соседние музеи. Но в основном все находились во дворе. Тетя Надя никогда не проходила мимо. Даже если шла с новым мужем. Со всеми шутила, а совсем маленьким делала "ути-ути!", щечка пальцами их животики и, смеясь вместе с ними, поблескивая золотыми коронками.

Знаю, многие ходили в это ее кафе лишь чтобы пообщаться и полюбоваться этой женщиной. Ее искреннее радушие к посетителям прерывалось лишь с нашим появлением с ее внуком.

Они оба начинали смеяться, лишь завидев друг друга, и она бежала к внуку, и звучало ее "ути-ути!".

И мы, те кто жил с ней в нашем дворе, идя на бульвар, говорили детям: "Идем гулять, идем к Бабе Ути".

Мы гордились своим знакомством с ней и не упускали возможности зайти к Бабе Ути. Представляете, как на нас смотрели ее посетители, когда она, бросив их, хватала на руки кого-то из наших детей и, смеясь, делала им "ути-ути!".

Наверное, это как поздороваться с Утесовым.

Может, это только для нас так было?!

Потом они уехали в Батуми.

Сто лет прошло. А вот вы назвали адрес "К Бабе Ути", и я их будто снова повидал, таких же молодых и красивых.

Травля

Они так и полегли от смеха, когда Женя Ганченко, маленького росточка, худенький и миниатюрный, как тростинка, явившись в кубрик из ноябрьской туманно-неуютной тьмы одесских улиц, вдруг сказал на полном серьезе:

— Иду я, парни, сейчас, гляжу, а навстречу мне из темноты три амбала — один как я, а два поменьше.

Шутка всем чрезвычайно понравилась. Он вообще был очень славный парень, этот Женя Ганченко. А еще в их среде был популярен его же прикол, когда шествуя ко улице, он вдруг отделялся от компании и, подойдя к какой-нибудь автомашине, сложив щепотью длинные тонкие пальцы музыканта, быстро касался колеса, делая губами: "Ап-пс-с-с!", громко и достоверно. И владелец легковушки, услышав, деловито выскакивал из машины и начинал озабоченно пинать покрышки под их радостное ржание.

А еще, чаще уже по заявкам, Женя исполнял арию юродивого из оперы "Борис Годунов". Нарочито долго выбирая позу и настраиваясь под оживленно-веселые физиономии его импровизированной аудитории, наконец замерев, предельно серьезный, он протягивал к зрителям худенькую, изящную ручку и гнусаво в нос пел: "Обидели юродивого! Спи... копеечку!". Причем слово "украли" он заменял на более приемлемое слово в их мужском окружении, где родимый вуз называли также и "бурса", несколько, пожалуй, преувеличенно. А речь была пересыпана всякой непотребной и нецензурной ерундой, не от примитива и бескультурья, а от молодой и бесшабашной бравады вчерашних школьников и завтрашних моряков.

В общем, склонность к юмору заложена у одесситов в генах, и у него, одессита, с этой склонностью все было в полном порядке. А, кроме того, он играл на трубе где-то вечерами и, говорили, что неплохо. Но судьба играет человеком, а человек играет на трубе. И судьба сыграла свою партию, и Ганченко отчислили. Программа, им даваемая, была сверхперегруженной, и такой сбой на дистанции был вполне реален. Уже потом, перед дипломом, кто-то из них вдруг предложил вспомнить всех тех, кто не дотянул на их потоке до финиша. И неожиданно получился длиннейший список фамилий, тоскливый и угнетающий, и наводящий на определенные мысли. Но это было потом. А пока шла травля с перескакива-

нием с темы на тему под хохот присутствующих, где удовольствие получали не только слушавшие, но и рассказчик. А началась она с того, что кто-то, придя из общаги Водного института, вспомнил об объявлении, виденном им в общаговском туалете: "Окурки в унитаз не бросать — плохо прикуриваются!".

— А я тоже бывал в общежитии Водного, — сказал другой. — У меня там одноклассник живет. Так у него в комнате одна личность любопытная обитает — вечный двоечник, как его еще не выгнали, и вечно без денег. И у всех, кто ни придет, просит: "Парни, ну купите хотя бы пирожок! Ну что вам стоит!". А стоит ему купить, съедает и тут же собирается, и идет по бабам.

Кто-то вспомнил, как какой-то на танцульках учудил, увидев на той стороне зала одну, далеко за тридцатник. Протянув руки к ней с трагическим воплем на весь зал: "Мамочка, родная! Как хорошо, что я тебя наконец нашел! Шоб я так жил!". И та под общий смех исчезла, покраснев. Он тоже порывался рассказать о киноафишке, виденной им на Слободке: "Художественный фильм "Судьба барабанщика", в которой какой-то остроумец густо зачеркнул часть букв, и получилось "Судьба банщика" к его вящему удовольствию. Но кто-то спросил:

— А чего это Восик уже с час не выходит из умывальника? — из умывальника в конце коридора, и правда, слышалось журчанье льющейся воды и приглушенная, неразборчивая ругань.

— А он так клево целовался с одной весь вечер вчера, а сегодня узнал, что с ней негры на днях такое делали! — хохотнул один из них. — Вот уже час зубы и чистит, — они засмеялись.

— Вот пострадал! — отсмеявшись, кто-то сказал сочувственно.

— Да. Любовь штука серьезная! А знаете, как Витек Коле Адаменко удружил? Ну, они же кореша. Приходит, значит, Витек под керосином вечером и говорит Адаменко: "Колюня, я тебе такую невесту снял, обалдеть! Красавица! Готовая! Завтра пойдем". Готовится, значит, Адаменко, а Витек ему: "Ну что, волнуешься? А знаешь, какое первое средство при волнении? Коньячка сто пятьдесят — и вперед!". "А может, не стоит?" — мнется жадный Адаменко. "Да ты что! Ты меня слушай! Думаешь, знакомиться с красавицами так тебе просто". Купил Адаменко коньяк, они осушили. А тут приходят две. "Ну, это моя, — говорит Витек, — А это твоя". А там такой крокодил, ужас! Адаменко чуть не плачет: "Ты же говорил, красавица!". Витьку неудобно. "Ну ладно, бывает. Не разглядел я ее, — говорит. — Не разглядел". Сели она и Адаменко в сквере на скамейку, Ада-

менко полез было к ней целоваться, а скамейка возьми и перевернись. Эта обиделась, треснула Адаменко и ушла. На том и любовь закончилась. Вот уже дней десять Адаменко с Витьком не разговаривает. Не может простить ему коньяк.

Один, отсмеявшись со всеми, сказал:

— Вам бы, балбесам, только о телках. А тут иду я и Жора по Дюковскому парку сегодня. У него и так трое детей и проблем не пересказать, а тут навстречу молодая мамаша с малышом. И вдруг малыш, увидев Жору: "Папа!", и ручки к нему тянет. Вы бы видели того Жору! Ему аж плохо стало.

И травля продолжалась. А ему тогда так и не удалось вклиниться в разговор со своей "Судьбой банщика". И из умывальника по-прежнему доносилось журчанье льющейся воды и приглушенная, неразборчивая ругань несчастного Восика.



Маца, которую мы потеряли

Одесса. 1994 год. Март месяц. Улица Одария, 5. Синагога. Весну выдуло за ворота диким ледяным ветром. Ветер швыряет горсти беловатосерой пыли в группу стоящих друг за другом людей. Мы устремлены к зданию, в котором, окна первого этажа заложены мешками. На дверях табличка: "Выдача мацы". Очередь равняется на мешки, провожая взглядом сожаления тех, кто уходит, отягощенный пачками из коричневой бумаги. Здесь же, в небольшом дворе, находится строение, где продукт производят. У входа стоит крытая грузовая машина. Грузовик у всех на подозрении.

- Говорят, машина из Тирасполя?
- Там еще остались евреи?
- Там осталась мука. Они помогли нашей общине мукой, теперь, наверно, получают часть товара.
- Вы мне говорите! Я спрашивал у шофера. Он молчит. Неужели нельзя обо всем сказать открыто? Мы бы не дали, конечно, но зачем такие тайны?
- Хорошенькое дело! Выдумали себе расписание! Работают три дня в неделю. Я чувствую, что останусь в этом году без мацы.
- Слышали, что они сказали? Еще полчаса будут отпускать. Нет, надо просто окружить машину, чтобы им трудно было ехать.
- Мадам, пока вы стоите у борта, — я спокоен.
- Нужно выяснить обстановку. Или они добавят товар, или давайте выгружать.
- Да, люди уже ходили к председателю общины.
- Ну и что?
- Ничего! Сидит себе, святоша! Он ничего не знает! Что меня больше всего возмущает: он ведет себя, как директор завода. Я хотел его ударить! Честное слово! Женщины стоят с пяти часов утра — он ничего не знает!
- Там еще Додик есть...
- Так Додик просто придурок, а этот — хитрый, наглый!
- Сенья, успокойся.
- Я совершенно спокоен. Просто, если бы он пришел сюда вот с такой шишкой, то сразу бы обо всем узнал.
- Ну не хватит нам, так что? Зачем она вообще нужна? Кушайте

"Сникерс", "Баунти". Мне вот дочка приносит, ерунда конечно, но гораздо слаще.

- Все завалено этими игрушками, а только упаковка красивая, и, говорят, срок годности вышел.
- Помните: нет ничего вкуснее советских шоколадных конфет "Грильяж", и перестаньте морочить голову друг другу.
- А вы готовьте ее дома.
- Как это дома?
- Простой рецепт. Главное — не положить ничего лишнего. Мука и вода.
- А как же сделать эти черточки, бороздки такие должны быть?
- Возьмите колесики от часов. Колесиками от часов раскатывайте.
- Мой друг Костя Колокольников посылал мацу в Израиль. Мы в то время трудились вместе. Была у него любовница... Встречались они в кабинете начальника. Начальник знал столько же, сколько ее муж. Потом она вдруг уехала. И Костя посылал ей бандероли с мацой... Ну, что вы! Конечно, на работе тогда никто ничего не знал. Такая любовь...
- Наверно мы зря стоим. Надо уходить.
- Правильно. А за кем вы стоите? А впереди?.. Синяя куртка тоже уходит? Ленья, еще немножко — и нам хватит...
- Тоже мне, выдумали новый дефицит!
- Что хотят, то и делают! Рынок! Коммунисты не допускали до такого бардака.
- Так те же коммунисты и остались. Побросали партбилеты и строят себе западную жизнь. А на одного капиталиста у них десять ревизоров.
- Строят! Посмотрите на эти стены. Как обрушились, так и стоят. Знаете, что сказал бывший мэр, когда ему доложили, что учащиеся синагоги в опасности? Он сказал: пусть дети наденут вместо кип каски.
- При Сталине...
- При Сталине вы бы ели мацу в Читинской области, и то, только вместе со всеми, после удара в рельс.
- Да, как говорил мой друг Костя Колокольников: нет евреев в своем отечестве.
- Слушайте, вы все помните, все знаете. Давайте мы вас выберем, вместо этого... Будете руководить синагогой. Главное, чтобы без этих штук... Что, вы помолитесь за нас не сможете?
- А что... Хотя я больше по водопроводному делу.
- Жаловаться на них надо!

- Кому?!
- Властям. В исполком.
- Так церковь отделена от государства. Понимаете вы: маца отделена от государства.
- Все, — кончилась. Можно расходиться.
- Я сейчас разойдусь. Если я разойдусь, вам всем мало места будет!
- Не расстраивайтесь. Скоро ее вообще перестанут выпекать. Для кого?.. Не первой необходимости продукт.
- Мы будем стоять тут до победного конца! Я хочу увидеть своими глазами, как им будет стыдно, что они лишили моего ребенка настоящего бульона.
- Если понадобится, ляжем поперек этой машины. А вы можете уходить. И мы ушли. Остались, они — решительные, готовые на все, и маца. Маца, которую мы потеряли.



Павлиний хвост. Об Одессе

...Одесса — шумный, пестрый, многоцветный город. Одесситы любят прихвастнуть:

- Одесса — "кусочек" Парижа.

Не знаю. В Париже не бывал. Но если Париж — огромная территория, застроенная десятью Одессами, то там должно жить невероятно скучно.

Нет ничего печальней театральной неоправданности. Одесса же, если верить первым впечатлениям, — самый театральный, самый нарочитый город России.

Город, где дома — сплошной амфитеатр кресел, улицы — красные дорожки между кресел, лиловые шары электричества — огни рампы, а пышные декорации заменяет море, обступившее город с трех сторон.

Но в этом прекрасно устроенном театре нет хороших актеров.

Душа этого декоративного города умирает. Приглядываясь, замечаешь, что в Одессе ничто не серьезно. Подует ветер, и пыльные декорации дрожат сверху донизу.

Много прекрасных широких улиц, но, в сущности, живет и дышит только одна улица:

Екатерининская.

В этой груди два легких:

- Робина!

- Фанкони!..

Ришельевская — улица конфетти. Дерибасовская — улица серпантин. Это сплошное корсо, причем Ришельевская веселится как-то благородней и сдержанней, а Дерибасовская веселится истеричней.

Хрипло дудят рожки цветных автомобилей, лоснятся золотистые бока лихих жеребцов, мечутся длинные трамвайные вагоны — карнавал, сплошной карнавал, но где-то за фасадами домов, грубо расцвеченных метлахскими плитками, слышится призрачный перезвон:

- Бом!.. бомм!.. бомм!..

Это пир во время одесской чумы... Зачумлена, запугана, забита в один дальний угол самая жизнь Одессы.

Этот угол — Екатерининская улица, где все реально, живо.

*Л. Пасынков, Лео — псевдонимы фельетониста 1910-х годов Лейбы Пинхусовича Грейшмана. Сотрудничал в газетах "Биржевые ведомости" и "Приазовский край". Приведенный набросок был напечатан 30 сент. 1913 года в "Одесском понедельнике" (газета выходила в августе-сентябре 1913, редактор — известный журналист П.М. Пильский).

- Кому?!
- Властям. В исполком.
- Так церковь отделена от государства. Понимаете вы: маца отделена от государства.
- Все, — кончилась. Можно расходиться.
- Я сейчас разойдусь. Если я разойдусь, вам всем мало места будет!
- Не расстраивайтесь. Скоро ее вообще перестанут выпекать. Для кого?.. Не первой необходимости продукт.
- Мы будем стоять тут до победного конца! Я хочу увидеть своими глазами, как им будет стыдно, что они лишили моего ребенка настоящего бульона.
- Если понадобится, ляжем поперек этой машины. А вы можете уходить. И мы ушли. Остались, они — решительные, готовые на все, и маца. Маца, которую мы потеряли.



Павлиний хвост. Об Одессе

...Одесса — шумный, пестрый, многоцветный город. Одесситы любят прихвастнуть:

- Одесса — "кусочек" Парижа.

Не знаю. В Париже не бывал. Но если Париж — огромная территория, застроенная десятью Одессами, то там должно жить невероятно скучно.

Нет ничего печальней театральной неоправданности. Одесса же, если верить первым впечатлениям, — самый театральный, самый нарочитый город России.

Город, где дома — сплошной амфитеатр кресел, улицы — красные дорожки между кресел, лиловые шары электричества — огни рампы, а пышные декорации заменяет море, обступившее город с трех сторон.

Но в этом прекрасно устроенном театре нет хороших актеров.

Душа этого декоративного города умирает. Приглядываясь, замечаешь, что в Одессе ничто не серьезно. Подует ветер, и пыльные декорации дрожат сверху донизу.

Много прекрасных широких улиц, но, в сущности, живет и дышит только одна улица:

Екатерининская.

В этой груди два легких:

- Робина!

- Фанкони!..

Ришельевская — улица конфетти. Дерибасовская — улица серпантин. Это сплошное корсо, причем Ришельевская веселится как-то благородней и сдержанней, а Дерибасовская веселится истеричней.

Хрипло дудят рожки цветных автомобилей, лоснятся золотистые бока лихих жеребцов, мечутся длинные трамвайные вагоны — карнавал, сплошной карнавал, но где-то за фасадами домов, грубо расцвеченных метлахскими плитками, слышится призрачный перезвон:

- Бом!.. бомм!.. бомм!..

Это пир во время одесской чумы... Зачумлена, запугана, забита в один дальний угол самая жизнь Одессы.

Этот угол — Екатерининская улица, где все реально, живо.

*Л. Пасынков, Лео — псевдонимы фельетониста 1910-х годов Лейбы Пинхусовича Грейшмана. Сотрудничал в газетах "Биржевые ведомости" и "Приазовский край". Приведенный набросок был напечатан 30 сент. 1913 года в "Одесском понедельнике" (газета выходила в августе-сентябре 1913, редактор — известный журналист П.М. Пильский).

Оба легких, Робина и Фанкони, попеременно вдыхают и выдыхают свежий воздух спекуляций.

Здесь еще видна старая Одесса.

Не знаю. Надо полагать, что здесь сидят и пьют пахучее мокко только робинзоны старой Одессы, выброшенные на чужой берег.

Они не знают Дерибасовской. Они не хотят знать Ришельевской.

Они знают только эти две кофейни, где в черных потоках кофе, как в темных волнах Леты, они топят воспоминания о прошлом.

Скучно. Скучно.

Торопят колокола времени:

Бом... боммм!..

А они сидят, тянут сквозь сморщенные старческие губы теплую гущу кофе и слушают.

Всегда мне казалось почему-то, что Одесса, по преимуществу, город, где преобладает тип русско-еврейский...

Но оказалось, что греки здесь чувствуются сильней.

Старые греки очень старых времен.

Такие экзотические лица я видел только в Таганроге, греческом городе, полном анекдотов о греческом золоте и греческом раздольном житье.

На них песочного цвета смешные макинтоши. Вокруг низеньких воротничков обмотан широчайший пестрый галстук, освещенный игрой бриллианта. Красно-синие блики камня играют и на пробритых подборках, опущенных мягкими седыми бакенами.

Это старая гвардия Одессы.

Чем они живут?.. Работают ли? Анекдоты рассказывают? Кормятся ли с ренты?

Во всяком случае, они не голодны.

Как важные ночные филины, сидят они, неподвижные, у мраморных столиков, свесив кисти рук за решетку ограды. Здесь целая выставка ювелирной лавки. Пухлые волосатые пальцы унизаны огромными камнями. Красные, сиреневые, опаловые, синие камни — на две витрины Баржанскому хватит...

В них видна порода. В них видна кровь, густая, как хороший греческий коньяк.

* * *

Бом... бомм...

Колокола времени звонят.

Вечный карнавал приморского города шумит полумиллионом голосов...

"Городок" — пятый угол

Стулья разбегаются, как тараканы!



Эту крылатую фразу Остапа Бендера я вспомнил на церемонии вручения премии "Мастер Гамбс", которая уже в четвертый раз состоялась в Одессе в дни Юморины. Ее обладателями стали писатели, поэты, артисты, режиссеры, композиторы, журналисты, представляющие различные регионы некогда единого сатирического и юмористического пространства.

Отрадно, что и в нынешнем високосном году вышеупомянутые — не тараканы, а стулья — устремились в нашу с вами сторону, где им привычнее.

К своему 70-летию Михаил Жванецкий пополнил свой гарнитур четвертым стульчиком. А вот у Олега Школьника — креслице-первенец.

Очередное мебельное прибавление и у обитателей "Городка". Юрий Стоянов и Илья Олейников получили еще две четвероногие бронзулетки. Закономерно, что вручили их лауреаты же этой премии Ирина Полторак и Владимир Трухнин.

Таким образом, у горожан уже пять почетных посадочных мест. И это — рекорд "Мастера Гамбса"! Достаточно произвести простейшее арифметическое действие, чтобы "узнать, досуг имея", что им осталось получить еще семь, и все "12 стульев" вернутся на историческую родину.

Поздравляем творческий коллектив "Городка", снимающий у нас угол на пересечении Дерибасовской и Ришельевской, и объявляем им об очередном повышении квартплаты. Как и прежде, берем самой стойкой валютой — смехом и, на худой конец, улыбками.

Успех гарантируем.

Феликс КОХРИХТ

Оба легких, Робина и Фанкони, попеременно вдыхают и выдыхают свежий воздух спекуляций.

Здесь еще видна старая Одесса.

Не знаю. Надо полагать, что здесь сидят и пьют пахучее мокко только робинзоны старой Одессы, выброшенные на чужой берег.

Они не знают Дерибасовской. Они не хотят знать Ришельевской.

Они знают только эти две кофейни, где в черных потоках кофе, как в темных волнах Леты, они топят воспоминания о прошлом.

Скучно. Скучно.

Торопят колокола времени:

Бом... боммм!..

А они сидят, тянут сквозь сморщенные старческие губы теплую гущу кофе и слушают.

Всегда мне казалось почему-то, что Одесса, по преимуществу, город, где преобладает тип русско-еврейский...

Но оказалось, что греки здесь чувствуются сильней.

Старые греки очень старых времен.

Такие экзотические лица я видел только в Таганроге, греческом городе, полном анекдотов о греческом золоте и греческом раздольном житье.

На них песочного цвета смешные макинтоши. Вокруг низеньких воротничков обмотан широчайший пестрый галстук, освещенный игрой бриллианта. Красно-синие блики камня играют и на пробритых подборках, опущенных мягкими седыми бакенами.

Это старая гвардия Одессы.

Чем они живут?.. Работают ли? Анекдоты рассказывают? Кормятся ли с ренты?

Во всяком случае, они не голодны.

Как важные ночные филины, сидят они, неподвижные, у мраморных столиков, свесив кисти рук за решетку ограды. Здесь целая выставка ювелирной лавки. Пухлые волосатые пальцы унизаны огромными камнями. Красные, сиреневые, опаловые, синие камни — на две витрины Баржанскому хватит...

В них видна порода. В них видна кровь, густая, как хороший греческий коньяк.

* * *

Бом... бомм...

Колокола времени звонят.

Вечный карнавал приморского города шумит полумиллионом голосов...

"Городок" — пятый угол

Стулья разбегаются, как тараканы!



Эту крылатую фразу Остапа Бендера я вспомнил на церемонии вручения премии "Мастер Гамбс", которая уже в четвертый раз состоялась в Одессе в дни Юморины. Ее обладателями стали писатели, поэты, артисты, режиссеры, композиторы, журналисты, представляющие различные регионы некогда единого сатирического и юмористического пространства.

Отрадно, что и в нынешнем високосном году вышеупомянутые — не тараканы, а стулья — устремились в нашу с вами сторону, где им привычнее.

К своему 70-летию Михаил Жванецкий пополнил свой гарнитур четвертым стульчиком. А вот у Олега Школьника — креслице-первенец.

Очередное мебельное прибавление и у обитателей "Городка". Юрий Стоянов и Илья Олейников получили еще две четвероногие бронзулетки. Закономерно, что вручили их лауреаты же этой премии Ирина Полторак и Владимир Трухнин.

Таким образом, у горожан уже пять почетных посадочных мест. И это — рекорд "Мастера Гамбса"! Достаточно произвести простейшее арифметическое действие, чтобы "узнать, досуг имея", что им осталось получить еще семь, и все "12 стульев" вернутся на историческую родину.

Поздравляем творческий коллектив "Городка", снимающий у нас угол на пересечении Дерибасовской и Ришельевской, и объявляем им об очередном повышении квартплаты. Как и прежде, берем самой стойкой валютой — смехом и, на худой конец, улыбками.

Успех гарантируем.

Феликс КОХРИХТ

**Песня Ю. Стоянова и И. Олейникова
на 70-летие М.М. Жванецкого
(на мелодию "Грузинской песни" Б. Окуджавы)**

Книжку Миши Жванецкого в теплую землю зароем,
Потому что разумное, доброе, вечное сеять хотим,
Автор вновь залетел — забеременел новым героем,
Потому что он всею страной постоянно любим.

Этот мальчик родился в Одессе еще в прошлом веке,
И как только написал — сказали: он будет писать,
И откуда, спросили потом, этот ум в человеке,
Но иначе зачем нашим мамам в Одессе рожать?

Это ж надо, в небесной чтоб так повезло лотерее,
Бог не фраер, он видит, кого и зачем отмечать,
Это счастье большое родиться — и сразу евреем,
Чем взрослей — тем больше евреем, поверьте нам, стать.

Мальчик вырос и тут же рукою схватился за ручку,
Сразу начал писать, плюс он не перестал говорить,
Для начальства и автор, и все его вечные штучки
Вскоре вылезут боком и раком, который по три.

Октябрятский значок уколол его, словно прививка,
Ну, а с галстуком наш пионер сам решил завязать.
В комсомоле узнал, что такое закуска-запивка,
И, простите за слово, как членские взносы сдавать.

А потом институт, и он стал рядовым инженером,
Слава богу, что так, что не просто он стал рядовым,
Он работал в порту, что воротами был Эсээра,
Но из этих ворот он не высунул и головы.

Улетел он на север — в те годы на север летели,
Голова и тогда не давала покоя ногам,

Хоть на севере, в общем-то, гнали пургу и метели,
Он уехал. Спасибо, хоть не отметили там.

Часто Райкин нас всех собирал на его угощенье,
До сих пор все мы в греческом зале селедку едим.
Повторяли мы все поголовно его выраженья,
И особенно те, что с баржи, постоянно твердим.

Ах, Жванецкий, вы самый известный в России читатель,
Вы читали рассказы, мы в зале смеялись навзрыд,
На магнитную ленту старались мы все записать их,
А иначе зачем на земле этой вечной магнит?

Говорим мы вам прямо в лицо юбилейное слово,
Это слово — "любовь", но мы сразу не просим ответ,
Темно-красное пить в черно-белом наряде готовы,
А иначе зачем на земле этой вечной банкет?

Помню, падаю я с 8-го этажа...

* * *

По лестнице дома поднимается человек с портфелем, смотрит в бумажку, разыскивая нужную квартиру, и звонит в дверь. Открывает хозяйин.

Ч. (смотрит в листок). Вы Мохов Борис Борисович? У вас есть сын Олег, студент 2-го курса...

Х. Нет его. Пошел экзамен сдавать, бездельник. (Хочет закрыть дверь.)

Ч. ... двадцати лет, волосы русые, на щеке большая родинка...

Х. Боже мой! (Хватается за сердце.) Что с ним?!

Ч. Сначала валидольчику! (Сует хозяину в рот таблетку.)

Х. Ради Бога! С ним что-то случилось?

Ч. В наше время все что угодно может случиться! И кирпич на голову, и под машину запросто... Вы раньше в морге бывали?

Х. Ой! Ой! (Обмякает и оседает на пол.) Господи, он жив?

Ч. Так вот меня специально к вам послали сказать, что ваш сын жив и здоров!

Х. Слава Богу! Спасибо вам! (Жмет ему руку.) А кто вас прислал?

Ч. Сынок ваш и прислал. Он получил двойку на экзамене и просил вас подготовить. Вот. (Протягивает визитку.) Фирма "Репетитор". Подготовка к экзаменам.

* * *

По лестнице поднимается мужчина с чемоданом (1-й). Он подходит к двери, достает ключи и вдруг замечает, что на лестничной клетке кимарит другой мужик в простыне (2-й).

1-й. Эй, ты что здесь делаешь?

2-й. А меня жена выгнала.

1-й. Ну так и чего ты здесь сидишь? Иди, попроси получше, и жена тебя наверняка назад пустит.

2-й. Нет, теперь уже наверняка не пустит. (*Зевает, встает, немного спускается по лестнице вниз.*) Меня же ТВОЯ жена выгнала...

* * *

В коридоре квартиры дедуля. Он слышит, как кто-то скребется в дверь. Выглядывает в глазок — никого. Открывает дверь и пугается. У порога лежит мужчина бомжееватого вида.

Д. Ой! Вы что здесь делаете? Идите к себе домой и лежите там под дверью! Разлежся здесь!

М. Извините, дедушка, я только спросить. Это вам вчера котеночка под дверь подбросили?

Ж. Ну...

М. А что вы с ним сделали?

Д. А что тут будешь делать! Накормил, напоил. Вон, мерзавец, спит сейчас на кухне...

М. (*жалобно*). Мяу... (*На четвереньках заползает в квартиру.*)

А скажите, доктор...

* * *

Больной в кабинете врача.

Б. Доктор, вы меня помните?

В. Так, так... А-а, помнится, вы страдали вредной привычкой — постоянно грызли ручку. Ну и что, после нашего сеанса психотерапии, какой у вас прогресс?

Б. Прогресс у меня, доктор, технический. Теперь я грызу антенну мобильного телефона.

В. М-да... Тогда попробуем простое народное средство — просто намажем ее горчицей. Дайте-ка телефон. (*Мажет антенну горчицей.*)

Б. Вот спасибо! Как же я сам не догадался! (*Уходит, но у дверей сует антенну в рот и плюется, затем возвращается.*) Доктор, извините, а можно я ее буду мазать не горчицей, а майонезом? Я майонез больше люблю...

* * *

Больной на приеме у отоларинголога.

О. (*смотрит в уши*). М-да, м-да... Так, теперь рот откройте, скажите "а-а"... М-да... Не знаю, не знаю... (*Задумывается.*)

Б. Профессор, вы для меня истина в последней инстанции. У скольких уже врачей я был — одни находят у меня геморрой, другие не находят.

О. Видите ли, молодой человек, медицинская наука — штука сложная. Есть у вас геморрой или нет — это смотря с какой стороны посмотреть... Ну-ка, давайте-ка еще разок "а-а". (*Заглядывает в рот.*)

Сказка ложь, да в ней намек

Князь вызвал Илью Муромца.

К. Значит так, Илюша. Задание у меня к тебе. Нужно спасти землю Русскую! А как ее спасти сам не знаю...

И. Ты только слово молви, князь! Чью тебе голову добыть? Соловья-Разбойника я тебе голову принес. Кошечку Бессмертного принес. Змея Горыныча целых три головы принес...

К. Да погоди ты. Знаю, что ты у нас лучший охотник за головами, потому тебя и прошу. Только мне сейчас другая голова нужна... Мы уже столько лет ищем — и все без толку.

И. За Отечество, князь, любую голову срублю!

К. Да любую мне не надо! И рубить не надо! Мне В ПРАВИТЕЛЬСТВО голова нужна, понимаешь? Просто голова! Хотя бы одна...

Жизнь полна неожиданностей

К дверям небольшого магазина подходит мужчина и открывает дверь ключом. На двери табличка "Магазину срочно требуется охранник". Подходит верзила.

В. Что, охранник нужен?

М. Да.

В. А ты кто?

М. Не ты, а вы. Откуда только такое хамство берется? Я — директор.

В. Понял. Ну, давай, поговорим. Я охранник.

М. Только не давай, а давайте. Заходите.

Входят в магазин. Через пару секунд верзила выходит с мешком. Задерживается в дверях и дописывает на табличке: "Магазину срочно требуется охранник и директор".

ПУТЕШЕСТВИЯ

Феликс КОХРИХТ
Хождение за три моря 307

Татьяна СОКУР
Тропики, февраль, Виргини 313

Феликс КОХРИХТ

Хождение за три моря

Удивительным образом случилось так, что балкон нашего гостиничного номера в Шарм-эль-Шейхе выходил строго на восток — так же, как и в одесской квартире. Солнце поднималось из морских глубин практически в одно и то же время — между шестью и семью часами. Разница заключалась в следующем. Дома в хорошую погоду я вижу из окна Лузановку, здесь же открывался великолепный вид на остров Тиран, за которым — уже Саудовская Аравия. И еще — вода в Красном море зимой градусов на 20 теплее, чем в Черном, и гораздо солонее.

Мы жили на южной оконечности Синайского полуострова, там, где узкий Акабский залив окаймляет Библейские места. Достаточно сказать, что в нескольких часах езды по пустыне на джипе находились горы, на вершине одной из них Моисей получил от Бога Десять заповедей, по которым пытается жить современный мир, но что-то у нас плохо получается...

Здесь мы испытали дотоле неведомые чувства. И сокровенные (от встреч со Святынями), о которых не принято распространяться. И те, которыми так и подмывает поделиться.

В весьма зрелом возрасте на свой страх и риск натянули на лица маски-трубки и сиганули с кораллового рифа в прозрачную и бездонную глыбь... Первая же рыбка в ярком карнавальном костюмчике показалась нам персонажем из голливудского супермультфильма "В поисках Немо", недавно завоевавшего Оскара. Но потом мы привыкли и запросто беседовали с ней и ее соплеменниками...

Подружились с бедуинами, расположившими на самом морском берегу свой Странноприимный дом, где встречают гостей чаем, заваренным на травах и цветах пустыни, и кальяном, который, вероятно, покуривал еще храбрый и предприимчивый русский купец Афанасий Никитин, — хочется верить, что на обратном пути из Индии и Персии он заглянул и в эти края... В его время, в XV веке, подобное путешествие длилось годы, а могло занять и всю жизнь. Сегодня полет на "боинге" из Одессы в Шарм-эль-Шейх занимает всего четыре часа и пролегает над тремя морями — Черным, Средиземным и Красным. И что самое удивительное — после приземления не надо переводить стрелки часов. И Солнце встает в то же самое время, что и дома.

Об этом сложились стихотворные строчки-странички из дневника.

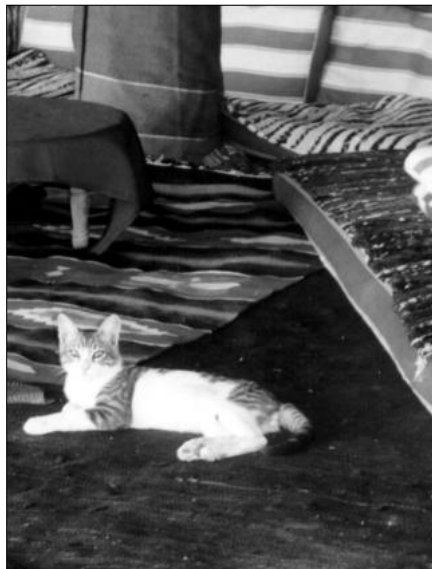
Количество рыб на коралловых рифах
 Доходит почти до миллионного,
 Как будто выплеснули сюда невзначай
 Все аквариумы Староконного,
 Как будто взбесившийся Дульфан —
 Лет семнадцати от роду —
 Все краски свои внезапно смешал —
 И опрокинул в синайскую воду!
 Рыбы-клоуны, циркачи,
 Ряженные и карнавные...
 Но мне куда милее те,
 Что были придуманы нашим Валиком...
 Полные сплина кайфуют бычки,
 И, словно кариатидки,
 С чарующей грацией смотрят с холстов
 Изысканные ставридки...
 И, пробираясь сквозь коралловый рай,
 Сквозь его колючие кущи,
 Я вспоминаю Одессу, Фонтан, Ланжерон
 И рыбку по имени Хрущик.

* * *

А из нашего окна
 Моря Красного видна
 Немалая околица...
 Хочется, но колется.
 Саудовской Аравии
 Голимая орава:
 Если к Солнцу стать лицом,
 То получается справа...
 Корабли плывут исправно
 Мимо Острова Тирана —
 В царство славного Салтана...

* * *

Пугливая тень —
 За отельный плетень
 Метнулась пугливая кошка...
 На русский: "Кис-кис!",
 На немецкий: "Miz-miz!"



Не отзывается...
 Может быть, понарошку?
 Нет!
 Конечно же, это — всерьез!
 Тысячелетняя жестокой обиды:
 Священная Баст — Богиня Любви —
 Арабская нищенка — ныне...
 Почтения нет и в помине.
 Но взвешен, отмерен египетский грех!
 Настигнет, настигнет возмездие всех —
 И равнодушный толстый швейцар,
 И злые отельные дети
 Перед Амоном, Гором и Ра
 За Кошку, за Баст ответят!

* * *

В тени Обелиска
 Устало пляшет одалиска...
 Танец плоского живота,
 Изобилие хребта...
 Стоит это тридцать фунтов.
 Скучота и маята...

* * *

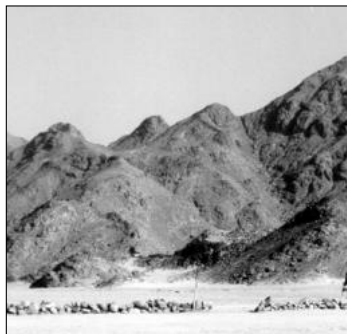
Тонкие пальцы скользят по щеке —
 И боль утихает, что скворчком в виске
 Стучала с времен Окуджавы...
 Лекарь на пляже — нубийский принц,
 Правитель древней, ушедшей державы.
 Предки его — Рамзес Второй и сама Нефертити...
 — Сколько он просит за свой визит?
 — А столько, сколько дадите...
 С ним — мешок бедуинских трав:
 Есть для души и для тела.
 — Рецепты?
 — Священные тайны жрецов
 Храмов, застывших среди песков, —
 Пекла Абу-Симбела...
 Он — психиатр и костоправ,
 Старых богов собеседник,



А по-нашему: просто волшебник...
Арабы кличут его: "Эй, Хамид!",
А он улыбается и молчит:
К чему имен перемена?...
Прощаясь, выводит прутком на песке
Нубийское: "EKEI NENA".

* * *

Подумать только:
На этой Земле,
За этим незримым порогом,
Как с вами — я, как со мною — вы,
Моисей беседовал с Богом!
Стояла такая же жара,
И ангелы так же — кругами — летали!
Они попрощались, и Господь сказал:
"Так не забудь про Скрижали!".
...Моисей их внимательно перечитал,
Запомнил все — Десять, плечами пожал:
— Насколько я знаю своих ребят,
Вопросов особых не будет...
Убийство, кража, гордыня, ложь...
Поймут и посылно исполнят люди...
Но вот — на жен чужих не смотреть,
Не щупать, не мять, и не вождедельть...
Проблемы, предвижу, возникнут большие.
Кто с нимбом родился, тому легко,
А мы мужики простые...
...Как в воду глядел Праотец наш Моисей —
Правдивый и мудрый старый Еврей!
Эпохи прошли на Синайской земле,
Века в айн момент пролетели...
Где с Богом у наших беседа была,
Арабы все строят и строят отели...
Здесь жены чужие гуляют одни,
Исполнены очарования,
И редко какой мужик устоит
Пред чарами внучек коварной Лилит
От грешного прелюбодеянья...



* * *

В бухте Shark's Bay
Вас ждет Бедуинский Дом!
Хижина под пальмовой крышей,
Ветер пустыни ветви колышет,
Омар вам искусно раскурит кальян —
Его белозубой улыбке
И плутоватым глазам
Не только несколько фунтов —
Все наши гривны отдам!
Затем он приносит кофе,
Сваренный по-бедуински,
Душистее всяких парфумов,
Крепче всякого виски!
В прозрачной воде бухты ведут хоровод барракуды,
Задумчиво щиплют травку друзья Омара — верблюды...
Взлетает свечой лайнер с близкого аэродрома...
Закончен отпуск.
Дай Боже!
И завтра мы будем дома.



* * *

Хождение за Три Моря...
Мифические просторы...
Тысячелетий смена
В окаймлении Ойкумены...
Понт Эвксинский — Mittelmeer* — Полусухое Красное:
Для Аладдина, Ясона, Никитина —
Маршрут пленительный и опасный...
Мы же цвета меняем легко,
Словно Стендаля читаем...
Красное — Черное: за три часа!
Среднего моря и не замечаем!
Заняты водкой, кофе и чаем...

*Нем. — Средиземное море

Дело в том, что, как раз в это час,
Увы, не нимфы, а стюардессы
С натугой тянут через салон
Тележку с харчами и прессой...
Три мужика в спортивных штанцах
И при часах почти без изъяна
Глушат коньяк и спорят о том,
Пропустит ли в Киеве таможня кальяны...
Хождение за три моря...
Натужно режут моторы.



Фото автора

Тропики, февраль, Виргинины

... "Terra!" — закричал вахтенный "Марии Таланте", заметив на рассвете темный кусочек приближающейся суши.



Колумб, виртуозно пройдя через Малоантильский лабиринт, где и сейчас проводка судов весьма сложна, вступил в воды небольшого архипелага, состоящего из множества островков, утопающих в буйной тропической зелени.

За красоту и девственность природы адмирал назвал эти острова "Одиннадцать тысяч дев", в современном, урезанном варианте — Девичьи или Виргинские.

История их — это длинный ряд завоеваний: англичане, французы, испанцы, датчане и даже Мальтийский орден побывали здесь в роли хозяев. И так продолжалось до тех пор, пока американцы не обратили свой взор на благословенные острова и не выкупили их у Дании за 25 миллионов долларов, примерно по 300 долл. за акр. Они построили здесь крупную военно-промышленную базу и создали индустрию туризма, что и послужило основой развития и процветания островов.

"Если вы любите жаркое солнце, приключенческие романы и вам наплевать на акклиматизацию, оставьте в покое Сирию и Грецию, отправляйтесь на Виргинские острова, — посоветовали нам друзья. — Во-первых, там 100% тепло, во-вторых — можно каждый день менять остров, их там более 90. В-третьих, если повезет, вы сможете откопать какой-нибудь сундук с сокровищами, ведь это были излюбленные места испанских конкистадоров".

Следуя их совету, мы достали карту Антильских островов и увидели подковообразную цепь островков, едва различимых на карте, что, конечно, настораживало, однако проглядывались и положительные стороны: близость экватора, жажда наживы и принадлежность островов Америке (значит, будут приличные отели и хорошие дороги).

Вооружившись лопатами, мы отправились в путь.

40 дней понадобилось Колумбу, чтобы добраться от Кадиса до острова Сент-Томас. Современный реактивный самолет тратит на путешествие по всему миру всего несколько часов. И хотя временные отрезки несопо-

Дело в том, что, как раз в это час,
Увы, не нимфы, а стюардессы
С натугой тянут через салон
Тележку с харчами и прессой...
Три мужика в спортивных штанцах
И при часах почти без изъяна
Глушат коньяк и спорят о том,
Пропустит ли в Киеве таможня кальяны...
Хождение за три моря...
Натужно режут моторы.



Фото автора

Тропики, февраль, Виргинины

... "Terra!" — закричал вахтенный "Марии Таланте", заметив на рассвете темный кусочек приближающейся суши.



Колумб, виртуозно пройдя через Малоантильский лабиринт, где и сейчас проводка судов весьма сложна, вступил в воды небольшого архипелага, состоящего из множества островков, утопающих в буйной тропической зелени.

За красоту и девственность природы адмирал назвал эти острова "Одиннадцать тысяч дев", в современном, урезанном варианте — Девичьи или Виргинские.

История их — это длинный ряд завоеваний: англичане, французы, испанцы, датчане и даже Мальтийский орден побывали здесь в роли хозяев. И так продолжалось до тех пор, пока американцы не обратили свой взор на благословенные острова и не выкупили их у Дании за 25 миллионов долларов, примерно по 300 долл. за акр. Они построили здесь крупную военно-промышленную базу и создали индустрию туризма, что и послужило основой развития и процветания островов.

"Если вы любите жаркое солнце, приключенческие романы и вам наплевать на акклиматизацию, оставьте в покое Сирию и Грецию, отправляйтесь на Виргинские острова, — посоветовали нам друзья. — Во-первых, там 100% тепло, во-вторых — можно каждый день менять остров, их там более 90. В-третьих, если повезет, вы сможете откопать какой-нибудь сундук с сокровищами, ведь это были излюбленные места испанских конкистадоров".

Следуя их совету, мы достали карту Антильских островов и увидели подковообразную цепь островков, едва различимых на карте, что, конечно, настораживало, однако проглядывались и положительные стороны: близость экватора, жажда наживы и принадлежность островов Америке (значит, будут приличные отели и хорошие дороги).

Вооружившись лопатами, мы отправились в путь.

40 дней понадобилось Колумбу, чтобы добраться от Кадиса до острова Сент-Томас. Современный реактивный самолет тратит на путешествие по всему миру всего несколько часов. И хотя временные отрезки несопо-

ставимы, меня всегда охватывает нетерпеливое и радостное чувство первооткрывателя при виде приближающейся земли.

Летим уже больше 2 часов. Где-то за бортом осталась промозглая, погруженная в вирусные инфекции гриппа Европа. Под крылом самолета Атлантика окрашена в изумрудно-синий цвет, в котором купается россыпь причудливо изрезанных островов, окаймленных песчаными пляжами. Море переливает краски в лазурное небо, и во всем этом великолепии плавает сияющий диск солнца.

Один из крошечных островков стремительно приближается, и вот уже шасси самолета весело катят по бетонной дорожке аэропорта Шарлотта-Амалия острова Сент-Томас.

Дорога петляет по крутым холмам, на каждом повороте открывая живописные картины: отели, утопающие в тропической зелени, бухту с цепочкой пассажирских океанских лайнеров, россыпь зеленых островков на горизонте.

Вещи брошены, ноги сами несутся на пляж. 27-градусная вода ласково принимает синюшные тела, и вот уже "как хорошо на свете жить" несетя над лохматыми пальмами и ласковыми волнами. Всю эту какофонию невозмутимо слушает цапля, прикрыв глаза и поджав одну ногу, мол, я и не такое слышала. Кстати, эта цапля так и простояла на одной ноге все 10 дней нашего пребывания на острове. Мы здоровались с ней по утрам и прощались по вечерам, не надеясь на ответ, скорее, воспринимая птицу как символ отеля.



Основная напрягающая составляющая для нас была в нелегком выборе между пляжем, бассейном, джакузи и расположенной неподалеку верандой, где стояли разнообразные тропические яства. Карибская кухня весьма вкусна и оригинальна, с уклоном в морскую тематику. Приведу не самые замысловатые закуски — огурцы и крабы в банановом соусе, ананасово-лаймовый пирог, холодная папайя и анисовый суп и т. д. Немудрено, что мы частенько вылазили на берег, привлеченные неизвестными ароматами.

За всей этой "индустрией туризма" приглядывают местные жители — темнокожие потомки Африканского континента.

Аборигены весьма колоритны и привлекательны, они обстоятельны

и неторопливы. В помине нет вышколено-учтливового европейского или улыбочиво-подобострастного азиатского сервиса. Островитяне полны величавого достоинства и гордой независимости. Герлы поражают своими пестрыми одеждами и весьма аппетитными формами. Впрочем, бои не отстают от них в нарядах и манерах. Видимо, африканские гены и 350 солнечных дней в году делают свое дело.



На их фоне туристы смахивают на бедных родственников, приехавших погостить без предупреждения.

...Во время своего плаванья по островам Антильской группы, Колумб назвал аборигенов канибалами и заклеил на весь мир, объявив их людоедами за малосимпатичную привычку поедать себе подобных. А между

тем у карибских индейцев, как и у многих других народов с примитивным укладом жизни, людоедство было данью ритуальным обычаям. Питались же они вегетарианской пищей. Помните, у Высоцкого:

"Но есть, однако же, еще предположение,
что Кука съели из большого уваженья, —
что всех науськивал колдун-хитрец и злюка:
"Ату, ребята, хватайте Кука!
Кто уплетет его без соли и без лука,
Тот сильным, смелым, добрым будет — вроде Кука!"

Последующие завоеватели, ободренные характеристикой великого генуэзца, объявили охоту на "подлых людоедов" и, увлекшись столь милосердным промыслом, не заметили, как истребили всех поголовно. Затем почесали репу — кто же будет работать на плантациях сахарного тростника? — и принялись завозить негров-рабов с Африканского континента, а так как сельское хозяйство не имело успеха из-за малого плодородия земель, то острова превратились в центр торговли ромом, сахаром и рабами. Здесь же обрели свой дом "славные" конкистадоры — Кортес, Писарро и другие. Здесь в чистейший белоснежный песок закапывали они свои сокровища...

Пиратов мы, к сожалению, не встретили и сокровища не откопали, зато открыли для себя райский уголок.

Чем можно заниматься на острове при температуре воздуха +25 и воды +26? Правильно, плавать и еще раз плавать. В крайнем случае, поехать на океанскую рыбалку — для меня это был совершенно новый вид рыбо-

ИЗДАНО В...

ловной охоты, столь отличный от привычного образа неподвижно сидящего рыболова с удочкой в руках на фоне восходящего солнца.

Особенность нашей рыбалки заключалась в бешеном движении яхты с одновременно спущенными под воду шестью лесками с наживкой. Причем, на приманку шла рыба, по размерам сопоставимая с желанным уловом любого нашего рыболова. Естественно, на такую приманку тут же откликнулась метровая барракуда, которую после продолжительной борьбы (наглядно описанной в повести "Старик и море" Хемингуэем) вытащили на борт, чтобы сфотографироваться и... выбросить в море. Как объяснил капитан, эта рыба не годится для еды. Не знаю о гастрономических особенностях этих хищниц, но помню из прочитанного, что барракуды в компании с акулами могут нападать на людей.

Красавица яхта, бешеная скорость, брызги, капитан, одетый во все белое... "Эх, птица счастья, выбери меня..."



На втором месте по выбросу адреналина было подводное плавание с трубкой и маской в коралловых лагунах, как говорят американцы — сноркание, от английского слова *snorkel* (трубка ныряльщика).

Вода была настолько чистая, что можно было разглядеть мельчайшие предметы, лежащие на дне, не говоря о диковинных рыбах всех форм и расцветок, среди которых было просто не протолкнуться.

..."Лучше гор могут быть только горы..." Я бы добавила — и подводное плавание.

А еще мы валялись на чистейшем песочке, плясали самбу под местные тамтамы, фотографировались с игуанами.

Я вернулась в Одессу загоревшей и посвежевшей. Реакция друзей была восторженной, полной комплиментов, но звездный час наступил, когда меня спросили: "Где вы нашли такой прекрасный солярий?".

Феликс КОХРИХТ
Список Жванецкого 318

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Семь цветов радуги 320

Феликс КОХРИХТ
Антипод. Но в хорошем смысле слова 324

Р.А. КУЛИНА
Поверяя гармонию алгеброй 326

Список Жванецкого



В нем 20 фамилий, разумеется, есть и имена, причем в ряде случаев — в уменьшительном варианте, что свойственно одесситам. У нас и до седых волос Григорий, а то и Гарольд, ходят в Гариках (бывает, и через два "р").

Начинается список с Аврутина Зиновия. Странно, что составитель не называет его Зориком, а ведь именно так кличут нашего доброго приятеля с далеких студенческих — "парнаасских" — лет и по сегодняшний — "штатовский" — день... А вот Щуровецкий Беша — знаменитый одесский спортивный деятель — запомнился мне все же чуть ли не Бернардом...

Объединяет их фраза Жванецкого: "Они все уехали".

Примерно с половиной адресатов знаком и я. По знаменательному совпадению именно в этом номере альманаха публикуются мои заметки о книге Буркуна Ильи (четвертый в списке), озаглавленной "Мельбурнские встречи", в которой есть и интервью, взятые им у Жванецкого.

Признаюсь, тут же воспользовался номером одесского телефона Ильи — и его содержит Список Жванецкого. Набираю 44-61-64, прошу позвать Буркуна и слышу в ответ: "Он здесь давно не живет..."

"14-я станция Фонтана оказалось в Австралии", — это из вступления, написанного Михал Михалычем к своему сборнику "Одесские дачи", недавно увидевшему свет в издательстве "Друк".

Так и подмывает назвать эту изящную книжницу подарочным изданием. Собственно говоря, это и впрямь — ПОДАРОК!

И автору — к 70-летию. И нам — его землякам. Трудно поверить,

но это — первый сборник произведений классика, изданный в городе, где он родился — в Одессе. Тем большую благодарность заслужили редактор сборника Евгений Голубовский, Анна Голубовская (дизайн), Митя Кобринский (технический редактор), спонсор издания — ООО "Айсблик". Достойным соавтором певца одесских дач стал фотохудожник Иван Череватенко.

По жанру — это монолог длиною в дачный сезон. А их было много в нашей одесской жизни — не зависимо от того, по какую сторону дачного забора ты находился...

Чего же пожелать нам всем?

"Чтоб погода была, как на душе, чтоб на душе, как этот вечер... И пусть мы все живем... А он все это опишет".

Нужно ли уточнять, кто это написал, и что он — это Миша.

Феликс КОХРИХТ



Семь цветов радуги

Семь книг лежат передо мной на столе. Проза и стихи, искусствоведение и словарь, эссеистика. Каждая из них интересна сама по себе, все вместе они показывают, как широк диапазон наших писателей и исследователей.



Валентина УЛЬЯШ
"Библиейские напевы"
на стихи Сергея Полищука
ООО "Удача", Одесса, 2003

Давая высокую оценку музыке Валентины Ульяш, народная артистка Украины, академик Галина Поливанова пишет: "Отметим главное достоинство сборника — мелодию, ведь известно, что музыка становится искусством прежде всего благодаря мелодии".

Представлять читателю Сергея Полищука, поэта, прозаика, которому в этом году исполнилось бы 75 лет (он умер 10 лет назад), и вовсе нет нужды. Его книга стихов "Библиейские мотивы", написанная по мотивам псалмов Давида и притчей Соломона, покорила читателей, сразу же разошлась в книжных магазинах.

И теперь новая жизнь. Стихи обрели мелодию. И смогут стать напевами, которые войдут в нашу жизнь, в нашу культуру.

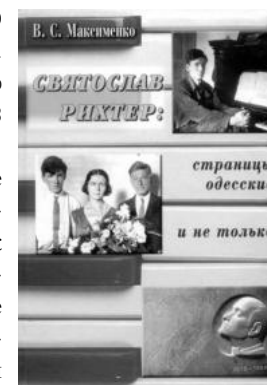


Галя МАРКЕЛОВА
Приглашение к танцу
Издательское содружество
А. Богатых и Э.Р. Акитской
М., 2003

Хоть на обложке книги написано слово — Москва, не верь глазам своим. Эта книга объединила три лирических сборника, вышедших в Одессе, в издательстве "Инга" — "Прощание с Овидием", "За обладание звуком", "Ave Utamaro".

В шестидесятые годы в списках по Одессе ходили ее стихи. Но ей не удалось издать тогда ни строчки, не удалось это и в первые годы Перестройки — уже по финансовой невозможности. И лишь в начале третьего тысячелетия Геннадий Групп, Игорь Павлов буквально заставили Галину Маркелову собрать, сложить старые стихи. И оказалось, что слово — старые — здесь неуместно. Время не повлияло губительно на их лирический заряд, они остались философскими и молодыми, а главное — нужными современному читателю.

Валентин МАКСИМЕНКО
Святослав Рихтер.
Одесские страницы и не только
"Астропринт", 2003



О жизни Святослава Рихтера вообще и в Одессе в частности уже писали, и среди авторов — знаток и ценитель музыки, математик и исследователь Валентин Семенович Максименко. Но становятся известными все новые и новые фотографии (например, из архива семьи Т. Вербицкой и Ф. Кохрихта), находятся люди, знавшие музыкальную Одессу изнутри, и все это спешит обобщить и сохранить В. Максименко, чтобы показать и великого пианиста, и город как равноправных героев повествования.

Меньше всего волнует автора проблема: кто прав в том или ином житейском поступке. Он не судья, а хронист, и в этом огромная ценность его книги.



М.И. МАНДЕС
Теория искусства
"Optimum", 2003

Это переиздание. "На правах рукописи" в Одессе в 1928 году вышел конспект лекций, читавшихся в Одесском политехникуме изобразительных искусств профессором М.И. Мандесом. Десятки лет добивался этого переиздания С. Шевелев, убежденный, что только теория искусства, которую в Одессе пропагандировал академик Н.П. Кондаков, может помочь художнику овладеть профессией, искусствоведа — понять замысел мастера. И намерения С.С. Шевелева наконец осуществились — именно в Одессе, увы, пока тиражом в 100 экземпляров, раритетный труд М. Мандеса, который приходилось переписывать от руки, — вышел в свет.

Вера ФАБИАНСКАЯ
Из небытия.
Очерки о репрессиях 20-50-х годов
"Друк", 2003

Это книга художественно-документальных очерков. Часть из них печаталась в нашем альманахе, и поэтому читатель с ними знаком. Все вместе они входят в серию научно-документальных книг "Реабилитированные историей". Хочется подчеркнуть, что бережно, взволнованно относится Вера Александровна к каждому документу, и в результате создает эмоциональные очерки, которые открывают глаза тем, кто еще не понял, что такое фашизм в красной упаковке.



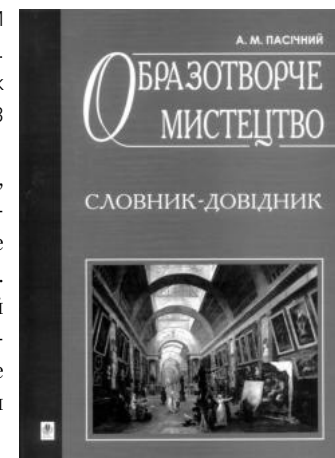
Игорь ПОТОЦКИЙ
Три улицы
"Друк", 2004

Успех повести Игоря Потоцкого "Улица Розье", к тому же блестяще иллюстрированной художником Николаем Дронниковым, живущим во Франции, заставил автора вернуться к своим прозаическим наброскам и завершить еще две повести — "Улица Подольская" и "Улица Хворостина". Расширилась география жизни героев, расширился временной охват. Но это не помешало лирической прозе оставаться лирической прозой, волнующей читателей. В новой книге к иллюстрациям

Н. Дронникова добавлены рисунки Н. Прокопенко.

А.М. ПАСІЧНИЙ
Образотворче мистецтво.
Словник-довідник
Тернопіль, 2003

Жаль, что книга, написанная в Одессе, проверенная на одесских учениках, издана не в нашем городе, а в Тернополе. И все же это не уменьшает ее достоинств. Создан на украинском языке толковый словарь, которого до сих пор не знала Украина. Думается, он будет полезен не только украинским художникам, но всем ценителям прекрасного.



Антипод. Но в хорошем смысле этого слова



Два года назад Илья Буркун, ныне живущий и работающий в Австралии, а в недавнем прошлом — неприменный участник многих интересных и веселых одесских дел — предложил мне написать предисловие к сборнику его журналистских работ, который готовился к печати на Зеленом континенте.

Кроме прочих достоинств, Илья еще и автор нашего альманаха, и я с удовольствием принял его предложение, а в начале нынешнего года получил от него объемистый том (550 стр.!) и убедился, что был прав, озаглавив свои заметки (привожу их с сокращениями):

КТО ПОД НАМИ ВВЕРХ НОГАМИ?

"Разумеется, антиподы, с точки зрения одессита — жители Австралии. И те, чьи предки когда-то съели капитана Кука, и те, кто освоил этот гигантский континент, населенный кенгуру и ехиднами (разумеется, в хорошем смысле этого слова), а с недавнего времени и наши земляки.

Жванецкий справедливо заметил: "Одесситов бывших не бывает". В полной мере это относится к Буркуну, которому Михал Михалыч неоднократно давал обширные интервью. Следует особо отметить, что он в этом смысле очень избирателен, и Илья сразу же набирает кучу очков как человек и профессионал. Впрочем, и другие его собеседники — не просто компанейские люди, но и известные деятели культуры, искусства, литературы и иных почтенных видов интеллектуального труда и отдыха. Буркун знакомит с ними читателей газеты "Горизонт", где ведет постоянную рубрику "Мельбурнские встречи"..."

Так же озаглавлен и сборник, содержащий десятки бесед, иные из которых могли бы стать основой сценария занимательного сери-

ала. Вот лишь одна судьба, особо интересная еще и тем, что началась в Одессе.

В 1918 году французский лейтенант, уроженец Нормандии с английской фамилией Колинз, и его супруга в составе экспедиционного корпуса (Антанта) оказались в нашем городе, где в доме № 10 по ул. Пушкинской был зачат мальчик Жан, который увидел свет на палубе миноносца союзников, отчалившего от одесского берега в 1919-м. Об этом он сам — ныне 80-летний Джон Колинз — рассказал Илье Буркуну в Австралии, где живет уже много лет и слывет уникальным мастером перевода. Знает 18 языков, в том числе и пигмейский. Впрочем, полиглот называет себя не Джоном, не Жаном, а Иваном Александровичем, и на память цитирует главы из "Евгения Онегина", считая его автором земляком-одесситом с Пушкинской. Воевал с фашистами в Испании и на фронтах Второй мировой, награжден многими орденами...

Теперь, проходя мимо дома № 10 на Пушкинской, я вспоминаю и о Жане-Джоне-Ване, по праву полагающему себя старым одесситом.

Феликс КОХРИХТ



Поверяя гармонию алгеброй



Известно, что музыка — источник наслаждения, и что она воздействует на наши эмоции и пробуждает в нас самые различные чувства и мысли. Но далеко не все знают, что за столетия существования профессиональной музыки было не только создано бесчисленное количество самого разного рода музыкальных произведений, но и сформировалась специальная наука — "теория музыки", изучающая законы сочинения, исполнения и воздействия их на слушателя. Для музыканта-теоретика созданное гениальным композитором произведение имеет столь интересную и изобретательную форму, что само ее

созерцание и изучение уже доставляет ему эстетическое удовольствие и представляется ему не менее увлекательным и познавательным, чем "живое" звучание.

Как и любая другая наука, теория музыки имеет свои вершины, своих корифеев и различные национальные школы. Но если язык самой музыки интернационален и доступен каждому, желающему ею насладиться, то теоретические исследования при "пересечении государственных границ", безусловно, требуют соответственного перевода. Перевод этот является всегда сложным из-за обилия терминологических несоответствий языков и требует от переводчика не только глубоких лингвистических знаний, но и высокого музыкально-теоретического уровня. Сложности процесса перевода обеспечивает "естественный отбор" в области переводимого — как правило, это труды наиболее оригинальные в своей области и высоко оцененные в музыкально-теоретических кругах.

Нам доставляет большую радость сообщить, что в 2004 г. в Берлинском издательстве Эрнста Куна напечатан перевод книги профессора Одесской государственной музыкальной академии им. А.В. Неждановой, доктора искусствоведения Александра Ровенко "Практические основы стреттно-имитационной полифонии". Автор — известный музыковед, педагог и композитор. Ему принадлежат более 60 научных трудов, посвященных методологии теоретического музыковедения, теории многоголосного контрапункта, имитационной полифонии, компьютерной музыке и программированию ее элементов. А.И. Ровенко неоднократно успешно выступал с лекциями не только во многих консерваториях стран СНГ, но и в Германии, Финляндии и Китае, его произведения исполнялись на концертах и фестивалях современной музыки в Одессе и за рубежом.

В настоящее время проживает и работает в Германии. Профессионально-дружеские отношения связывают А.И. Ровенко с коллегами из Высшей музыкальной школы Фрайбурга (Германия), с которым у Одесской музыкальной академии существуют многолетние партнерские отношения. Профессор Фрайбургской Высшей музыкальной школы, известный музыковед и композитор Отфрид Бюзинг во время своего визита в Одессу в 2000 г. ознакомился с работами А.И. Ровенко и пришел к твердому убеждению, что, несмотря на все сложности, их надо издать в Германии. Его коллега из Берлинской академии музыки проф. Андреас Вермайер сделал перевод книги на немецкий язык, и они вместе осуществили всю остальную необходимую подготовку к ее печатанию и изданию.

Книга Александра Ровенко поступила во все ведущие библиотеки Германии. С ее библиографическими данными можно дополнительно ознакомиться в Интернете <http://dnb.ddb.de>.

Р.А. КУЛИНА

Содержание

От редакции	3
<u>ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ</u>	
К 210-Й ГОДОВЩИНЕ ОСНОВАНИЯ ОДЕССЫ Александр ТРЕТЬЯК	6
<u>Генерал Ланжерон</u>	6
Михаил БИНОВ	
<u>Древний хищник морей и граф Витте</u>	12
Анна ПОЛТОРАЦКАЯ	
<u>"Меня не покидало щемящее чувство тоски по Родине"</u>	15
Николай ПОЛТОРАЦКИЙ	
<u>"Ловец людей, их спутник и учитель"</u>	17
К 60-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОДЕССЫ Ефим НИЛЬВА	26
<u>Незабываемое</u>	26
Владимир КАТКЕВИЧ	
<u>Качество жизни и качество грязи</u>	44
Олег ГУБАРЬ	
<u>Улица Жуковского (Почтовая)</u>	52
<u>ПРОЗА</u>	
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ	
<u>"Завтра меня здесь не будет"</u>	61
Сергей ЧЕТВЕРТКОВ	
<u>Идущий против ветра</u>	70
Олег ГУБАРЬ	
<u>Модель беспорядка</u>	81

Александр ГРИНБЛАТТ	86
<u>Матильда</u>	86
Наталья СИМИСИНОВА	
<u>В лодке</u>	97
Татьяна ОРБАТОВА	
<u>Пациенты планеты Земля</u>	102
МОСКВА—ОДЕССА Ольга ИЛЬНИЦКАЯ	105
<u>Шкаф Неевклида, или Косячок для бабушки</u>	105
Евгений НОВИЦКИЙ	
<u>Леги Нуриева</u>	109
<u>ПОЭЗИЯ</u>	
Рита БАЛЬМИНА	
<u>Ночь на Бродвее</u>	120
Олег ШКОЛЬНИК	
<u>Сцена — вот эшафот любви</u>	127
Игорь ПОТОЦКИЙ	
<u>Стихи Николаю Дронникову в Париж</u>	132
Ефим ЯРОШЕВСКИЙ	
<u>Падают в землю каштаны...</u>	135
Елена ИЛЮШИНА	
<u>Видишь, я вовсе не плачу...</u>	140
Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК	
<u>Я снова доверяю случаю...</u>	142
Владимир ЕФИМЕНКО	
<u>То и се</u>	145
Александр МАРДАНЬ	
<u>Объявление на столбе</u>	148

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

А.Н. Стилиануди

"Воспоминания об одном очаге культуры в старой Одессе"

Публикация Виталия АБРАМОВА 152

Ольга БАРКОВСКАЯ

Общество независимых художников в Одессе 166

Олег ГУБАРЬ

"И откроется море..." 174

Валентин МАКСИМЕНКО

"Живая связь времен" 176

Сергей ЛУЩИК

Обнаружена неизвестная картина Леонида Пастернака 182

К 60-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОДЕССЫ

Роман БРОДАВКО

Три года с мечтой об Одессе 187

Наталья ПОЛИЩУК

"Во мне болит все человеческое" 195

Елена КОЛТУНОВА

Кредо, сконцентрированное в творчестве 206

Белла ВЕРНИКОВА

Из нового "Разговора с автоответчиком" 214

ПУБЛИКАЦИЯ

Большие пожары

Роман 25 писателей

Публикация Евгения ГОЛУБОВСКОГО 219

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА

"Граждане и товарищи" 278

АХ, ОДЕССА

Александр ГЕРАСИМЕНКО

"Баба Утя" 291

Олег СОЛЯЩАНСКИЙ

Травля 293

Александр БЕРЕНШТЕЙН

Маца, которую мы потеряли 296

В. ПАСЫНКОВ

Павлиний хвост. Об Одессе 299

Феликс КОХРИХТ

Стулья разбегаются, как тараканы! 301

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол 302

ПУТЕШЕСТВИЯ

Феликс КОХРИХТ

Хождение за три моря 307

Татьяна СОКУР

Тропики, февраль, Виргини 313

ИЗДАНО В...

Феликс КОХРИХТ

Список Жванецкого 318

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Семь цветов радуги 320

Феликс КОХРИХТ

Антипод. Но в хорошем смысле слова 324

Р.А. КУЛИНА

Поверяя гармонию алгеброй 326